

ГЕНИИ ВЛАСТИ

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ

ОЛЬГА ЧАЙКОВСКАЯ



Annotation

«Русский Петр I хотел сделать нас немцами, а немка Екатерина II – русскими», – писал известный остро слов кн. Вяземский. Да, принцесса из захолустного прусского княжества Софья Августа Фредерика Ангальт-Цербская захватила российский престол незаконно, свергнув собственного мужа. Да, она до конца жизни говорила по-русски с сильным акцентом, а ее «безграмотность» вошла в анекдоты (говорят, Екатерина делала по четыре ошибки в слове из трех букв – вместо «еще» писала «исчо»). Да, «доброе сердце» и «душа республиканки» не помешали императрице беспощадно подавить Пугачевский бунт и превратить крепостных крестьян фактически в рабов. Но почетное звание *Великой* она носит по заслугам, а ее 34-летнее царствование, самое долгое в нашей истории, не зря окрестили «*Золотым веком*»: при Екатерине население страны выросло в полтора раза, были модернизированы армия и госаппарат, отвоеваны огромные территории, а Россия стала Сверхдержавой – по словам «екатерининских орлов», «ни одна пушка в Европе без нашего разрешения выстрелить не могла». И сколько бы скабрзных анекдотов ни рассказывали про ее альковные утехы, как бы ни клеймили «северной Мессалиной», даже собственные слабости Екатерина умела обращать на пользу государству – имена ее фаворитов вписаны в русскую историю золотом, а их заслуги перед Отечеством неоспоримы.

Эта книга – лучшая биография Императрицы с большой буквы, которая, не кривя душой, могла сказать о себе: «вступив на престол, я стремилась к добру» и заслужила право наравне с величайшими мужчинами называться *гением власти*.

-
- [Ольга Чайковская](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)

- [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Приложение](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Ольга Чайковская

Екатерина Великая. «Золотой век»

Российской Империи

Глава первая

Они сидят на подоконнике, очень высоком, их ноги до полу не достают. Сидят притихшие, не спуская глаз с двери напротив.

Он постарше, но мал ростом, тщедушен и ребячлив. Она, вытянувшаяся за время болезни, худа, как скелет, и (так думает она сама) страшна, как смертный грех. За те несколько месяцев, что она в России, они уже привыкли друг к другу, и он, ее жених, поведал ей великую тайну: он влюблен во фрейлину Лопухину и хотел бы на ней жениться, но увы, она удалена от двора. Девочка знает, с матерью этой фрейлины произошло что-то ужасное – кажется, ее казнили страшной казнью, немудрено, что дочь удалена от двора. Зачем же на ней жениться? Ее ничуть не огорчило, что он ей, своей невесте, рассказывал, как любит другую; она уже поняла: этот мальчик не так-то ей и нужен, зато ей очень нужна российская корона.

И вот теперь, притихшие, сидят они на подоконнике, а прямо против них дверь, там идет разговор, который должен решить их судьбу.

– Если ваша мать и виновата, – говорит он, – это не значит, что вы тоже виноваты.

– Она моя мать, – отвечает девочка.

Но все-таки они дети и начинают болтать о постороннем, смеяться потихоньку, а потом и вовсе хохотать.

Резко распахнувшаяся дверь застает их врасплох, к ним выходит граф Лесток, приближенный императрицы.

– Этому шумному веселью скоро конец, – говорит он и поворачивается к девочке: – Вам пора собираться, вы возвращаетесь домой.

Она ничего не может понять – ее так хорошо встречали в России, она изо всех сил учит русский язык, зубрит по ночам... Ужас все больше овладевает ею: значит, теперь с позором тащиться обратно в Германию?..

Она не может произнести ни слова, мальчик пытается узнать у Лестока, что случилось.

– Сейчас узнаете, – говорит тот и уходит.

Теперь они и вовсе притихли.

Наконец в дверях появилась сама Елизавета Петровна, она, как видно, в большом гневе. Дети поспешно спрыгивают с подоконника. Императрица остановилась, посмотрела на них, улыбнулась, поцеловала сперва одну, потом другого и пошла, шумя платьем.

Может быть, все-таки они не уезжают?

Но вид матери (она вышла вслед за императрицей), ее красное, мокрое от слез лицо говорят ей: нет, уезжают.

Вот они и появились перед нами (вместе с той тревогой, в которой живут непрестанно) – участники будущих трагедий: императрица Елизавета Петровна, ее наследник великий князь Петр Федорович и та, которую все еще зовут Софией Фредерикой Августой, принцессой Ангальт-Цербстской, и которая скоро станет Екатериной и русской великой княгиней (ее мать мы оставим в стороне, она скоро уедет и больше никогда не увидит своей дочери). Итак – трое, и начнем мы, конечно, с Елизаветы Петровны, она сейчас хозяйка положения.

У нее прочная историческая репутация: была очень весела, очень легкомысленна, страстно любила балы и роскошь туалетов (говорят, никогда дважды не надевала одно и то же платье, а переодевалась несколько раз на день, это значит – многотысячный гардероб); была также редкостно невежественна и несколько злоупотребляла токайским вином.

Екатерина в Записках рисует другой портрет, куда более интересный.

* * *

Елизавета Петровна была хороша собой, пишет Екатерина, так хороша, что глаз не отвести (все бы смотреть и смотреть! – особенно когда императрица в мужском костюме танцует менуэт).

Но характер ее был странен, и образ жизни – удивителен. Ее отличали крайнее непостоянство и резкая смена настроений. «Никто никогда не знал часа, когда Ее Величеству угодно будет обедать или ужинать, и часто случалось, что придворные, проиграв в карты (единственное их развлечение) до двух часов ночи, ложились спать, и

только что они успевали заснуть, как их будили для того, чтобы присутствовать на ужине Ее Величества, они являлись туда, и так как они сидели за столом очень долго, а все они, усталые и полусонные, не говорили ни слова, то императрица сердилась, говоря: «Они любят быть только в своей компании; я их так редко зову, да и то они только и делают, что зевают и нисколько не хотят развлечь меня». Эти ужины иногда кончались тем, что императрица бросала на стол салфетку и уходила.

Между тем, продолжает Екатерина, «говорить в присутствии Ее Величества было задачей не менее трудной, чем знать ее обеденный час. Было множество тем разговора, которых она не любила; например, не следовало совсем говорить ни о прусском короле, ни о Вольтере, ни о болезнях, ни о покойниках, ни о красивых женщинах, ни о французских манерах, ни о науке; все эти предметы разговора ей не нравились. Кроме того, у нее было множество суеверий, которых не следовало оскорблять».

Елизавета встретила юную Ангальт-Цербстскую принцессу очень ласково и в первое время была к ней внимательна и сердечна (и плакала, когда девочка заболела), но впоследствии так круто взялась за нее, что жизнь юной великой княгини стала каторгой. И все же, вспоминая свою жестокую тюремщицу, Екатерина отзывается о ней очень мягко и, главное, старается понять этот характер и правдиво его описать.

Она была умна, пишет Екатерина, и добра, и строй чувств имела возвышенный, но тщеславна, хотела блистать, всех затмевая; ее красота и врожденная лень, несомненно, испортили ее природный характер. Казалось бы, с такой красотой ей не страшно было никакое соперничество, тем не менее «все женщины, не слишком безобразные», вызывали в ней раздражение, а ревность часто толкала ее «на мелочные поступки, недостойные Величества».

Она получила дурное воспитание, поскольку была незаконнорожденной (и считалась таковой до тех пор, пока Петр не короновал свою вторую жену Екатерину), а природная лень помешала ей заняться самообразованием. «Льстецы и сплетницы довершили дело», ее жизнь стала «цепью капризов, ханжества и распушенности, а так как она не имела ни одного твердого принципа и не была занята ни

одним серьезным и солидным делом, то при ее большом уме она впала в такую скуку, что в последние годы своей жизни она не могла найти лучшего средства, чтобы развлечься, как спать, сколько могла; остальное время женщина, специально для этого приставленная, рассказывала ей сказки». Так о Елизавете писала Екатерина.

Одно можно сказать о Елизавете Петровне с уверенностью: она была лихорадочна, не умела долго оставаться в покое. Несмотря на свою неистовую набожность, даже в церкви переходила с места на место (для нее поэтому ставили два-три царских места). Вечно куда-то мчалась, то в Москву, то в загородный дворец к кому-нибудь погостить, то на богомолье – при этом коней гнала бешено, и двор за ней не поспевал. Спала то в одной спальне, то в другой, но все равно покоя ей не было, во сне стонала и металась, а если положить ей руку на лоб и сказать тихо: «Лебедь белая», – успокаивалась; поэтому к ней был приставлен специальный человек, который клал ей руку на лоб, говорил: «Лебедь белая», и она засыпала^[1].

Была она мягкосердечна: когда ворвалась со своими гвардейцами в покои, где находилась Анна Леопольдовна, правительница, со своим сыном, годовалым императором, сама вынула его из колыбели и со слезами на глазах поцеловала; но тут же, у колыбели, отдала маленького императора в руки тюремщиков (он, пережив Елизавету Петровну, так и погиб в тюрьме, о чем у нас речь впереди).

Ее доброта и сердечность не были напускными: придя к власти, она поклялась, что при ней ни один человек не погибнет на плахе, и сдержала свое слово. Правда, была одна история, которая уж никак с мягкосердечием не совмещается. В начале царствования, когда трон ее был еще очень неустойчив и при дворе шла грызня партий, в ходе этой грызни был сфабрикован заговор, известный как «дело Лопухиных», весь построенный на доносах и пыточных речах.

Род Лопухиных был оппозиционен Петру и его потомкам. Из Лопухиных была первая жена Петра, которую он насильно отправил в монастырь; их сын, царевич Алексей, казненный отцом, в глазах многих был бы законным царем, в то время как она, Елизавета, дочь безродной литовской служанки, законной наследницей престола не была. Но, может быть, вся суть этого дела заключалась в личности княгини Натальи Федоровны Лопухиной.

Она была признанной красавицей, говорят, затмевала Елизавету на балах императрицы Анны; была любезна, что на языке эпохи значило – обаятельна, да к тому же еще и образованна.

Много темного и злого проснулось тогда в душе Елизаветы – и подозрительность (нет ли тут действительно заговора, грозящего ее власти), и едва ли не врожденная ненависть к Лопухиным, и лютая зависть к знаменитой красавице. Нет, она не согласилась на смертную казнь, но придумала такую, что уж лучше бы просто отрубила княгине голову. Ее, красавицу, умницу (и статс-даму), били на площади кнутом, потом отрезали язык (и ее сыну, и ее мужу) и сослали в Сибирь (о ней-то и шла речь между Екатериной и ее женихом, когда мальчик признался, что влюблен в дочь Натальи Федоровны и готов на ней жениться, а девочка удивлялась его безрассудству).

И все же, придя к власти, Елизавета Петровна поклялась, что при ней никто не будет «казнен смертью». Даже своего заклятого врага графа Миниха она не казнила, но и тут не удержалась и провела его через всю процедуру казни – ему сообщили о помиловании, когда он уже положил голову на плаху.

Та звериная жестокость, какую обнаружила она в деле Лопухиных, проснулась в ней только однажды, но мелкие жестокости могли случиться в любую минуту, и фрейлины ее, те, у кого были особенно красивые прически, плакали, жалуясь, что ее величество ножницами собственноручно срезает им локоны, прихватывая при этом и кусочки кожи.

Странной женщиной была Елизавета Петровна, и юмор у нее, а манера шутить во многом определяет человека, был странный.

Великий князь, о котором говорили, что он ухаживает за всеми женщинами, кроме своей жены, стал оказывать усиленное внимание баронессе Марфе Шафировой. Однажды в Новый год императрица за обедом спросила, что это там сидит за особа, такая тощая и с журавлиной шеей. Ей назвали Шафирову, она расхохоталась и ответила пословицей: шейка тонка, на виселицу годна. Славная шутка тотчас полетела по всему двору и пользовалась большим успехом.

Да, странной женщиной была Елизавета Петровна; и, уж во всяком случае, веселой ее не назовешь. Официальные портреты изображают ее недвижимой куклой в горностаевой мантии, в бриллиантах и огромных фижмах. Но есть один портрет,

гравированный дивным мастером, рано умершим Евграфом Чемесовым, – вещь редкой красоты и тончайшего психологизма. В мягком привлекательном лице царицы художник различил и нервную неустойчивость, и тайную тревогу.

* * *

Король откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. Все, бывшие за пиршественным столом, повскакивали со своих мест. Лейб-медик напрасно пытался нащупать пульс. Нет, король был жив, но его снедала глубокая тоска. И королева бросилась к его ногам. «О, мой царственный супруг! – воскликнула она. – О, какое горе пришлось вам вынести! Взгляните: виновница у ваших ног!»

Эта сцена, столь же трагическая, сколь трогательная, была результатом ряда событий. Дело в том, что у короля родилась дочь, по этому случаю предполагались большие торжества (тем более что в стране уже начали колоть свиней), и он попросил королеву лично заняться приготовлением знаменитых в их королевстве колбас. Когда из кухни пошел восхитительный запах колбасного навара, король, не вытерпев, прервал заседание государственного совета, отправился на кухню, помешал немножко своим скипетром в котле и, успокоенный, вернулся в зал (разумеется, я рассказываю гофманского «Щелкунчика»). Король, который мешал скипетром в котле с колбасным наваром, мог родиться только в Германии XVIII века, раздробленной на крошечные государства – королевства и княжества с их особым характером: огромные амбиции – и крошечная территория, громкий титул, пышный герб – и узость кругозора. Своя армия со сверхстрогой дисциплиной, двор со сверхчопорным этикетом, дворец, который пытается подражать Версалию, – и полунищета.

К XVIII веку немецкие князья стали абсолютными монархами, и каждый самостоятельно мешал скипетром в собственном колбасном наваре.

В немецких княжествах росли выгодные невесты: европейские государи получали в жены высокородных принцесс, за которыми не было ни сильного государства, ни могущественной родни. На немецких принцесс был огромный спрос, их в германских княжествах

стали растить «на продажу», как крестьянин выращивал у себя на грядках овощи, чтобы нести их в соседний барский дом. Из таких принцесс и наша Екатерина.

Петр I, и тут переняв европейский обычай, послал царевича Алексея в Германию выбирать себе жену, а тот отчаянно не хотел такого брака, ему нужна была русская и православная. Царевич все тянул, надеялся, что отец передумает, но Петр требовал, давил, и Алексей выбрал принцессу Шарлотту Вольфенбюттельскую, надеясь, что она будет «добр человек» (она, по его словам, оказалась «чертовкой»). С тех пор до самой революции русские цари и великие князья искали жен в немецких княжеских фамилиях.

Поскольку армии немецких принцев не воевали, воинственность этих государей проявлялась главным образом в военной муштре и военных парадах. Мелкие подробности военной службы стали их главной целью.

Длина косы, специально выверенная, форма буклей, толщина слоя пудры, мундир, не позволявший ни повернуться, ни дышать, но который должен был быть без единой складки; пуговицы и пряжки, непременно начищенные до блеска. Тяжелые ботфорты, нелепый шаг, сложнейшие фигуры и позиции, которые необходимо было оттачивать, маневры, требовавшие неслыханной слаженности. Голштиния, где родился Карл-Петр-Ульрих, была именно таким крошечным немецким государством, мальчик жил в этом мирке, в тисках той же дисциплины (вплоть до телесных наказаний). Он был не только задавлен ею, этой военной дисциплиной, он был ею пленен и служил ей изо всех своих маленьких детских сил.

При дворе герцога Голштинского званый обед, он проходит со всей положенной церемонностью. А принц Ульрих (ему девять) тут же стоит у дверей на часах. Он мал ростом и слаб здоровьем, ему трудно так долго стоять, но он, разумеется, и помыслить не может о том, чтобы подойти к отцу, – мальчик понимает: он на службе. А впрочем, если бы он и не был в тот час назначен в караул, ему все равно нельзя сесть за стол: не вышел чином – все еще унтер-офицер.

Он не только устал, он еще и голоден и с тоской смотрит на тех, кто за столом поглощает вкусные кушанья. И вдруг – о чудо! Отец подозвал его к себе, «поздравил лейтенантом» и пригласил к столу – «по его новому чину». Мальчик был так потрясен этим повышением в

чине, что почти ничего не мог есть. То был самый счастливый день в его жизни (так рассказал он сам уже в России своему наставнику).

Ему еще и потому пришлось нелегко, этому маленькому герцогу, что сперва его готовили в наследники шведского престола, учили шведскому, обучали основам лютеранской религии, делали из него шведского патриота, традиционно ненавидящего Россию. Когда стало известно, что Елизавета Петровна собирается объявить его своим наследником, мальчика принялись переучивать в духе патриотизма российского и преподавать ему православие. Маленький герцог был совершенно сбит с толку.

Конечно, он был потрясен, когда из своего тесного, но прочного мирка, где царил неукоснительный порядок, попал в хаос елизаветинского двора. Эти ночи, превращенные в дни, эти непрестанные балы, которые могли быть прерваны в самый разгар, потому что царица вздумала собираться и куда-то ехать – и они все едут, чтобы вернуться с полдороги. Бешено скакали кони государыни, за ней, как могли, поспешали ее придворные – она таскала за собой свой двор, и Екатерина с Петром обязаны были тащиться тоже. Императрица останавливалась во дворце, а придворные – как придется, то во флигелях, то в прачечных или пекарнях, а то и просто неподалеку раскидывались палатки (и когда шел дождь, ножки кроватей стояли в воде). Флигеля, которые отводились придворным, как правило, были ветхими, там трещали балки и полы ходили ходуном.

Чаще всего Елизавета Петровна ездила в имение Алексея Разумовского, своего давнего возлюбленного (и, если верить весьма устойчивым слухам, морганатического мужа). Екатерина и Петр облюбовали здесь себе большой двухэтажный деревянный дом, из окон которого открывался замечательный вид. Ночью в спальню Екатерины ворвался один из придворных и сказал: надо спасаться, фундамент дома опускается. Не успела она одеться, как послышался шум, «подобный тому, какой производит линейное судно, спускаясь с верфи», и тут же все они повалились на пол, который стал двигаться, как палуба в бурную погоду. Вбежал сержант Преображенского полка Левашов, схватил Екатерину на руки и вынес из дома, в котором уже рушились печи и откуда вскоре понесут раненых и мертвых. Жертв

было бы куда больше, пишет Екатерина, если бы сержант Левашов не поднял тревоги.

Немного погодя их позвала к себе императрица, и Екатерина стала просить у нее награды для мужественного сержанта, но Елизавета только косо взглянула и не произнесла ни слова. Она не желала слышать о несчастье. Зато Разумовский был в отчаянии, хотел застрелиться, за обедом, рыдая, поднял тост за собственную гибель – и Елизавета была тронута до слез.

Этот дом, принадлежавший одному из самых богатых и блестящих вельмож России и рухнувший за одну ночь, весь ужас тех часов, раненые и убитые; императрица, которая ничего не хотела знать о катастрофе (зато бросила в крепость несколько ни в чем не повинных слуг), – все это казалось знаком того великого беспорядка, который царил не только при дворе, но и во всей России.

Как же должен был все это ненавидеть немецкий мальчик, привыкший к прочности и порядку! Он тосковал и говорил, что предпочел бы уехать в Швецию. Он не хотел учиться русскому языку, не желал ходить в православную церковь – после простоты лютеранского храма пышность православного, с его огромным золоченым иконостасом, драгоценными окладами икон, сиянием паникадил, его раздражала; вместо строгих лютеранских пасторов с их бритыми лицами и черными одеждами русские священники, бородатые, кудлатые, громогласные, в сверкающих ризах – ничего этого он принять не мог.

Чем дольше он жил в России, тем дороже становилась ему родная Голштиния. «Сей князь питал необычайную страсть к этому клочку земли», – пишет Екатерина с явным неодобрением. Он был счастлив, когда встречал земляка, мог часами рассказывать о родной земле, которую покинул, когда ему было лет двенадцать-тринадцать, и, по уверению той же Екатерины, плел о ней всяческие небылицы.

Однажды ночью по дороге из Москвы в Петербург встретились две кареты, обе мчали во весь опор. Они остановились на мгновение и понеслись дальше. Дело в том, что Елизавета оставила двор в селе Хотилове, поскольку великий князь прихворнул, а сама погнала в Петербург. Между тем в ее отсутствие обнаружилось, что у Петра Федоровича оспа, и Иоганна Елизавета, мать Екатерины, тотчас велела запрягать, схватила дочь и помчалась следом за императрицей (в чем

мы герцогиню Ангальт-Цербстскую не можем упрекнуть). Ночью на дороге кареты встретились, потому что Елизавета Петровна повернула и теперь, пишет Екатерина, «во весь дух мчалась к великому князю и оставалась с ним во время всей его долгой болезни». Как видно, она этого мальчика любила, если ради него готова была рисковать жизнью и красотой.

Когда наследник престола вновь появился при дворе, он был так страшен, что Екатерина, впервые встретившись с ним, едва могла скрыть свой ужас. (Так впервые повстречалась она с оспой и увидела, как беспощадна эта болезнь, даже если оставляет в живых. Она боялась ее панически всю жизнь – до того дня, пока не решила вступить с ней в открытую борьбу.)

А великий князь? К постоянному раздражению, в котором он жил, прибавилось еще и ужасное сознание собственного уродства. Кажется, единственное спасение его состояло в том, что он был ребячлив, – и ушел в мир, где ему, надо думать, было всего легче жить.

Он забавлялся тем, «что обучал военному делу своих лакеев, камердинеров, карлов (кажется, и у меня был чин), – пишет Екатерина, – упражнял их и муштровал: то раздавал им чины и отличия, то лишал их всего: смотря по тому, как вздумается. Это были настоящие детские игры». В Петергофе, где все было на виду и великий князь не смел муштровать своих слуг, он обучал военному делу жену. «Благодаря ему, – пишет Екатерина, – я до сих пор умею исполнять все ружейные приемы с точностью самого опытного гренадера».

Но все же войско, состоящее из лакеев и шутов, было неповоротливо и пассивно (а тут еще присутствие ироничной жены). Игрушечные солдаты, офицеры и генералы были куда сообразительней и поворотливей, выполняли нужные маневры, смело шли в атаку и приступом брали игрушечные крепости.

«Барабанщик, мой верный вассал, бей общее наступление! – громко скомандовал Щелкунчик.

И тотчас барабанщик начал выбивать дробь искуснейшим манером...

И начался бой! Полки выстроились в боевом порядке, пушки выехали вперед и пошли бухать: «бум-бум!» А мыши во главе со своим королем визжали...»

В сознании голштинского принца, а ныне российского великого князя поселилась такая вот фантастика, только она была вовсе не так весела, как гофманская, так как отдавала болезнью, а подчас приобретала и сумрачный характер. А тема грызунов тут обернулась уже вовсе кошмарным спектаклем.

Однажды, войдя в покои великого князя, рассказывает Екатерина, она была «поражена при виде здоровенной крысы, которую он приказал повесить, и всей обстановкой казни». Петр объяснил, «что эта крыса совершила уголовное преступление и заслуживает строжайшей казни по военным законам, что она перелезла через вал картонной крепости и съела двух часовых на карауле, сделанных из крахмала, на одном из бастионов, и что он велел судить преступника по законам военного времени», и что «крыса останется там, выставленная напоказ публике в течение трех дней, для назидания». Екатерина расхохоталась и ушла, сославшись на свое «женское незнание военных законов», и великий князь долго дулся на нее за ее смех. Тут же будущая великая законодательница прибавляет, что «можно было по крайней мере сказать в оправдание крысе, что ее повесили, не спросив и не выслушав ее оправданий».

На самом деле веселого тут было мало, особенно если учесть, что Петру Федоровичу в это время было уже за двадцать.

Таков был наследник престола, избранный Елизаветой Петровной. В обоих хватало безумия, и, может быть, оба они получили его от Петра I (она – от отца, он – от деда), но никому из них не досталось ни грана его дарований.

А главная наша героиня, немецкая девочка, была на редкость уравновешенна и здорова, как душой, так и телом.

Она, София Фредерика Августа, тоже родилась в одном из крошечных немецких княжеств и тоже росла в его тесном стоячем мирке с той же дисциплиной, с тем же этикетом; впрочем, мир, в котором жила юная Ангальт-Цербстская принцесса, был мягче голштинского. Но и этому миру она сопротивлялась.

«Я отличалась в то время живостью чрезвычайной; меня укладывали спать рано (женщины уходили в другую комнату поболтать). Чтобы они поскорее ушли, я делала вид, что сразу заснула, и, только лишь оставалась одна, садилась верхом на подушку и скакала

в кровати до изнеможения. Помню, что я поднимала такую возню, что мои прислужницы прибегали взглянуть, в чем дело, но находили меня уже лежащей, я притворялась, что сплю; меня не поймали ни разу, и никто никогда не узнал, что я носилась на почтовых у себя в постели верхом на подушке».

Девочка нашла свою нишу независимости и жила в состоянии тайного бунта. Ей было запрещено бегать по парадной лестнице? Она как ветер проносилась по ней ночью.

Очевидно, она хотела свободы не только для себя. У нее была тетушка, старая дева, обладавшая некоторыми странностями (так, «она претендовала на законный брак со всеми принцами Германии, какие только попадались ей на глаза, и недоставало только их согласия, чтоб она сделала хорошую партию»); у нее была коллекция птиц. «Я видела в ее комнате дрозда с одной ногой, жаворонка с вывихнутым крылом, кривоногого щегленка, курицу, которой петух прошиб полголовы, петуха, которому кошка общипала хвост, соловья, которого наполовину разбил паралич, попугая, который обезножил и потому лежал на брюхе, и много всякого рода других птиц, которые гуляли и свободно летали по комнате». Маленькая Екатерина, уловив минуту, открыла окно и, разумеется, тут же убежала со всех ног. Ни на один из подобных поступков принц Ульрих не был способен. Маленький немецкий принц был рабом и любил свое рабство. Маленькая немецкая принцесса бунтовала.

Как ни странно, она, полуребенок, весьма энергично содействовала своему приезду в Россию. Впрочем, как и другие немецкие принцессы, она привыкла к разговорам о династическом браке, примеривая себе того или другого жениха. Когда стало известно, что голштинский герцог Ульрих отказался от шведского престола, принял православие и стал русским наследным принцем, начались намеки, таинственные улыбки – все это сообразительная девочка тотчас уловила. Потом в Россию послали ее портрет, потом в Штеттине был проездом камер-юнкер Елизаветы и попросил разрешения взглянуть на принцессу.

Это было 1 января 1744 года. Семья обедала, когда Христиану Августу, отцу Софии Фредерики Августы, принесли письмо. У девочки был острый взгляд, она разглядела, что письмо из России, и ухватила строчку: «с принцессой, вашей старшей дочерью». Родители

заперлись, в доме поднялась суета – оказалось, что мать, у которой были не то свои планы, не то какие-то сомнения, в Петербург ехать отказывается. Но утром девочка твердо вошла в спальню матери и сказала, что знает содержание письма. «Откуда?» – спросила мать. «Через гадание», – ответила дочь и пояснила, что владеет этим искусством. Мать рассмеялась и сказала: «Ну, если вы, сударыня, такая ученая, то вам остается отгадать всего лишь содержание письма, оно в двенадцать страниц». Девочка ответила, что постарается, а после обеда принесла матери записку, в которой собственной рукою написала: «Предвещаю ко всему, что Петр III будет твоим супругом». «Мать прочла и казалась несколько удивленной, – продолжает свои воспоминания Екатерина. – Я воспользовалась этой минутой, чтобы сказать ей, что если действительно ей делают подобные предложения из России, то не следовало от них отказываться, что это было бы счастье для меня». Иоганна Елизавета высказала свою тревогу: Россия страна малоустойчивая, это рискованно. Дочь ответила, что об устойчивости России позаботится Бог, если будет на то его воля, что она готова подвергнуться опасности и что сердце ей говорит; все будет хорошо. Можно предположить, что сердце юной Ангальт-Цербстской принцессы громче всего говорило другое: риск – благородное дело.

Оказалось, что и умный отец ее тоже в сомнениях, ему девочка привела другой довод: ее поездка в Россию их ни к чему не обязывает, они с матерью на месте поймут, оставаться им или ехать домой.

Иоганна Елизавета была неважной матерью, однако оказала дочери две крупные услуги: мало занималась ею, тем самым предоставив ей относительную свободу, и убедила девочку, что та дурна собой, что на свою внешность в жизненных успехах она рассчитывать не должна и что этот природный недостаток нужно возмещать «приобретением ума и достоинства». Материнским советом девочка воспользовалась вполне.

Маленькая принцесса крошечного Ангальт-Цербста, конечно, не имела ни малейшего понятия о том, какая жаркая борьба идет между европейскими государями за возможность сделать свою ставленницу женой наследника русского престола. Но уже в пути она почувствовала, что становится немаловажной персоной: ее позвал к себе сам Фридрих II Прусский, более того, пригласил на обед и даже посадил рядом с собой.

Из Берлина они направились в Штеттин, где девочка простилась с отцом, которого любила (и которого ей тоже не суждено было более увидеть), потом двинулись в Митаву, столицу Курляндии, оттуда в Ригу, где их уже встречали пушечной пальбой, приветствовали русские вельможи во главе с С. Нарышкиным; в распоряжении гостей были уже ливрейные лакеи, придворная кухня и экипаж от двора.

И вот обе они, две нищие принцессы, лежат в возках, поставленных на полозья, подбитых изнутри черно-бурыми лисами (девочка не знала, как в этот возок залезть, ей сказали, нужно шагнуть, высоко подняв ногу, и она, вспоминая о том, как влезала, каждый раз принималась хохотать).

В Петербург они тоже въехали при громе пушек и сразу были помещены в Зимний дворец (еще старый, не Растрелли).

Елизавета Петровна вышла к ним «чрезвычайно разодетая: на ней было коричневое платье, расшитое серебром, — вспоминает Екатерина, — и она вся была покрыта бриллиантами, то есть голова, шея, лиф; обер-егермейстер, граф Алексей Григорьевич Разумовский, следовал за нею. Это был один из красивейших мужчин, каких я видела на своем веку. Он нес на золотом блюде знаки ордена Св. Екатерины (этот женский орден был учрежден Петром I. — *О. Ч.*). Я была немного ближе к двери, чем мать. Императрица возложила на меня орден Св. Екатерины, а потом оказала такую же честь матери и в заключение нас поцеловала». И только началась была светская жизнь Екатерины, как вдруг она сильно заболела — это была та самая болезнь, после которой она выросла и так похудела, что походила на скелет. Елизавета, которая была в отъезде, вернувшись, прямо из кареты прошла в ее комнату и держала девочку на руках все время, пока той пускали кровь (основной метод лечения серьезных болезней в те времена).

Девочка выздоравливала медленно, она лежала с закрытыми глазами и вслушивалась в тот мир, где ей предстояло жить. Чисто женский мир, взволнованный беспрестанными заботами, мелкими ревностями и завистями, крупными бестактностями. Немало забот доставляла ей мать. «Около Пасхи однажды утром, — рассказывает Екатерина, — матери вздумалось прислать сказать мне с горничной, чтобы я ей уступила голубую с серебром материю, которую брат отца подарил мне перед моим отъездом в Россию, потому что она мне очень

понравилась. Я велела ей сказать, что она вольна ее взять, но что, право, я ее очень люблю, потому что дядя мне ее подарил, видя, что она мне нравится. Окружающие меня, видя, что я отдаю матери скрепя сердце и ввиду того, что я так долго лежу в постели, находясь между жизнью и смертью, и что мне стало лучше всего дня два, стали меж собой говорить, что весьма неразумно со стороны матери причинять умирающему ребенку малейшее неудовольствие, и что, вместо желания отобрать эту материю, она лучше бы сделала, не упоминая о ней вовсе. Пошли рассказать об этом императрице, которая немедленно прислала мне несколько кусков богатых и роскошных материй и, между прочим, одну голубую с серебром; это повредило моей матери в глазах императрицы: ее обвиняли в том, что у нее вовсе нет нежности ко мне, ни бережности». В этом женском мире Екатерина должна была жить еще долгие годы.

Между тем немецкой принцессе предстоял важный шаг – перемена веры, поскольку условием брака с русским великим князем был ее переход в православие. Автор одной из недавних книг о Екатерине А. Каменский полагает, что с этой переменой веры произошло первое предательство в жизни Екатерины. Я не могу с этим согласиться^[2].

А. Каменский рассматривает переход будущей Екатерины в православие в связи с ее отношениями с отцом, которого она уважала и любила и который сам был «непоколебимо религиозен». Отправляя дочь в далекую и «неустойчивую» Россию, принц Христиан Август написал для нее наставление, где говорил, что ничто не должно заставить принцессу переменить веру, если она найдет ее не согласной с лютеранской.

Этому строгому и прямому указанию отца А. Каменский противопоставляет уклончивость дочери, которая сперва уверяет его, будто собирается неукоснительно следовать его отцовским советам (они «навечно останутся запечатленными в моем сердце, так же как и семена нашей святой религии останутся в моей душе»). Затем она сообщает, что не находит почти никакой разницы между верами греческой и лютеранской и потому решила переменить вероисповедание. Эти письма к отцу примечательны тем, пишет А. Каменский, «как постепенно и ловко четырнадцатилетняя девочка приучает его и к перемене ею религии, и к своему новому имени –

Екатерина. Можно предположить, – продолжает он, – что переход в православие был совсем не так безболезнен, как может показаться из ее писем, он был сопряжен с преодолением некоего нравственного порога, с ломкой сознания, совершившейся далеко не сразу».

Полагаю, что порог тут был невелик, а болезненной ломки сознания и вовсе не было. Уже ко времени ее приезда в Россию у Ангальт-Цербстской принцессы сложились свои отношения с религией, тому способствовала природная живость ума, не желавшего ничего принимать на веру, та свобода, которая была ей предоставлена, вольный образ жизни ее матери, благодаря чему круг их знакомств был очень широк и разнообразен, самая атмосфера эпохи Просвещения – все это делало девочку вольнодумной и даже, как было замечено окружающими, склонной к ереси.

«Помню, – пишет она в своих воспоминаниях о детстве, – у меня было несколько споров с моим наставником; из-за них я чуть не попробовала плети. Первый спор был из-за того, что я находила несправедливым, что Тит, Марк Аврелий и все великие мужи древности, притом столь добродетельные, были осуждены на вечные муки, так как не знали Откровения. Я спорила жарко и настойчиво и поддерживала свое мнение против священника: он обосновывал свое мнение на текстах Писания, а я ссылалась только на справедливость. Священник прибег к способу убеждения, которого придерживался святитель Николай: пожаловался Бабет Кардель (камер-фрау Екатерины. – *О. Ч.*) и хотел, чтобы меня убедила розга. Бабет Кардель не имела разрешения на такого рода доводы; она лишь сказала мне кротко, что неприлично ребенку упорствовать перед почтенным пастором и что мне следовало подчиниться его мнению. Бабет Кардель была реформаткой, а пастор очень убежденным лютеранином». (Вряд ли юный голштинский герцог Ульрих задавался такими проблемами и вел такие горячие религиозные дебаты.)

«Второй спор, – продолжает Екатерина, – вращался около вопроса о том, что предшествовало мирозданию. Он мне говорил – хаос, а я хотела знать, что такое хаос. Никогда я не была довольна тем, что он мне говорил. Наконец мы оба поссорились, и Бабет Кардель была снова призвана на помощь... Признаться, я сохранила на всю жизнь обыкновение уступать только разуму и кротости; на всякий отпор я отвечала отпором». По счастью, от жестокости и категоричности

священника девочку защищали. «Сей духовный отец чуть не поверг меня в меланхолию (как мы бы сегодня сказали – в депрессию. – *О. Ч.*): столько наговорил мне о Страшном суде и о том, как трудно спастись. В течение целой осени каждый вечер на закате дня ходила я плакать к окошку». Сперва этого никто не замечал, потом стали девочку расспрашивать, и когда она наконец призналась в причине своих тревог, у камер-фрау «хватило здравого смысла, чтобы запретить священнику впредь страшить меня такими ужасами».

Невозможно предположить, что вопрос о перемене веры не вставал в семье Ангальт-Цербстской принцессы, когда ее поездка в Россию была решена. Ни у кого не могло быть и тени сомнения, что Елизавета, глава православной церкви, к тому же сама чрезвычайно набожная, не допустит, чтобы российской великой княгиней, а стало быть, и возможной российской императрицей, стала лютеранка. И конечно, вопрос этот был решен до отъезда принцессы в Россию.

В чем состояло наставление принца Христиана Августа? Он разрешал дочери переменить религию только в том случае, если она найдет новую веру согласной с прежней, что совсем не так уж и трудно было сделать: обе религии были христианскими, обе противостояли римскому престолу, папству с его жаждой политической власти, к которой ни лютеранство, ни православие не стремилось. Словом, при желании да еще при помощи опытного богослова не так уж и трудно прийти к заключению, удобному для всех сторон, что между православной и лютеранской церквями всего лишь «внешние обряды различны». А мудрый XVIII век и особенно здравомыслящие его представители большого значения обрядам не придавали. Кстати, если верить Запискам, еще дома полковой священник отца не раз объяснял принцессе, что до первого причастия каждый христианин «может выбирать себе веру, которая ему кажется наиболее убедительной». Так что вряд ли тут можно говорить о духовной трагедии отца и какой-либо ломке, происшедшей в сознании дочери. И о предательстве.

Когда ее крестили, она произнесла Символ веры так правильно и чисто, что придворные плакали, в том числе и сама императрица. А русскому языку юная Екатерина училась со страстью, вскоре смогла по-русски отвечать на вопросы Елизаветы, чем чрезвычайно угодила императрице. Все складывалось наилучшим образом. Маленькая нищая немецкая принцесса (она сама говорит о невероятной скудности

гардероба, с которым приехала) стала русской великой княгиней, была окружена почетом, жила в роскоши блестящего двора, она не только сама ходила в соболях, но и ее карета была обита соболем; прежде вовсе не имевшая драгоценностей, теперь она была осыпана бриллиантами. А впереди ее ждала российская корона, та самая, которую ей давно предсказали.

Записки Екатерины хороши, в них ее ум, живость, темперамент, есть в них тонкий психологизм, они согреты мягкой иронией. Им можно доверять (если не считать некоторых тем, в той или иной степени касающихся политики, их легко распознать). Но есть у них и крупный недостаток: они написаны по-французски и тем выпадают из ряда замечательных русских мемуаров с их подчас корявым, но сильным, ярким неповторимым языком – именно тут, в дневниках, записках, воспоминаниях, не видевших печатного станка и на него не рассчитанных (их напечатал XIX век), лежащих в письменных столах и секретерах (а порой и в пыльном ящике на чердаке), созревала будущая великая русская литература.

Второй недостаток екатерининских Записок – общий со всей русской мемуаристикой XVIII века – это их бескрасочность, они черно-белые и тем самым неполно отражают свой век, который, напротив, горел яркими красками (если говорить о мире дворянства, особенно высшего). Это он создал веселую моду белоснежных париков, это он одел мужчин и женщин в сверкающие шелка и бархат с его глубинной красотой, заткал их платья золотыми и серебряными нитями. Это он расписал каминные экраны птицами и цветами, разрисовал веселыми узорами веера и все, что можно было разрисовать – вплоть до атласных жилетов, вплоть до пуговиц на них. Сами жилища знати становились подобием храма искусств. Потолки, как правило, были предоставлены пышным аллегориям – и как весело смотреть на это нагромождение розового и голубого, тающего, на великолепный поток апофеоза с его флотилией облаков, на эти очаровательные фигуры в их свободных поворотах. Тут и Слава, венчающая героев, тут и Виктория, трубящая победу, тут наяды с тритонами, тут и Диана с месяцем во лбу. Все это клубящееся, мчащееся (на колесницах, на дельфинах или в собственном полете), несомненно, отражает XVIII век с его надеждами, с его энергией – он ведь и сам был в полете.

Мемуаристы XVIII века, как и вся его литература, не могли написать портрета человека – но в том-то и состоит наша с вами удача, что этот век, еще сильно отстававший в прозе и поэзии, был очень силен в портретной живописи, художники-портретисты умели уже многое, научились писать лицо человека во всем богатстве его чувств (не только главное в нем – глаза, но и самый их взгляд).

Иван Вишняков написал портрет реальной девочки, дочки генерала. Это девочка елизаветинской эпохи (примерно одного поколения с Екатериной), и при взгляде на ее портрет разом оживают мемуары эпохи (и екатерининские Записки в том числе).

Она знаменита, Сарра Фермор, написанная Вишняковым, ее портрет висит в Русском музее Санкт-Петербурга. Посетители музея, если даже они равнодушно ходят по залу, где развешаны портреты XVIII века, перед Саррой Фермор разом останавливаются, словно та сама преграждает им путь. Она в фижмах, напудрена, в руках сложенный веер – маленькая светская дама, закованная не только в корсет своего негнущегося платья, но еще и в предписания не менее жесткого этикета. Зато сколько живой жизни в ней накопилось – она кажется душой XVIII века. Похожа она на маленькую Екатерину? Приглядимся.

Она умна, это несомненно, интеллигентная девочка с тонкой духовной организацией. Но она также и себе на уме (такой мы на каждом шагу видим Екатерину – и в Германии, и в России), глядит с расчетом и осторожно, Сарра Фермор, в глазах светится любопытство – в ней очарование белки, которая рассматривает вас с дерева и в любую минуту готова прыгнуть прочь (это любопытство к жизни – отличительная черта юной Екатерины).

Могла бы Сарра Фермор, будь она помладше, скакать ночами на почтовых верхом на подушке? Вряд ли, у нее вроде бы нет той бешеной жизненной силы, что была присуща Екатерине. Но промчаться легким бегом ночью вниз и вверх по парадной лестнице? – может быть; а если это и было в намерении, то, как и все ее прочие умыслы, останется в ее голове, она (как и Екатерина) не выдаст себя ни единым неосторожным словом. Кажется, Вишняков видел ее глазами старшего брата, потому и удалось ему проникнуть в словно закованную жизнь; именно эта его сдержанная, чуть насмешливая нежность и позволила ему разгадать все умыслы и уловки этой юной

светской дамы. А общим у них, двух жительниц одной эпохи, наверно, была та музыкальная менуэтная грация, что отличала в XVIII веке девочек дворянского круга.

Но самое главное в них – они независимы. В какие бы обстоятельства они ни попали, ничто не помешает развитию их ума и души.

А вот и сама Екатерина в ее пятнадцать лет. Она при дворе, задарена и обласкана. Однажды, это было в феврале 1745 года, праздновали рождение великого князя. «Императрица, – пишет Екатерина, – меня очень ласкала. Она мне сказала, что русские письма, которые я ей писала в Хотилово (где перед этим «лежал в оспе» великий князь. – *О. Ч.*), доставили ей большое удовольствие (по правде сказать, они были сочинены Ададуровым, но я их собственноручно переписала); и что она знает, как я стараюсь выучить местный язык. Она стала говорить со мной по-русски и пожелала, чтобы я отвечала ей на этом языке, что я и сделала, и тогда ей угодно было похвалить мое хорошее произношение. Потом она дала мне понять, что я похорошела с моей московской болезнью; словом, во время всего обеда она только тем и была занята, что оказывала мне знаки своей доброты и расположения. Я вернулась домой очень довольная этим обедом и очень счастливая, и все меня поздравляли. Императрица велела снести к ней мой портрет, начатый художником Караваком, и оставила его у себя в комнате».

Этот портрет долго странствовал по свету, но все же сохранился и теперь находится в запаснике одного из пригородных музеев Санкт-Петербурга. Луи Каравак приехал в Россию еще при Петре I и стал русским художником не только потому, что вошел в художественную жизнь страны и создавал портреты русских царей и придворных, но и потому, что сам поддался сильному влиянию русской школы. К сожалению, в нем нет того неповторимого таланта, каким обладал Вишняков, но было у него огромное достоинство: он был правдив и схватывал сходство (и про портрет Екатерины говорили, что она на нем как живая).

Итак, портрет работы Каравака. Чтобы его понять, достаточно сравнить его с одним из более поздних ее парадных портретов, написанным Г. К. Гроотом. Это тоже изящный портрет, художник отлично пишет кружево и драгоценности, мерцающие серьги, аграф в

волосах и жемчуга на запястье (всего этого Вишняков, по-видимому, еще писать не умел), но он поражает отсутствием не только сходства, но и какого бы то ни было чувства (кроме необходимой легкой придворной любезности). Нам куда интересней разглядывать эти серьги и кружева, стянутый атласом стан и орденскую ленту, чем лицо самой модели, – перед нами типичный парадный портрет, где художник писал не столько человека, сколько его общественное положение.

Цель Каравака – сама модель. Правда, здесь нет той затаенной жизни, что была в портрете Сарры Фермор; тело Екатерины неотчетливо отделено от фона и как бы тонет в нем. Зато насыщенная коричневая гамма (меха, платье, волосы) хороша и благородна – чуть легкого кружева, немного драгоценностей, цвет красной орденской ленты сильно притушен, ничто не отвлекает нашего внимания от юного лица.

Вот какой она была в пятнадцать лет.

Конечно, она не так хороша и изысканна, как Сарра Фермор, но и это лицо к себе притягивает – длинное изящное лицо с маленьким, слегка вдавленным ртом, углы которого углублены тенями, кажется, вот-вот появится улыбка – та, которую впоследствии запомнят и прославят, ее тут можно угадать. Волосы сильно оттянуты назад, открыт красивый лоб. А главное, конечно, это глаза, большие, светящиеся, очень яркие и словно бы потемневшие от всего того, что ей только что удалось увидеть и что ей еще предстоит. Самое большее, на что она, оставаясь в Германии, могла рассчитывать, – это какой-нибудь жалкий кусок Ангальт-Цербста, доставшийся ей после семейного раздела, – а тут ей, правда, в еще неясной дали, виделась неограниченная власть над грандиозной империей. Конечно, она полна ожиданий, видно по глазам.

Перед нами живое, гармоничное лицо. Ее мать Иоганна Елизавета ошиблась, убеждая девочку, что та дурна лицом. Нет, в нем начинается обаяние. Нетрудно заметить также, что это уже и волевое лицо.

Наконец герцогиня Иоганна Елизавета, после бесчисленных конфликтов, в ходе которых она не раз ставила дочь в весьма затруднительное положение, отбыла из Санкт-Петербурга (уехал ли с

ней камергер Иван Бецкой?), оставив дочери свои долги, столь значительные, что Екатерина смогла с ними расплатиться, только будучи уже императрицей.

Екатерина осталась одна.

* * *

Что вырастет из этой голенастой девочки? Вопрос, казалось бы, странный: она давно уже выросла, она двести лет назад умерла, о ней написаны монографии и романы, высказано множество суждений. Какой живет она в общественном сознании России? Каким помнится ее царствование?

Задача историка – вернуть прошлое – очень заманчива и очень трудна: историческое полотно дыряво. Мелкие дыры в нем на каждом шагу, но бывают и огромные, как кажется, уже невозполнимые. Особенно трудно возрождать личность. Свидетельства современников? Но ни один из них не был беспристрастен, симпатии и антипатии, любовь и ненависть могут присутствовать тут в любых пропорциях. Казалось бы, смерть должна усмирить страсти: могильный холм или саркофаг в соборе ничего уже нового нам не сообщат. На самом деле как раз после смерти споры и разгораются – теперь на знаменитого деятеля направлены «концептуальные прожекторы», они резко скрещиваются меж собой (иной ученый отстаивает свою концепцию с такой яростью, с какой волчица защищает детеныша).

Но есть тут и другое: воспоминание современника – это луч, который выхватывает одну какую-нибудь грань личности, другие оставляя в темноте, и сколько бы воспоминаний мы ни собрали вместе, образ человека будет лишь совокупностью бликов, он приблизителен и неустойчив.

Зато концептуальный образ, напротив, бывает скроен весьма отчетливо и, главное, разом, с ног до головы. При этом автор не только объясняет любой поступок своего героя, но запросто читает его мысли и без всяких затруднений разгадывает намерения, которые самому герою, как правило, и не снились. Блики, тени, оптические обманы.

Екатерине в этом смысле особенно не повезло, и особенно в советской историографии: здесь к ней установилось единодушное

отношение, не просто враждебность, а какая-то патологическая ненависть. Ее судят по законам классовой борьбы, и приговор бывает один: лютая крепостница под либеральной маской.

Любопытно, что Петра I судят по каким-то другим законам, и он вовсе не крепостник, а, напротив, – царь, который чуть ли не «за советскую власть». Если он великий реформатор, двинувший страну по пути просвещения и прогресса, то Екатерина прежде всего хитроумный демагог: только то она и делает, что заигрывает и кокетничает (с Вольтером и другими деятелями Просвещения), иногда «носится с планами», всегда попусту; и при этом все время вынуждена отступать перед «либеральными, демократическими силами» (которых, замечу, в тогдашней России днем с огнем не найдешь). Она вообще перестала существовать как человек и правитель России и стала «представителем» – дворянского сословия, абсолютистской монархии, крепостнического строя – и в таком виде в лучшем случае никого не интересуется, а в худшем – вызывает отвращение.

А широкий читатель, бедняга, вынужден был питаться историческими романами, на страницах которых выплывала странная фигура – то она английская шпионка, то бабенка, разбитная и хваткая, а то и хладнокровная злодейка.

Как же это получается? Жил на свете человек, со своей душой, со своей судьбой, и кто-то смеет приписывать ему слова, которые он не произносил, поступки, которые не совершал, в том числе и недостойные слова, неблаговидные поступки (мы уж не говорим о преступлениях). Кому дано такое право? Принцип презумпции невиновности тут особенно необходим: память человеческая склонна вести дурной отбор, бессовестно забывая благородные черты и добрые дела, а какую-нибудь дрянную подробность храня так бережно, словно это лучшее ее достояние. Недаром у Пушкина: «Человек по природе своей склонен более к осуждению, нежели к похвале (говорит Макиавелль, сей великий знаток природы человеческой)».

Любопытно, что уже с самого начала царствования Екатерины представления о ней двоились. Она триумфально пришла к власти, гвардейские полки присягали ей один за другим, но вскоре среди тех же гвардейцев начались волнения. Семеновский и Преображенский полки однажды всю ночь стояли под ружьем, не расходились, кричали, что хотят на престол Ивана Антоновича, и «называли императрицу

поганою». Во время ее путешествия по Волге крестьяне приносили свечи, чтобы ставить перед ней, как перед божеством, а народные проповедники причисляли ее к племени антихристову.

Впрочем, и там, где молились, и там, где проклинали, отношение к Екатерине было безлично – не к ней, живому человеку, а к императрице. Но и в непосредственном ее окружении опять же все двоилось. Княгиня Е. Р. Дашкова одновременно и влюблена в нее, и ненавидит, говорит о темных пятнах на ее светлой короне. Державин восторженно восславил свою Фелицу (царевну, взятую им из сказки, написанной самой же Екатериной), то был гимн Екатерине, ее мудрости, доброте и благородству. Однако впоследствии поэт с грустью понял, что от близкого знакомства прототип Фелицы отнюдь не выиграл, «ибо издалека те предметы, которые ему (Державину – в своих записках он пишет о себе в третьем лице. – О. Ч.) казались божественными и приводили дух его в воспламенение, явились ему при приближении ко двору весьма человеческими и даже низкими и недостойными Великой Екатерины, то и охладел так его дух, что он почти ничего не мог написать горячим, чистым сердцем в похвалу ее». Когда статс-секретарь Екатерины А. Храповицкий просил поэта вновь воспеть ее в стихах, Державин отказался, ответив стихами же: «Ты сам со временем осудишь // Меня за мглистый фимиам». В каком случае великий поэт ошибался?

Да, вокруг нее было много мглистого фимиама, но искреннего восхищения тоже немало, в том числе и людей, которые знали ее вблизи и очень хорошо, О ее уме, обаянии, очаровании даже написано много и написано искренне.

Тут наша надежда на Пушкина – он Екатериной живо интересовался, знал многих ее современников, расспрашивал их, записывал их рассказы. Его ясный ум, поэтическая интуиция, мудрое спокойствие историка, отличное знание материала должны служить прочной опорой верному суждению.

В 1822 году по поводу Екатерины Пушкин высказывался дважды.

В Кишиневе он написал статью, которая потом получила название «Заметки по русской истории XVIII века». Именно отсюда и почерпнуты самые известные – и самые убийственные – отзывы его о Екатерине. «Она знала, – пишет Пушкин, – что ее любовники грабят

страну, и молчала», отсюда пошли колоссальные богатства новой знати, отсюда же «и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера и до последнего протоколиста все крало и все было продажно. Таким образом, развратная государыня развратила свое государство».

Но и это еще не все. «Екатерина уничтожила звание (справедливее – название) рабства, а раздала около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепила вольную Малороссию и польские провинции». Она любила просвещение, а просветитель Новиков был в тюрьме до самой ее смерти, и Радищев был в сибирской ссылке. Даже любимое детище Екатерины, ее знаменитый Наказ депутатам Уложенной комиссии, ничего кроме презрения у Пушкина не вызывает: «фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие; «Наказ» ее читали везде и на всех языках. Довольно было, чтобы поставить ее наряду с Титами и Траянами, но, перечитывая сей лицемерный «Наказ», нельзя воздержаться от справедливого негодования. Простительно было фернейскому философу превозносить добродетели Тартюфа в юбке и в короне, он не знал, он не мог знать истины, но подлость русских писателей для меня непонятна». И наконец: «Со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия – и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России». Даже так.

В том же 1822 году Пушкин написал «Послание цензору», где есть такие строки:

Скажи, читал ли ты *Наказ* Екатерины?
Прочти, пойми его; увидишь ясно в нем
Свой долг, свои права, пойдешь иным путем.

Постойте, как же это? Только что было сказано о «фарсе депутатов, столь непристойно разыгранной», и о самом Наказе, что он лицемерен и что, перечитывая его, нельзя воздержаться от праведного негодования, а теперь предложено его читать, углубляться в него – и с тем понять, что такое свобода слова.

В глазах монархини сатирик превосходный
Невежество казнил в комедии народной.

Надо помнить, что под «невежеством» тогда понимали нравственную темноту, стало быть, Пушкин говорит о том, что Екатерина выступала против общественных пороков вместе с Фонвизиним.

Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры
Их горделивые разоблачал кумиры;
Хемницер Истину с улыбкой говорил,
Наперсник Душеньки двусмысленно шутил,
Киприду иногда являл без покрывала —
И никому из них цензура не мешала.

А ведь Пушкин перечисляет передовых деятелей екатерининского времени, это те самые, о ком в «Заметках» им сказано: «подлость русских писателей для меня непонятна».

Что ни говори, а непререкаемый пушкинский авторитет в одном и том же году представил нам две противоположные точки зрения на Екатерину.

«Развратная государыня развратила свое государство»? – но у Пушкина можно прочесть и другое: «В России было только три самобытных деятеля просвещения: Петр I, Ломоносов и Екатерина». И наконец, тезис статьи, которую Пушкин собирался написать: «Екатерина, ученица XVIII столетия. Она одна дает толчок своему веку».

Но есть у Пушкина стихотворение, найденное в черновиках. Оно требует особого внимания. «Мне жаль великия жены» – так оно начинается, и нам неясно, всерьез ли Пушкин жалеет Екатерину,

всерьез ли перечисляет ее заслуги; «Мы Прагой ей одолжены (имеется в виду взятие предместья Варшавы. – О. Ч.], и просвещением, и Тавридой», она заслужила имени Минервы; «в аллеях Сарского (первоначальное наименование Царского) села она с Державиным, с Орловым беседы мудрые вела», все это говорено, кажется, уже с полной серьезностью, и вдруг тут же сплошная ирония:

Старушка милая жила
Приятно и немножко блудно,
Вольтеру первый друг была,
Наказ писала, флоты жгла...

Весело, изящно – и неточно, хотя бы потому, что Екатерина, когда «Наказ писала, флоты жгла», была молода и в расцвете творческих сил.

Но самое главное – окончание. Сперва идет незавершенная строчка: «с тех пор (тут следуют многоточия, показывающие, что автор не нашел нужных слов) мгла», однако мысль очевидна: вслед за правлением Екатерины наступил мрачный период упадка.

И вдруг три строки поразительной экспрессии:

Россия, бедная держава,
Твоя подавленная слава
С Екатериной умерла...

Словно бы неожиданно для поэта охватила его тревога, напала тоска. Откуда они? Одно несомненно: с таким внутренним оксюмороном – соединением несоединимого – стихотворение и не могло быть закончено.

«Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и душегрейке. Ей было лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую» – это Екатерина из «Капитанской дочки», встреча с Машей в Царскосельском парке. «Все в неизвестной даме привлекало сердце и внушало доверие» – ни малейшего следа

«Тартюфа в юбке и короне»: царица сдержала слово и с большой деликатностью и достоинством сыграла роль спасительной, спасающей судьбы.

Нам остается одно: самим исследовать эту жизнь, тем более что в нашем распоряжении есть надежные источники. Сколько бы мы ни говорили о том, что образы, составленные историками, неполны, что они состоят из теней и бликов, все-таки подлинность нередко можно доказать. Мы располагаем таким первосортным материалом, как мемуаристика второй половины XVIII века, ее авторы, как правило, писали для узкого круга (друзья, родные, чаще всего «любезные дети»); для них это была важная духовная работа – они честно вспоминали собственную жизнь, подводили ее итоги, старались передать близким свой нравственный опыт. Правдивость и простодушие, вот общая особенность мемуаристики этого периода, что делает ее первоклассным историческим источником.

Но есть у нас и еще одна возможность близко узнать екатерининский век – редчайшая: это его портретная живопись, внимательная к внутреннему миру человека, исполненная тончайшего психологизма и истинного благородства. Поскольку все персонажи этой книги (почти без исключений) были моделями великих художников своего времени, мы можем действительно заглянуть им в лицо. Это уже не тени и не блики, это полнокровные реальные образы; несмотря на то что они недвижны, в них подлинная жизнь, и чем больше в них всматриваешься, тем больше они оживают.

Пользуясь всеми видами этих источников, мы и начнем наши разыскания. А поскольку Екатерина и ее царствование сильно перепачканы, нам неизбежно придется смывать эту грязь, порой просто соскребать ее – впрочем, равно как и позолоту, иногда не менее вредную. (А на обочине нашего повествования будет шагать огромная тень Петра – даже если бы мы его не позвали, он все равно сам бы пришел.)

Елизавета Петровна, поскольку была отлично сложена и любила рядиться в мужской костюм, устраивала маскарады, где мужчины одевались женщинами, а женщины мужчинами. «На этих маскарадах мужчины вообще были злы, как собаки, – сообщает Екатерина, – потому что не могли справиться со своими гигантскими фижмами, женщины в мужских костюмах были и того безобразней; вполне хороша была только императрица, к которой мужское платье отлично шло». «Сиверс, тогда камер-юнкер, – продолжает Екатерина, – был довольно большого роста и надел фижмы, которые дала ему императрица; он танцевал со мной полонез, а сзади нас танцевала графиня Гендрикова: она была опрокинута фижмами Сиверса, когда тот на повороте подавал мне руку; падая, он так меня толкнул, что я упала прямо под его фижмы, поднявшиеся в мою сторону; он запутался в своем длинном платье, которое так раскачалось, и вот мы все трое очутились на полу, и я именно у него под юбкой; меня душил смех, и я старалась встать, но пришлось нас поднимать; до того трудно было нам справиться: мы так запутались в платье Сиверса, что ни один из нас не мог встать, не роняя двух других».

Смешная сцена? Конечно. Эта гигантская твердая юбка, раскачавшаяся с такой силой, что смогла поглотить не только графиню Гендрикову, но и великую княгиню, показалась бы невероятной и неправдоподобной даже для какой-нибудь современной кинокомедии из жизни российского двора.

Веселая сцена? Не очень. Это Екатерина ввиду крайней своей молодости хохотала, очутившись под юбкой камер-юнкера, но самому камер-юнкеру вряд ли было так уж весело. Времена шутов, которых так любила дикая императрица Анна Иоанновна, особенно когда превращала в шутов кого-нибудь из родовитой знати, давно прошли. Мужчины на балу у Елизаветы (отобранный круг) были не только злы, как собаки, они не могли не чувствовать нелепости и унизости своего положения.

Особенно худо приходилось молодым и красивым фрейлинам, которым императрица не могла простить их молодости и красоты. Елизавета то заставляла их переодеваться, если их платье было особенно красиво, то, возмущенная их прическами, самолично ножницами отстригала красивые локоны (не отзвук ли это насильственно отрезаемых боярских бород при Петре?).

Но была ли хотя бы тень бунта или негодования в душе этих фрейлин или камер-юнкера Сиверса, который вынужден был путаться в юбке и валяться по полу на виду у всех? Да, кавалеры были злы, как собаки, но что это была за злость, какого, так сказать, сорта: протест личности, которая чувствует себя униженной, или же они относились к воле государыни как к грозе, метели и другому явлению природы, которое можно в сердцах проклинать, но с которым нет возможности спорить, а потому и чувствовать себя оскорбленным смысла не имело? Откуда у этой слегка поврежденной в уме женщины была власть распоряжаться судьбами людей (и даже их жизнями), в том числе самых высокопоставленных? Как представляли себе это ее современники – не в политических трактатах, а в простой жизни? Эта власть идет от вековой традиции – ответили бы они – и от божественного установления. Помазание на царство!

Любопытен один эпизод, происшедший во дворце Елизаветы, где были особые покои, куда не могли входить слуги (кушанья поднимались снизу особым столом), и где Елизавета ужинала и проводила время с Алексеем Разумовским и узким кругом лиц. Петра Федоровича эти покои очень интересовали, а поскольку они были через стену с его комнатой и дверь туда была заколочена, он взял плотничный инструмент, просверлил в двери несколько дырок, сам смотрел и приглашал смотреть своих приближенных (позвал было и Екатерину, но та отказалась). Увидев, что дверь вся просверлена, Елизавета Петровна пришла в ярость, устроила племяннику скандал «и так разъярилась, что не знала уже меры гневу своему». Что же она кричала своему наследнику во гневе, потеряв голову? Что великий князь обнаружил по отношению к ней неблагодарность, которая в те времена числилась в ряду тяжких пороков и представлялась чем-то вроде нарушения верности? Она сказала, что отец ее, Петр I, тоже имел неблагодарного сына и лишил его наследства; неизвестно, прибавила ли, что царевич по приказанию отца был пытан страшной пыткой и на ней умер, что отец при ней присутствовал и, говорят, сам пытал царевича, – Екатерина об этом, разумеется, ничего не говорит, но ведь многие знали об этом, и Елизавета не стыдится такой преемственности методов.

Любопытно: она ненавидела Анну Иоанновну, свою предшественницу, эту огромную бабищу («Престрашного была

взора, – говорит о ней современница. – Отвратное лицо имела; так была велика, когда между кавалеров идет, всех головою выше, и чрезвычайно толста»); она своими глазами видела низость ее нрава, убожество вкуса (шуты, «ледяной дом»), ее мстительность и зверскую жестокость (чудовищные казни Долгоруковых, Волынского и других); видела, что власть над страной в руках Бирона, бывшего конюха, знала, что у нее, дочери Петра Великого, куда больше прав на российский престол, чем у дочери слабоумного Ивана, недолгого соправителя Петра; и что ей, Елизавете, надо спасать Россию.

И вот теперь, в минуту гнева, упрекая племянника в неблагодарности, она утверждала, что всегда выказывала Анне уважение, «подобное венчанной главе и помазаннице Божьей; что эта императрица не любила шутить и сажала в крепость тех, кто ей не оказывал уважения; что он мальчишка, которого она сумеет проучить».

«Помазание Божье» не связано с нравственными качествами: подобно тому, как священник, каков бы он ни был – хоть пьяница, хоть вор, – все равно носитель благодати, и крестины или бракосочетание, им совершенные, имеют неоспоримую силу, так и обряд помазания на царство давал правителю невиданное могущество. Перед нами магия христианства, его вера в великую, как бы волшебную силу, не имеющую никакого отношения к добру и справедливости. Надо думать, Елизавета не лукавила, когда говорила о почтении, подобающем любой «венчанной главе», что бы в этой главе ни содержалось. Ее собственная глава была не очень крепка; вместе с тем, как человек умный, она не могла не догадываться, что на российском престоле мог быть кто-нибудь более достойный, но раз уж она венчана на царство и таким образом свершилась воля Божья, она самодержавной властью владеет по праву. Окружающие, по-видимому, думали так же.

Придворные, например, не имели права вступать в брак без разрешения императрицы, и она же должна была назначить день свадьбы, но забывала назначить или почему-то откладывала – так порой длилось годами, – и никто не осмеливался напомнить ей или спросить о причинах отсрочек: все это покорно укладывалось в понятие самодержавности и помазания Божьего.

Нетрудно себе представить, что при такой психической неустойчивости Елизавета Петровна недолго будет благоволить к

своей новой племяннице. Екатерина твердо решила, что главная ее обязанность – нравиться императрице, но оказалось, что это не так-то легко исполнить.

Поначалу все словно бы шло хорошо, великой княгине дали в услужение русских горничных (для практики в языке), все они были молодые и веселые, а Екатерина всех моложе и веселей. Среди горничных ей больше всего нравилась Маша Жукова, которая казалась умнее, веселее и общительнее других. Однажды Екатерина позвала эту девушку, ей сказали, что та ушла к больной матери. На следующее утро – тот же ответ. Тут же императрица позвала к себе Екатерину и в крайнем гневе заявила, что Жукова уволена по просьбе Иоганны Елизаветы, которая говорила об этом с императрицей перед своим отъездом. Ложь была слишком очевидна: Иоганна Елизавета этой девушки не знала и просить об ее увольнении не могла. Понимая, что Маша Жукова пострадала из-за нее, Екатерина послала ей со своим камердинером деньги, но оказалось, что девушка со своей матерью уехала в Москву. Тогда великая княгиня решила выдать Машу замуж, нашла подходящего гвардии сержанта, дворянина, он поехал в Москву, дело сладилось, они поженились – и тотчас были сосланы в Астрахань. Это был первый случай, когда Екатерина почувствовала жесткую руку императрицы, но не последний.

Из свиты великих князей стали исчезать люди. В числе любимцев Петра Федоровича были трое братьев Чернышевых, особенно отличал он Андрея, которым очень дорожил, то был их общий друг, Петра и Екатерины. Вокруг этой их дружбы пошли тревожные разговоры, за ними всеми явно шпионили, и вдруг оказалось, что все трое братьев произведены в поручики и посланы служить в Оренбург.

Много позже камердинер Екатерины, причесывая ее, рассказал невероятную историю: он гулял на Масленице в компании, где был служащий из Тайной канцелярии (эта Тайная розыскных дел канцелярия, высший орган политического сыска в России, имела самую мрачную славу и вызывала всеобщий ужас), они отправились в санях кататься в имение императрицы Рыбачью слободу, в гости к управляющему имением. Там между прочим возник спор, в какой день будет Пасха, и хозяин дома решил послать за Святцами, где указаны праздники на несколько лет вперед, к заключенным, которые тут же, в имении, и содержались. Принесли Святцы, и на первой же странице

прочли имя Андрея Чернышева, написанное в тот день, когда Петр Федорович подарил ему эту книгу.

Оказалось, что братья ни в какой Оренбург не ездили, а были сразу взяты в Тайную канцелярию и сидели под арестом в Рыбачьей слободе.

Вокруг Екатерины постепенно стал возникать мертвый круг. Специальным распоряжением императрицы никому без особого разрешения не было дозволено посещать ее покои. К ней была приставлена одна из статс-дам императрицы, Мария Чоглокова, которая с небывалым усердием принялась исполнять роль тюремной надзирательницы. Переписка с родными была великой княгине запрещена, свои письма матери она должна была отдавать в ведомство, ведающее иностранными делами, и их сильно редактировали. Все кругом было ненадежно и пахло предательством.

В тот год, 1746-й, она читала Платона.

А 1747 год начался для нее трагически – ей сказали, что умер ее отец. Известие это поразило Екатерину. «Мне дали досыта наплакаться, – пишет она, – но по прошествии недели Чоглокова пришла мне сказать, что императрица приказала мне перестать, что мой отец не был королем. Я ответила, что это правда, что он не король, но что он мой отец; на что она возразила, что великой княгине не подобает долее оплакивать отца, который не был королем, и что потеря невелика». Выговор этот исходил от императрицы.

Екатерина была одинока и ниоткуда не видела помощи. Казалось бы, брак с Петром Федоровичем должен был бы как-то их сблизить, тем более что оба они были одиноки при елизаветинском дворе. Да только был ли ее брак браком?

Вот как описывает она день свадьбы. Утром она пришла в покои императрицы, где уже лежало ее венчальное платье; ее камердинер Евреинов стал было завивать ее челку, но тут явилась Елизавета Петровна, и из-за челки началась целая история. Второй раз императрица пришла надеть на невесту великокняжескую корону, очень тяжелую, потом ее облекли в платье, расшитое серебром, и оно было «страшной тяжести». Торжественное свадебное шествие направилось в церковь Казанской Божией Матери, где молодых и обвенчали. Потом был обед. После обеда Екатерина стала просить

графиню Румянцеву, могущественную статс-даму, хоть на минуту снять с нее корону, но та не посмела.

Таков был день. А вот какова была брачная ночь. Дамы раздели новобрачную и уложили в постель. Мы не знаем, каковы были ее чувства, известно только, что она просила одну из этих дам побыть с нею, но та не согласилась. Все ушли, и Екатерина осталась одна. Так прошел час, потом еще час. Она не знала, что ей делать – вставать или оставаться в постели. Великий князь тем временем ждал ужина, а поужинав, пришел к ней, лег и заснул. Екатерина плохо спала, а наутро дневной свет показался ей очень неприятен. «И в этом положении дело оставалось в течение девяти лет, – пишет она, – без малейшего изменения».

Тут мы должны прервать нашу героиню, чтобы несколько ее поправить. Характер великого князя засвидетельствован другими источниками, вполне подтверждающими ту характеристику, которую дает ему Екатерина, и все же полностью доверять ей тут нельзя, в особенности когда дело прямо или косвенно касается власти (а брачные отношения этой юной пары носят характер политический). Мы располагаем краткой записочкой Петра Федоровича, он написал ее Екатерине в 1746 году (примерно на второй год их брака). «Мадам. Прошу вас не беспокоиться нынешнюю ночь спать со мной, потому что хватит меня обманывать, постель стала слишком узкой – после двухнедельной разлуки с вами, сегодня полдень. Ваш несчастный муж, которого вы никогда не достаиваете этого имени. Петер». Как видно, образ кроткой, брошенной и вечно угнетаемой жены, какой нарисовала в своих воспоминаниях Екатерина, не совсем отвечает действительности.

Даже если бы муж был добр к ней, все равно на него вообще нельзя было положиться: по словам Екатерины, он хранил свои тайны, как пушка – свой выстрел; в жизни двора, в условиях свар, интриг и доносов, свойство весьма опасное. К тому же он никогда жену не защищал. Впрочем, оба они были несчастны: их жизнь была жизнью узников – об этом свидетельствуют письма Петра к елизаветинскому фавориту Шувалову, они без даты, но по многим признакам можно заключить, что Петр уже взрослый человек. «М. Г. Я вас просил через Льва Александровича (Нарышкина. – О. Ч.) о дозволении ехать в Ораниенбаум, но я вижу, что просьба моя не имела успеха, я болен, я в

страшной тоске. Именем Бога заклиная вас, уговорите Ее Величество разрешить мне уехать в Ораниенбаум, если я не брошу эту прекрасную придворную жизнь, чтобы хоть немножко побыть на воле и насладиться деревенским воздухом, то, наверно, околею со скуки и с досады, вы вернете меня к жизни, если сделаете это, и весьма обяжете того, кто останется на всю жизнь преданный вам Петр».

Нетрудно заметить, как унижен этот молодой человек: даже к Шувалову он, великий князь, не может обратиться непосредственно, а делает это через одного из приятелей фаворита. Петр просит, и просьбы его отклонены. Он, как и Екатерина, ненавидит придворную жизнь, как и она, рвется к той малой свободе, которую предоставляет загородное поместье. Если в Ораниенбаум Петра все-таки пускали, то другую настоятельную просьбу – отпустить его на два года за границу – отклоняли неукоснительно. Этот недавний наследник двух блистательных корон оказался в тесной (даже не очень и золоченой) клетке, той же самой, что и его жена.

Как всякий «политзаключенный», великая княгиня должна была думать прежде всего о том, как ей выжить в предложенных условиях. Как сохранить себя и добиться желанной российской короны. «Вот рассуждение или, вернее, заключение, – пишет она, – которое я сделала, как только увидела, что твердо остаюсь в России, и которое я никогда не теряла из виду ни на минуту: 1) нравиться великому князю, 2) нравиться императрице, 3) нравиться народу... Поистине я ничем не пренебрегала, чтобы этого достичь: угодливость, покорность, уважение, желание нравиться, желание поступать, как следует, искренняя привязанность, – все с моей стороны было к тому употреблено».

Автор одной из книг о Екатерине говорит, что в перечисленных методах его неприятно задело слово «угодливость», и считает это ее признание «откровенно циничным». На самом деле программа, изложенная великой княгиней, не только не цинична, она изображает то поведение, которое было приличным, надлежащим и похвальным в окружавшем ее обществе. Слово «угодливость» вовсе не звучало тогда так, как сейчас, и даже так, как оно звучало в грибоедовские времена. В XVIII веке в услужливости и угодливости видели черту добродетели. Человек в обществе должен быть по отношению к родным, сослуживцам, светским знакомым услужлив, то есть готов оказать

услугу; угодлив, то есть стремиться сделать так, чтобы другому было хорошо. А уж жена просто обязана была угождать мужу.

Ровным счетом никакого цинизма в екатерининской жизненной программе не было, напротив, было желание противопоставить поведению ее врагов, их злословию, злобе, клевете, всему тому, что было так распространено при елизаветинском дворе, образ, близкий к эталону женской нравственности. Разумеется, «искренняя привязанность» тут под большим вопросом, речь идет о тактике. Осуществление этой программы требовало огромного такта, ума и выдержки, но другого пути у великой княгини вообще не было, ум, незлобивость и обаяние были ее единственным оружием. В будущем эта жизненная позиция дала поразительные плоды, но, будучи княгиней, ни один из пунктов своей программы Екатерина не могла выполнить.

Великая княгиня была в плену, под жестким и злобным надзором. За каждым шагом ее шпионили специально приставленные к ней женщины. Как бы ни старалась она быть услужливой и покорной, как бы усердно она ни молилась, ни постилась, ни отстаивала в угоду императрице бесконечные церковные службы, ей ничто не могло помочь, в этом мире ненависти она была беззащитна.

И все же Екатерина нашла защиту.

Когда она только что приехала в Россию и пребывала в упоении от богатства нарядов, блеска бриллиантов и непрерывности балов, был человек, который предупреждал ее об опасности, – граф Гюлленбург, знавший ее еще в Германии. Граф заметил, что она развита не по годам, и говорил окружающим, «что у нее философский склад ума». Приехав в Россию, он увидел, что девочка «поддается влиянию двора», думает только о нарядах. «Готов держать пари, что у вас не было и книги в руках с тех пор, как вы в России», – сказал он и посоветовал читать Плутарха «Жизнь замечательных мужей», Монтескье «Причины величия и упадка Римской республики» и другие серьезные книги. Екатерина достала некоторые из них, но ей стало скучно, и она бросила книги, чтобы вернуться к нарядам. Гюлленбург стал расспрашивать ее о ней самой, и чтобы граф лучше ее узнал, она написала ему некий автотрактат «Портрет философа в пятнадцать лет» (это сочинение попало ей на глаза тринадцать лет спустя, и она

поразила точности самоанализа; до нас трактат не дошел (Екатерина сожгла его вместе с другими бумагами в минуту опасности). Граф Гюлленборг отнесся к «Портрету философа» очень серьезно и сказал, что она может разбиться о встречные камни, если только душа ее не закалится настолько, чтобы противостоять опасностям.

Наставления графа Гюлленборга оченьгодились Екатерине. Могучим союзником ее стали книги.

Она заявила приставленной к ней надзирательнице, что запрещает горничным сидеть в ее комнате, как они обычно делают, пусть сидят в соседней. Она давно мечтала об этом – остаться наедине со своими книгами. Надзирательница, пишет Екатерина, «очень бы желала сунуть нос в мои книги, но она совсем не знала по-французски, так же, как и никто из окружающих меня. Часто, особенно вечером, она расспрашивала меня о моем чтении, но у меня был слишком хороший нюх, чтобы это могло ей удался; мой ответ был всегда очень лаконичен, я просто говорила ей, что, прочитав книгу, я тотчас забываю ее содержание». Режим действительно был более чем арестантский, тут заботились о том, чтобы юная великая княгиня не развивалась бы сверх меры и не умнела. Елизавета вообще выражала неудовольствие тем, что Екатерина «больно умна».

А умная Екатерина умнела с каждым днем. Вот ее образ жизни, каким она сама его описывает:

«Я вставала между восемью и девятью часами утра; брала книгу и садилась читать до тех пор, пока не наставало время одеваться; никто, кроме моих женщин, не вступал в мою комнату... Пока меня причесывали, я продолжала читать. В одиннадцать с половиною я была готова; тогда я выходила в мою переднюю, где обыкновенно находились две-три мои фрейлины и столько же дежурных кавалеров. Скука здесь была не меньшая, ибо по части мужчин императрица в то время с особенной заботливостью старалась заполнить наш двор всем, что она могла найти наиболее бестолкового, и когда случайно она ошибалась в своем выборе, тотчас же изгонялся тот кривой, который казался королем среди слепых».

Невеселая компания эта сама сильно скучала, поэтому то и дело возникали ссоры – так время дотягивалось до обеда. «После обеда, – пишет Екатерина, – я возвращалась в мою комнату к моим книгам».

Она любила читать, сидя у окна. Однажды в Петергофе, где жизнь была несколько свободней, к ее окну подошли граф Кирилл Разумовский, брат фаворита, и князь Репнин, они поговорили несколько минут, и тут в ее комнату «влетела, как фурия» приставленная к ней статс-дама, устроила скандал и заявила, что доложит о происшедшем императрице. Разумовский ответил ей, что не видит тут никакого происшествия и ничего дурного, что разговор был самый невинный и «что придраться к нему могут лишь те, которые всюду, где бы они ни находились, любят устраивать Тайную канцелярию», – формулировка достаточно резкая и очень точная. Но даже такой влиятельный вельможа, брат могущественного фаворита, не посмел ссориться с этой статс-дамой, а предпочел, чтобы задобрить ее, идти играть с ней в карты.

Екатерина и в самом деле была чем-то вроде политзаключенной, с которой запрещено было даже разговаривать.

Конечно, правление Елизаветы Петровны никак нельзя свести к тому ничтожному мелочному существованию, какое описывает автор Записок. При этой императрице шла жизнь огромного государства, по инициативе Ломоносова был создан Московский университет, стараниями фаворита Елизаветы И. И. Шувалова возникла Академия художеств, развивалась литература, разгорались литературные споры, возникали новые театры, да мало ли что еще – все это шло мимо пленной великой княгини, ее жизнь проходила даже не при дворе, а в еще более узком мирке, и не ее вина, что она говорит о мелких подробностях жизни. Впрочем, мы должны быть ей тут благодарны, потому что порой именно такие подробности дают нам почувствовать жизнь в ее неповторимой реальности.

Когда двор выезжал в летние резиденции – особенно если Елизавета Петровна была в Царском Селе или Петергофе, а великокняжеская чета в Ораниенбауме, владениях великого князя, – внимание тюремщиков сильно ослабевало. Петр был занят любимым делом – своими собаками, а Екатерина с ружьем на плече в сопровождении егеря или пажа шагала по полям и лесам. В этих походах она крепла – «и загорала, как черт». Тут она могла предаться страсти, второй в ее жизни после чтения, – верховой езде. Екатерина пишет о ней много и с мельчайшими подробностями, тем более что и тут она встречала препятствия. К примеру, Елизавета Петровна

запретила ей ездить в мужском седле, а дамское седло великую княгиню не устраивало. «Я придумала себе седла, – пишет она, – на которых можно было сидеть как угодно, они были с английским крючком, и можно было перекидывать ногу, чтобы сидеть по-мужски; кроме того, крючок отвинчивался и другое стремя спускалось и поднималось». Когда по велению императрицы у берейторов спрашивали, в каком седле ездит великая княгиня, те отвечали: «На дамском седле, согласно воле императрицы».

В том-то и дело, что возле Екатерины теперь уже были люди, которые ее не выдавали, и уже не только берейторы старались ей угодить. Намерение великой княгини «нравиться народу» мало-помалу осуществлялось – пока еще на малом жизненном поле. А впрочем, дадим ей возможность похвастаться своими успехами в верховой езде.

Однажды в Екатериненгофе Елизавета приказала ей пригласить на прогулку верхом жену австрийского посла г-жу Арним, которая утверждала, будто она прекрасная наездница. Явилась Арним в мужском костюме алого сукна, расшитого золотом. А Екатерина, зная, что ей ездить по-мужски запрещено, надела амазонку, голубую с серебром, отделанную хрустальными пуговицами, а черная шапочка ее была украшена бриллиантами. Сама Елизавета Петровна, которая знала толк в этом деле, вышла, чтобы посмотреть, как они поедут.

«Так как я была тогда очень ловка и очень привычна к верховой езде, – пишет Екатерина, – то как только я подошла к лошади, так на нее и вскочила; юбку, которая у меня была разрезана, я спустила по бокам лошади». Елизавета была поражена ее проворством и сказала: «Можно поклясться, что она на мужском седле». Появилась и г-жа Арним, жена посла. Она велела привести свою собственную лошадь, «то была старая вороная кляча, – мстительно пишет Екатерина, – очень большая, тяжелая и, как уверяли наши придворные, упряжная из ее кареты. Ей понадобилась лесенка, чтоб влезть. Все это сопровождалось разными церемониями, и наконец с помощью нескольких лиц она уселась на свою клячу, которая пошла не вполне ровной рысью, так что порядком трясла даму, которая не была тверда ни в седле, ни в стремях и которая держалась рукой за луку» (как всякому понятно – величайший позор для наездника). «Г-жу Арним, терявшую то шляпу, то стремяна, подобрала и доставила в Екатериненгоф чья-то карета», – эпизод построен по законам комедии (и

даже кинокомедии, особенно когда, возвращаясь во дворец уже пешком, г-жа Арним, стараясь поспеть за Екатериной, «попала в лужу, поскользнулась и растянулась во весь рост»).

Между тем как раз в это время относительной свободы и развлечений однажды утром Екатерине пришли сообщить, что императрица уволила преданного ей камердинера Тимофея Евреинова, и это был для нее очень сильный удар, – она говорит, самый сильный за все время ее пребывания при елизаветинском дворе. Преданность Тимофея Евреинова не раз помогала ей в трудный час, кстати, ведь он когда-то помог Екатерине найти Андрея Чернышева, когда тот вдруг исчез в Тайной канцелярии.

И все же со временем ее «тюремный режим» ослабел, она становилась все более самостоятельной и в развлечениях принимала большее участие. Мы можем увидеть юную Екатерину на балу.

В то время соперничество дам при дворе достигало невероятного накала и требовало огромных усилий и затрат – три раза на день переодеться, да еще так, чтобы каждый наряд был великолепнее предыдущего! А у Екатерины средств не было, и она решила отличиться в самом трудном – в простоте. «Я придумала надеть гродетуровый белый корсаж (у меня была тогда очень тонкая талия) и такую же юбку на очень маленьких фижмах; я велела убрать волосы спереди как можно лучше, а сзади сделать локоны из волос, которые были у меня очень длинные, очень густые и очень красивые; я велела их завязать белой лентой сзади в виде лисьего хвоста и приколола к ним всего одну розу с бутоном и листьями, которые неотличимо походили на настоящие; другую я приколола к корсажу; я надела на шею брыжки из очень белого газу и отправилась на бал. В ту минуту, когда я вошла, я легко заметила, что привлекаю к себе все взоры». Придворные были изумлены. И не понимали, почему вдруг великая княгиня оделась так странно. А ведь это им явилось само будущее.

Екатерина, с ее чуткостью и тонким вкусом, уже почуяла веяние новых времен, уже почувствовала, что елизаветинское барокко с его огромными фижмами, сверканием золота и драгоценных камней, яркими красками, когда парики были снежно-белыми, щеки ярко-красными, а брови угольно-черными (так раскрашивались тогда дамы), все это уже выглядит назойливо и грубо. Глазу хотелось строгости и простоты, а телу – большей естественности и свободы.

Мы можем представить себе, какой была она тогда, в двадцать с небольшим, когда шла дворцовой галереей, чувствуя на себе взгляды двора. Легкая, тонкая, в узком белом платье, никаких украшений, только роскошные локоны, отогнанные назад (красота ее волос засвидетельствована современниками), две розы (совсем как живые!) – одна в волосах, другая у корсажа. Вот и все – естественность самой природы – идеал эпохи Просвещения. Главной ее прелестью было то, что дала ей природа: изящество фигуры, нежные краски лица, сочетание роскошных каштановых волос с голубыми глазами и, наконец, главное – улыбка (о ней знал и Пушкин: «голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую»), впоследствии знаменитая не только в России.

Она, не останавливаясь, прошла через всю галерею и вошла в покои императрицы.

– Боже мой, какая простота! Как! – воскликнула Елизавета Петровна. – И даже ни одной мушки?

Екатерина рассмеялась и ответила, что это для того, чтобы быть легче одетой.

Императрица вынула из кармана коробочку с мушками, выбрала одну и прилепила ее на лицо Екатерине, но той уже не нужны были мушки. Тем не менее она вернулась в галерею, показала мушку всем, кому могла. Ей было очень весело, и в этот вечер она танцевала больше обычного. «Не помню, – говорит она, – чтобы когда-либо в жизни я получала столько от всех похвал, как в тот день. Говорили, что я прекрасна, как день, и поразительно хороша; правду сказать, я никогда не считала себя красивой, но я нравилась и полагаю, что в том и была моя сила». На это ее женское очарование, конечно, не могла не откликнуться молодежь елизаветинского двора.

В то время Екатерина читала Монтескье «О духе законов» – уже тогда тема справедливости, правосудия, законодательства сильно ее волновала – и уже тогда она обнаружила понимание проблемы: «Не знаю, мне кажется, что всю мою жизнь я буду чувствовать отвращение к чрезвычайным судебным комиссиям, особенно секретным» – актуально звучит, не так ли?

В чтении она была упорна – знаменитый «Исторический и критический словарь» Бейля читала два года, отведя по полгода на

каждый том. А читала особо – с жаром! Было у нее обыкновение: как бы от избытка чувств тут же, на полях, а порой и прямо между строк делать свои замечания. Так, ее сильно взволновала книга Струбе де Пирмонта, который осмелился грубо нападать на ее кумира Монтескье, упрекая его в непонимании и легкомыслии.

«Удобно называть легкомысленным то, что не легко поддается пониманию, – иронизирует она, – чтобы вам верили, вам надо бы сравняться гениальностью с Монтескье». Негодование: «Как сметь спорить со столь великим человеком!» Время от времени она теряет терпение. «Вот так выводы! – пишет она. – Все это одна болтовня». И даже грубее: «Совсем заврался!» Но для нас наиболее интересен, разумеется, самый предмет спора. Автор книги открыто защищает общественный строй, основанный на рабстве, и с этих позиций нападает на Монтескье: «Крепостной, это его (Монтескье. – О. Ч.) слова, – пишет де Пирмонт, – не может ничего делать по добродетели; а господин приобретает с рабами своими разного рода дурные привычки и нечувствительно привыкает к пренебрежению всеми нравственными качествами». «Однако это совершенно справедливо», – замечает на полях Екатерина. «Возросло ли в Риме число знаменитых мужей, – разворачивает свою аргументацию де Пирмонт, – с тех пор, как было уничтожено рабство, больше ли их стало, чем в то время, когда этот удивительный город кишел рабами». «Знаменитый и добродетельный не синонимы, – резонно возражает Екатерина и прибавляет: – Страх может убить преступление, но он также убивает добродетель. Кто не смеет думать, смеет лишь пресмыкаться».

Де Пирмонт: «Свобода или рабство черного люда сами по себе обществу безразличны, все зависит от нравов и законов, могущих сделать их полезными или вредными». «Черт возьми! И почему же автор не продаст в рабство самого себя?» – это Екатерина на полях.

* * *

Остров в устье Невы, ветер, к вечеру он разыграется в шторм. Охота в разгаре, псы гонят зайца, двое охотников придержали коней и остановились – разгоряченные кони вертятся, не стоят на месте. Всадники одни, и встреча эта опасна.

Он – Сергей Салтыков, камергер великого князя Петра Федоровича, один из самых красивых кавалеров елизаветинского двора. Ей двадцать три, она в сапогах, в мужском костюме (Елизавета далеко), ее волосы выбились из-под треуголки и вьются на ветру.

Разговор их горячий, о любви. Салтыков давно уже ходил за ней по пятам, преследовал своими пылкими признаниями – она уклонялась, отшучивалась, спрашивала, а как же быть с его женой, на которой он недавно по страстной любви женился? Он ничего не хочет слышать о молодой жене, не желает принимать никаких резонов – влюблен без памяти.

И вот теперь они вдвоем, охота далеко, разговор получается долгий – собственно, говорит он один, она не произносит ни слова. Он говорит о том, что надо сделать, чтобы их счастье осталось тайной. Екатерина молчит. Салтыков просит разрешить ему надеяться и признать хотя бы ту малость, что она к нему равнодушна. Тут она отвечает, что не может помешать игре его воображения. Салтыков начинает убеждать ее: он куда лучше остальных придворных и потому заслуживает предпочтения. Она смеется в ответ, но про себя не может не признать его правоты.

– Я прошу вас отъехать от меня, – говорит она, – разговор наш затянулся. Это может показаться подозрительным.

Салтыков ей нравился, и очень, но в условиях слежки и доносов одна подобная встреча может стать роковой.

«Он возразил, что не уедет, пока я не скажу, что я к нему равнодушна, – пишет Екатерина. – Я ответила: «Да, да, но только убирайтесь», а он: «Я это запомню» – и пришпорил коня; я крикнула ему вслед: «Нет, нет», а он повторил: «Да, да». Так мы и расстались».

А когда охотники вернулись в дом, с моря катили огромные валы, залило весь остров, вода уже билась у крыльца. Компания оказалась в плену, приходилось ждать утра.

– Небо благоприятствует мне сегодня, – сказал Салтыков. – Дает время любоваться вами.

Он уже считал себя счастливым. А ее мучили «тысячи опасений». Думала она и о том, сможет ли управлять двумя головами, его и своей, и понимала, что это будет трудно, если не невозможно.

«Он был прекрасен, как день, – пишет Екатерина, – и, конечно, никто не мог с ним сравниться, ни при большом дворе, ни тем более

при нашем. У него не было недостатка ни в уме, ни в том складе познаний, манер и приемов, какой дают большой свет и особенно двор. Ему было 26; вообще и по рождению, и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся». Он был темноволос и говорил о себе, что в придворном костюме – белое с серебром – выглядит, как муха в молоке.

Оказалось, что «по части интриг он настоящий бес», втерся в доверие всех тех, кто должен был сторожить великую княгиню, усыпил бдительность ее врагов, казалось бы, влюбленным ничего не мешало, но Екатерина никак не могла преодолеть своего ужаса перед тем, что может произойти, если их роман откроется.

И вдруг события развернулись самым неожиданным образом.

К тому времени вокруг Екатерины уже сложилась некая группа поклонников; кроме Салтыкова, это Лев Нарышкин («одна из самых странных личностей, каких я когда-либо знала, – пишет о нем Екатерина, – и никто не заставлял меня так смеяться, как он. Это был прирожденный арлекин, и если бы он не был знатного рода, к которому принадлежал, он мог бы иметь кусок хлеба и много зарабатывать своим действительно комическим талантом»); Захар Чернышев (который в правление Екатерины займет очень высокие посты), все они находили способы встречаться в обществе великой княгини. Их увлечение ею было искренним, их вряд ли можно заподозрить в какой бы то ни было корысти, поскольку Екатерина была опальна и дружба с ней ничего, кроме неприятностей, принести не могла.

Между тем Елизавета Петровна сильно гневалась по поводу того, что у великокняжеской четы до сих пор нет детей. Она вызвала к себе Чоглокову и в крайнем раздражении заявила ей, что детей у Екатерины нет, потому что та ездит в мужском седле. На это статс-дама возразила, что у великой княгини детей и быть не может, потому что нет тому причины, хотя их императорские высочества живут в браке с 1745 года. Елизавета разгневалась еще пуще и сказала, что и сама Чоглокова, и ее муж, приставленный к Петру Федоровичу, не выполняют свои обязанности, особенно ее муж – «колпак, который позволяет водить себя за нос соплякам».

«Тогда в секретном совещании, устроенном сопляками по этому поводу», пишет Екатерина, было решено, что Сергей Салтыков и Лев

Нарышкин притворятся, будто боятся Чоглокова, и поедут к себе домой недели на три-четыре. (Захар Чернышев вскоре был тяжело ранен на дуэли, которая произошла у него из-за карточной игры в доме графа Воронцова.)

Молодые люди уехали, а Екатерина без сожаления переделалась в женское платье – мужское теперь было ей не нужно. Она снова была взаперти.

Между тем императрица велела им, Петру и Екатерине, немедленно приехать к ней в Кронштадт, на открытие канала, строительство которого было начато еще Петром. Ночь была бурной, «императрица подумала, – пишет Екатерина, – что мы во время этой бури находимся в море; она очень беспокоилась всю ночь, и ей казалось, что какое-то судно, которое ей было видно из окон и которое билось в море, могло быть той яхтой, на которой мы должны были переехать по морю». Бедная Елизавета Петровна схватила святые мощи, «которые всегда находились рядом с ее постелью. Она поднесла их к окну и делала ими движения, обратные тем, которые делало боровшееся с бурей судно. Она не раз вскрикивала, что мы наверное погибнем, что это будет ее вина, потому что она недавно посылала нам выговор и что мы, вероятно, для засвидетельствования большей готовности, поехали тотчас по прибытии яхты» (на самом деле они отправились морем на следующий день).

И вот тут Чоглокова завела с великой княгиней странный разговор. Она долго говорила о супружеских узах и обязанностях, а потом вдруг заявила, что «бывают иногда положения высшего порядка, которые вынуждают делать исключения из правил». Екатерина не могла понять, куда та клонит, и думала, нет ли тут какой-нибудь ловушки. Тогда статс-дама высказалась яснее: она, Чоглокова, любит свое отечество и предлагает ей, Екатерине, выбрать между двоими, Львом Нарышкиным и Сергеем Салтыковым. «Вы увидите, – прибавила она, – что помехой вам буду не я». Тут Екатерина, по ее словам, наконец, поняла, но прикинулась настолько наивной, что Чоглокова долго не могла ей этого простить.

Всякие препятствия для безоблачной жизни влюбленных были устранены – кроме одного. «Мне показалось, – пишет Екатерина, – что Сергей Салтыков стал меньше за мной ухаживать, что он становится невнимательным, меня это сердило, я говорила ему об этом, он

приводил неубедительные доводы и уверял, что я не понимаю всей ловкости его поведения». Однако молодой человек был оболбстителен, ему не стоило большого труда убедить влюбленную женщину в своей привязанности – и он продолжал исчезать, иногда подолгу.

Впрочем, для пользы отечества и проблемы престолонаследия это уже никакого значения не имело.

Между тем расположение Елизаветы к великокняжеской чете, которое возникло той бурной ночью и было вызвано тревогой за их судьбу, исчезло бесследно, напротив, вскоре последовали жесткие репрессии, опять из окружения Екатерины изгнали преданных людей и объявили, что к ней назначают новую статс-даму М. А. Румянцеву. Это было для Екатерины так страшно, что она бурно запротестовала – в итоге Румянцеву не назначили, зато в качестве надзирателя к Екатерине был приставлен не кто иной, как Александр Иванович Шувалов, начальник Тайной канцелярии, перед которым дрожали двор, город и вся империя. «Его занятия, как говорили, вызвали у него род судороги, которая делалась у него на всей правой стороне лица, от глаза до подбородка... Если правительство думало о наследнике престола, то странно, как могли к женщине, которая ждет ребенка, приставить столь уродливую фигуру. Если бы у меня родился ребенок с таким несчастным тиком, – прибавляет Екатерина, – я думаю, что императрица была бы этим очень разгневана; между тем это могло бы случиться, так как я видела его постоянно и большею частью с чувством невольного отвращения». К Екатерине опять не допускали никого, в том числе и Салтыкова. Она была в черной тоске.

В сентябре 1754 года около полудня она родила сына. «Как только его спеленали, – пишет она, – императрица ввела своего духовника, который дал ребенку имя Павел, после чего она тотчас же велела акушерке взять ребенка и следовать за ней. Я осталась на родильной постели. Как только удалилась императрица, великий князь тоже пошел к себе, а также и Шуваловы, муж и жена, и я никого не видела ровно до трех часов». Екатерина просила камеристку сменить ей белье и уложить ее в кровать, та ответила, что не смеет. Она просила пить, но получила тот же ответ. После того как ее все же перенесли на кровать, она опять осталась одна. В городе шло бурное веселье по случаю рождения наследника, били пушки и звонили колокола, а она лежала и плакала.

На третий день пришли от императрицы – наконец-то справиться о здоровье? Нет, оказалось, что Елизавета Петровна оставила у нее в комнате мантилью из голубого атласа (в комнате, где рожала Екатерина, было очень холодно). Мантилью нашли, на том все и кончилось.

На крестинах она не присутствовала из-за болезни, в этот день к ней явилась Елизавета Петровна и на золотом блюде принесла указ кабинету министров: выдать Екатерине сто тысяч рублей (что ее очень обрадовало, так как она была вся в долгах). Но тут Петр Федорович поднял громкий скандал, возмущенный тем, что ему по случаю рождения сына ничего не дали, после чего из императорского кабинета к Екатерине пришли просить, чтобы она одолжила им только что данные ей сто тысяч – как потом оказалось, их отдали разбушевавшемуся великому князю, который был убежден, что они ему причитаются по праву.

Вот какова была женская доля Екатерины в лучшую пору ее молодости. Муж (или не муж?), инфантильный едва ли не до слабоумия. Первая любовь – красавец бес, для которого роман с великой княгиней был не больше, чем развлечение. Она ждет ребенка, она в тревоге, ей, как любой женщине в подобном состоянии, нужно, чтобы рядом был кто-то из самых близких, кто успокоил бы ее и заботился о ней, но к ней приставили неврастеника палача с дергающейся физиономией.

А ребенка, лишь только он появился на свет, унесли, даже не показав матери. В первый раз разрешили посмотреть на него, когда прошло сорок дней, – его принесли в ее комнату и унесли, как только кончилась молитва. В очень редкие посещения она с ужасом видела: в жарко натопленной комнате, запеленутый и уложенный в колыбель, подбитую чернобурками (а сверху клали еще атласные одеяла и еще одно, подбитое чернобуркой), обливаясь потом, лежал ее сын.

Елизавета завладела мальчиком всецело и со страстью. По ночам его колыбель стояла в ее спальне.

Сергея Салтыкова послали в Швецию – отвезти шведскому двору известие о рождении нового великого князя (очевидно, тут было не без чьей-то злобной шутки).

Екатерина тогда много плакала.

Остров в устье Невы, ветер и шторм. Рождение и потеря сына. И вот она опять одна со своей собачкой, своим попугаем – и своими книгами.

Глава вторая

Все мрачнее и мглистей становилась жизнь при дворе, здоровье Елизаветы Петровны внушало все большую тревогу, и, хотя это тщательно скрывалось, все понимали: возможна близкая смена власти, а с тем росло и напряжение, шла тихая угрюмая «борьба под ковром».

А в жизни Екатерины произошло невероятное событие.

Лев Нарышкин, человек легкомысленный и веселый, докладывал о себе под дверью ее комнаты кошачьим мяуканьем. И вот однажды он так доложился и пригласил ее в гости к своей невестке Анне Никитичне Нарышкиной. Екатерина была изумлена.

– Вы же знаете, мне этого никогда не разрешат.

Он сказал, что без спроса сам отвезет ее туда.

– Вас за это посадят в крепость, – сказала она, – а со мной вообще неизвестно что будет.

Но он настаивал, и ей это головокружительное предложение с каждой минутой казалось все соблазнительней.

У нее были мужские костюмы, была привычка их носить и умение так убирать волосы, чтобы они не выбивались из-под треуголки.

В назначенный час Нарышкин промяукал под дверью, они ускользнули, никем не замеченные, и, очутившись в карете, хохотали, как сумасшедшие. А в доме Нарышкиных ей представили графа Понятовского, очень красивого, влюбленного и бесстрашного. После нескольких лет заточения – в обществе собаки, попугая и злого дурака, каким был ее номинальный супруг, – то был неожиданный прорыв к счастью. Целых полтора часа свободы! Эти полтора часа прошли «в самом сумасшедшем веселье, какое только можно себе вообразить». Во дворец она вернулась столь же незамеченной, но уже совсем другой – счастливой.

На следующее утро на куртаге по случаю именин императрицы и вечером, на балу, все, бывшие в секрете, не могли смотреть друг на друга, чтобы не расхохотаться при воспоминании о вчерашнем. А Лев Нарышкин и вовсе обнаглел, предложив, чтобы следующее свидание

было в комнате самой Екатерины. И это было осуществлено столь же удачно.

«Мы находили необыкновенное удовольствие в этих свиданиях украдкой. Не проходило недели, чтобы не было хоть одной, двух и до трех встреч то у одних, то у других, и когда кто-нибудь из компании бывал болен, то непременно у него-то и собирались». Однажды Петру Шувалову, генерал-фельд-цейхмейстеру, пришло в голову посоветоваться с великой княгиней относительно праздничного фейерверка, а у великой княгини в комнате в это время веселилась компания.

Когда Шувалов зашел, комната была пуста, хозяйка терла глаза спросонья, компания за занавесом затаила дыхание. Зато какое веселье поднялось, когда опасный гость ушел! Екатерина заказала ужин, велела служителям поставить его у ее постели, а самих отпустила. Голодная молодежь набросилась на еду, «веселье увеличивало аппетит. Признаюсь, этот вечер был одним из самых шальных и самых веселых, какие я провела в своей жизни. Когда проглотили ужин, я велела унести остатки так же, как мне его принесли. Я думаю, что моя прислуга была немного удивлена моим аппетитом». Компания потихоньку разошлась. «Граф Понятовский для выхода брал обыкновенно с собой белокурый парик и плащ, и когда часовой спрашивал его: «Кто идет?» – он называл себя: «Музыкант великого князя». Этот парик очень нас смешил в тот вечер». Их все тогда смешило, они были молоды. В это время слуги Екатерины ее уже не выдавали и ее камер-фрау за ней не шпионили. Надо думать, отчасти потому, что с болезнью императрицы гнет стал уменьшаться, а может быть, потому, что возрастало обаяние молодой великой княгини.

Так начался для нее 1756 год. Год смертельной опасности.

Их потайная жизнь сильно занимала Екатерину. «Мы находили необыкновенное удовольствие в этих свиданиях украдкой. Не проходило недели, чтобы не было одной, двух встреч то у одних, то у других... Иногда во время представления, не говоря друг с другом, а известными условными знаками, хотя бы мы находились в разных ложах, а некоторые в креслах, но все мигом узнавали, где встретиться, и никогда не случалось у нас ошибки, только два раза мне пришлось возвращаться домой пешком, что было прогулкой», то есть еще одним

удовольствием. Она достигла поразительной степени свободы, и от этой свободы у нее, кажется, стала немного кружиться голова.

Между тем в Европе уже шла война (которую потом назовут Семилетней) между Францией и Австрией, с одной стороны, и Англией и Пруссией – с другой. Каждая из сторон хотела, чтобы Россия присоединилась к ней. Екатерина живо интересовалась придворной борьбой, которая с началом войны резко обострилась. Шуваловы были на стороне франко-австрийского союза, канцлер Бестужев стремился заключить договор с Англией. Мы не станем вникать в суть этой борьбы и проверять утверждения Екатерины, будто вице-канцлер Воронцов был на стороне французов, потому что Людовик XV меблировал его новый дом, только что выстроенный им в Петербурге (старой мебелью, которая надоела маркизе Помпадур), а Петр Шувалов «мечтал получить монополию на продажу табака в России, чтобы продавать его во Франции», и т. д. Нас интересует то, что произошло тогда с Екатериной.

Она ненавидела эту войну и считала, что Россия не только в ней не заинтересована, но что ее туда увлекают ради чуждых интересов. А если говорить о борьбе «партий», то симпатии Екатерины были на стороне английского посла, тем более что именно в его свите приехал в Россию граф Понятовский.

В декабре 1756-го война против Англии и Пруссии была объявлена. «Наконец весною мы узнали, что фельдмаршал Апраксин отправляется командовать армией, которая должна была вступить в Пруссию». Никто не знал, что стоит за этими ее простыми словами.

Между тем здоровье Елизаветы становилось все хуже. У нее начались сильные конвульсии, после которых она на три-четыре дня как бы впадала в летаргию. Болезнь ее тщательно скрывали, но однажды в Царском Селе осенью, в день Рождества Богородицы, императрица пошла в одну из приходских церквей. Почувствовав себя плохо, она вышла незаметно для своей свиты (это случилось, вернее всего, потому, что свита привыкла к непрерывным перемещениям Елизаветы Петровны с места на место даже и в церкви). Она спустилась с церковного крыльца, дошла до угла церкви – и упала на траву. Приближенные «нашли ее без движения и без сознания среди народа, который смотрел на нее и не смел подойти». Открыв глаза, она никого не узнала и плохо владела речью.

Такое событие скрыть было невозможно.

А Екатерина жила в Ораниенбауме, где решила всерьез заняться верховой ездой «по всем правилам». Обучал ее Циммерман – один из лучших берейторов России, и он бывал так растроган успехами Екатерины, что время от времени целовал ее сапог. Она вставала в шесть утра, одевалась по-мужски и шла в сад на площадку, ставшую ее манежем. К осени Циммерман выписал для нее скаковую лошадь и по всем манежным правилам вручил награду – серебряные шпоры. Летом Понятовский съездил в Польшу и вернулся ее аккредитованным послом. Перед отъездом он приехал в Ораниенбаум проститься, приехал не один, а с неким шведским графом. В кабинете Екатерины ее болонка с лаем набросилась на гостя и выразила бурную радость при виде Понятовского. «Друг мой, – сказал ему граф Горн, – нет ничего более предательского, чем маленькие болонки», – единственный случай, когда Екатерина намекает на ее отношения с Понятовским. Когда тот уехал, английский посол кавалер Уильямс сообщил ей, что канцлер Бестужев всячески интригует, чтобы Понятовский был аккредитован в России, а он, Уильямс, этому способствует – это один из немногих случаев, когда она упоминает в своих Записках об английском после Уильямсе (который, впрочем, осенью уехал в Англию). «В июле месяце мы узнали, – пишет она, – что Мемель добровольно сдался русским войскам 24 июля. А в августе получили известие о сражении при Гросс-Егерсдорфе, выигранном русской армией 19 августа. В день молебствия я дала большой обед в моем саду великому князю и всему, что только было наиболее значительного в Ораниенбауме».

Русские войска побеждали, а командующий ими фельдмаршал Апраксин повел себя странно: вместо того чтобы развить наступление, стал отступать «с такой поспешностью, что это стало походить на бегство», «сжигал свой экипаж и заклепывал пушки». По просьбе канцлера Екатерина написала Апраксину письмо, убеждая его прекратить бегство, которое его позорит, и продолжать наступление. Вскоре Апраксин был отстранен от должности, арестован и умер в ходе следствия.

Екатерина становилась все более независимой. Еще летом 1756 года она задумала дать праздник в своем ораниенбаумском саду.

Она заказала знаменитому итальянскому архитектору Антонио Ринальди огромную колесницу, музыку – капельмейстеру императорской итальянской капеллы, композитору Франческо Арайе, стихи – придворному итальянскому поэту. Поперек садовой аллеи выстроили декорации с занавесом, – все это богато иллюминировано, как и весь сад. Перед декорацией поставили столы для ужина. За ними собралось множество народа.

После первого блюда занавес поднялся и открыл ярко освещенную аллею, по ней медленно двигалось нечто необыкновенное: штук двадцать быков, украшенных цветочными гирляндами, тащили колесницу, на которой помещались оркестр и хор, а вокруг плясали столько танцовщиков и танцовщиц, сколько, по словам Екатерины, она смогла собрать.

И тут в дело вступила никем не запланированная луна. Колесница остановилась, великолепно освещенная ею, и все могли рассмотреть красоту представленного зрелища и насладиться чудесной симфонической музыкой. Восторг был всеобщий.

После второго блюда слышались трубы и литавры, выскочил скоморох с криком: «Милостивые государи и милостивые государыни! Заходите ко мне, вы найдете в моих лавочках даровую лотерею». Оказалось, что по сторонам от большого занавеса есть два маленьких, за ними «две ярко освещенные лавочки, в одной из них раздавались бесплатно лотерейные нумера для фарфора, а в другой – для цветов, лент, вееров, гребенок, кошельков, перчаток, темляков и тому подобных «безделок». После третьего блюда начались танцы, которые шли до утра.

Все были в восхищении от праздника, «правда, что я ничего не пожалела, – пишет Екатерина, – вино мое нашли чудным, ужин отличнейшим, все было на мой счет, и праздник стоил мне от десяти до пятнадцати тысяч; заметьте, что я имела всего тридцать тысяч в год... Не было ни друга, ни врага, который не унес бы какой-нибудь тряпки на память обо мне; и так как на этом празднике, который был маскарадом, было множество народа из всех слоев общества, и общество в саду было смешанное и, между прочим, находилось много женщин, которые обыкновенно не появлялись совсем при дворе и в моем присутствии, то все хвастались моими подарками, хотя в сущности они были неважными, потому что, я думаю, не было ни

одного дороже ста рублей, но их получили от меня, и всем было приятно сказать: это у меня от ее императорского высочества, великой княгини; она сама доброта, она всем сделала подарки; она прелестна; она смотрела на меня с веселым, любезным видом; она находила удовольствие заставлять нас танцевать, угощаться, гулять; она рассаживала тех, у кого не было места; она хотела, чтобы все видели то, а тут было на что посмотреть; она была весела, одним словом, в этот день у меня нашли качества, которых за мной не знали, и я обезоружила своих врагов. Это и было моей целью».

Война, болезнь императрицы – и рядом с этим молодая жизнь берет свои права. Атмосфера влюбленности и даже любви (о ней, если не считать эпизода с болонкой, мы ничего не знаем, разве только то, что в 1759 году у Екатерины родилась дочь Анна, и били пушки, и княжеская чета получила денежные подарки).

Встречи за ширмами, которым риск придавал особую прелесть; увитые цветами быки в лунном свете, влекущие за собой целую симфонию цвета и звука; скаковая лошадь и серебряные шпоры (россыпь красоты и веселья, которую так любил XVIII век). Кто бы мог предположить, что под этой прелестной жизнью, в «подвале» ее таится совсем другая.

В 1909 году была издана редкая книга – если открыть ее посередине и читать, не обратив внимание на комментарий, то видишь: переписываются двое мужчин, один к другому обращается «ваше превосходительство». Но если вчитаться внимательней, можно заметить, что один из мужчин раза два-три говорит о себе в женском роде, а единожды подписывается «Екатерина» – это к ней адресат обращается «ваше превосходительство».

Перед нами тайная – сверхтайная! – переписка великой княгини с английским послом кавалером Уильямсом. Время переписки – с лета 1756-го по лето 1757-го. Она совершенно переворачивает наше представление о жизни великой княгини в эти годы. Мы находим ее в самой гуще интриг, не только придворных, но и международных. Порой кажется, что английский посол совсем завладел волей Екатерины, она ему докладывает, а он дает советы: убеждает ее, что Франция и Англия враждебны «малому двору», то есть ей с ее мужем, что их преданный друг – это Фридрих Прусский, он вообще друг

России и не хочет войны. А «его превосходительство» отвечает: «Я занят формированием, обучением и привлечением разного рода пособников для события, наступления которого вы желаете. В моей голове сумбур от интриг и переговоров». Что это за желанное событие, догадаться нетрудно. «Когда начнется агония, войду в комнату сына, оставлю с ним А. Г. Разумовского или возьму его к себе». С ним (с ней) будут гвардейские офицеры. «Заметьте, что они получают приказание только от великого князя и от меня. Чуть что, возьму под стражу Шуваловых, но все это только когда начнется агония». Уильямс одобряет этот план, но предупреждает о грозящих опасностях. Потом речь заходит о деньгах и о расписке, сперва не очень ясно, о чем идет речь, а потом более чем ясно: Уильямс присылает ей на подпись текст расписки в получении от английского короля десяти тысяч фунтов стерлингов, которые она обязуется вернуть по первому требованию. Долг этот заплатит императрица Екатерина. Дел у нее по горло: «Я работаю с бумагами, как министр».

И в Европе уже знают: при русском дворе есть умная великая княгиня.

Речь заходит о Понятовском, Уильямс сообщает, что это – его воспитанник, его приемный сын. «Вы не находите, что он хорошо удался?» – шутит посол (да, конечно, она убеждена, что он удался на славу). Но его приезд в Россию задерживается, и она, уже не скрываясь, жмет на Бестужева, требуя, чтобы Понятовский приехал незамедлительно. И Понятовский приезжает.

Между тем Шуваловы побеждают, начинается война. В кипении страстей, в клубке интриг Екатерина словно бы не понимает, что с началом войны положение дел резко меняется: если до сих пор она могла объяснять себе самой, что английские деньги – это обычный заем у соседней державы, то теперь – это деньги, полученные тайно от государства, с которым Россия находится в состоянии войны. Она как ни в чем не бывало продолжает сообщать своему корреспонденту, что происходит при дворе, и вот перед нами текст, от которого – мороз по коже. «Его превосходительство» сообщает, что «щупал и перещупал Апраксина», чтобы узнать, какую инструкцию тот получил от Елизаветы Петровны. Вот какой был разговор. Екатерина: «Вы будете брать Мемель?» Апраксин: «Нет». Екатерина: «Вы пойдете через Польшу?» Апраксин: «Да». Екатерина говорит ему, что Фридрих II не

хочет войны. Апраксин отвечает: «Мои полки уже продвинулись к Курляндии».

Итак: планы захвата власти в час смерти Елизаветы, получение денег от иностранной державы, с которой Россия находится в состоянии войны, передача послу этой державы сведений о предполагаемом передвижении российской армии – что она, о двух головах? И не помнит о судьбе статс-дамы Лопухиной? Нет, у нее одна голова, и в ней единственное решение. «Я буду царствовать, – пишет она Уильямсу, – или погибну». В этом решении Екатерины разгадка ее поступков.

Она ощущает себя государыней, отстаивающей интересы своей страны. Как государыня она делает заем у соседней, дружественной ей державы. Как государыня восстает против войны, в которой русские солдаты будут погибать ради выгоды придворных клик, российских и иностранных; делает все, чтобы войны этой не было, – союз с Англией сейчас в интересах России. Она действует тайно, потому что у нее нет власти, но ничего, власть будет в ее руках. Совесть ее спокойна, она живет по законам плена, только слишком уж опасна игра, которую она ведет. И Екатерина резко меняет тон письма, чем приводит Уильямса в отчаяние. «Да, я знаю, вы всей душой преданы славе России, – пишет он, – но какая ей будет польза, если Франция и Австрия уничтожат Фридриха, который никогда не вредил России?» Екатерина не слушает доводов и прекращает переписку. Практических последствий она не имела – Мемель сдался русским без боя (кстати, сведения, переданные ею, были неверны, Апраксин пошел на Мемель), никаких ловушек на пути российская армия не встретила – и все же она была, эта переписка!

Письма Екатерины становятся особенно неприятны там, где она пишет о Елизавете Петровне – о состоянии здоровья той самой женщины, о которой не раз писала с симпатией. Тут ей не до симпатий. Бедная Елизавета бодрится, пытается убедить окружающих, что не так уж и плоха. Но Екатерина жестко усмехается! «Она не сказала трех слов подряд, не кашляя и не задыхаясь, и разве считая нас слепыми и глухими могла сказать нам, что не страдает от этих недугов, а так как это рассмешило меня, я вам рассказываю это».

Можно было бы додумать, что, играя роль мужчины, она в своем письме не только говорит о себе в мужском роде, но и как бы

подделывается под брутальный мужской характер. Увы, подобное объяснение не выдерживает критики: она смотрит на умирающую с явной насмешкой. Та, едва ли не в бредовом состоянии, утверждает, что сама поведет в бой свою армию. Екатерину это опять смешит, поскольку «бедная дама не только не в состоянии совершить такое безрассудное предприятие, но не могла бы взойти на свои лестницы без одышки». И наконец прямое отвращение: «Императрица все в том же состоянии: вся вздутая, кашляющая и без дыхания, с болями в нижней части тела». У Екатерины, как видно, тут только одна цель – дать убедительные доказательства того, что Елизавета действительно при смерти и что она, Екатерина, должна английскому правительству крупную сумму, скоро станет императрицей.

Тут уже перед нами другая Екатерина – ни тени той кротости, которую мы видим в ее Записках, ни малейшего желания уступать и угождать. Если бы угрюмый кондор на скале, стерегущий минуту, когда умрет обессиленный путник, мог написать письмо своему соседу на дальней скале, он написал бы так же угрюмо и жестко.

Лучше бы нам не читать этих писем и не видеть этой Екатерины, но правда есть правда, и мы еще не раз с этим столкнемся: когда дело доходит до власти, в душе этой женщины мгновенно включаются сильные и грубые механизмы защиты и нападения.

И вот грянул гром.

Понятовский прислал ей записку: арестован канцлер Бестужев, сторонник Англии, а с ним Елагин, Ададуров, всё люди, Екатерине близкие, и к тому же еще ее ювелир Бернард. Екатерина поняла: это удар и по ней. Зато Шуваловы, ее злейшие враги, они знают о письмах! Нужно было появиться при дворе и делать вид, будто ничего не случилось. «С ножом в сердце» она оделась, пошла к обеду, присутствовала на придворных свадьбах. И сразу почувствовала; она в мертвом кругу. Никто с ней ни о чем не говорил, и она ни с кем не говорила. Вечером на балу подошла к князю Трубецкому и фельдмаршалу Бутурлину, которые вместе с А. Шуваловым должны были вести следствие, оба ответили, что расследование идет, ищут других преступников. Во что бы то ни стало ей надо было видеть Понятовского.

И тут же она узнала, что по требованию российского правительства Польша его отзывает.

И тогда Екатерина села писать письмо. Она писала Елизавете, что не может больше жить при ее дворе, нелюбимая ею и ненавидимая мужем. Что она живет едва ли не в тюрьме, что любой из ее слуг, стоит ей к нему привязаться, становится жертвой жестоких преследований. Что она живет неподалеку от своих детей, но ей не разрешено их видеть. Пусть отошлют ее домой, к родственникам, где она и проведет остаток своих дней.

Она шла ва-банк. Ей сообщили, что императрица будет с ней говорить. Свидание состоялось не сразу; первым движением Елизаветы был, по-видимому, гнев, поскольку она тотчас распорядилась уволить от великой княгини Владиславлеву, одну из самых близких к ней женщин. Тогда Екатерина сказалась тяжелобольной, заявила, что доктора ей не нужны, ей нужен духовник (он у них с Елизаветой был общий). Когда священник пришел и она сообщила ему свою позицию, он ее поддержал: пусть настаивает на своем возвращении в Германию, ее, конечно, не отошлют, «потому что нечем будет оправдать эту отсылку в глазах общества». Не могла же она ему сказать: «Все это так, если только в руки Шуваловых не попали кое-какие письма, а не то у Елизаветы будет возможность объяснить обществу, почему великую княгиню с позором отсылают домой». В этом случае Екатерина теряла российскую корону, а выигрывала всего только жизнь.

Духовник пообещал немедленно отправиться к императрице и сказать, что горе и страдания могут убить великую княгиню. Елизавета в ответ прислала спросить, сможет ли великая княгиня прийти к ней ближайшей ночью.

После полуночи за ней явился Александр Шувалов, начальник Тайной канцелярии. Они шли пустым полутемным дворцом; проходя галереей, она увидела, что великий князь тоже идет к императрице. (Екатерина узнала позднее, что в тот самый день он обещал Елизавете Воронцовой жениться на ней, если жены его не будет в живых.)

Едва войдя, Екатерина бросилась на колени, со слезами умоляя отослать ее домой. Она успела заметить, что на одном из туалетных столиков стоит глубокий золотой поднос, а на нем сложены письма...

— Как вы хотите, чтоб я вас отослала? — у Елизаветы в глазах были слезы; может быть, в ту минуту ей впервые пришло в голову, каково-то было жить юной княгине при ее дворе. — Не забудьте, у вас дети.

Екатерина ответила, что дети под покровительством ее, императрицы, – ничего лучшего для них и не может быть.

Тогда Елизавета задала вопрос, для нее, по-видимому, главный:

– А как объяснить обществу причину этой отсылки?

Екатерина ответила, что императрица может выдвинуть любую причину. В комнате, кроме этих двух женщин, были еще великий князь и Шувалов. Против окна стояли большие ширмы, как оказалось потом, за ними скрывался И. Шувалов, фаворит. Она была в «стане врагов», потому что и великий князь тотчас ее предал, явно встав на сторону Шуваловых. Самым опасным был начальник Тайной канцелярии А. Шувалов. А на золотом подносе лежали письма, и каждое могло стать роковым...

И все-таки Елизавета была скорее печальной, чем гневной.

– Чем же вы будете жить? – спросила она. – Ваша мать в бегах, она в Париже.

Екатерина ответила, что знает об этом, знает и причину этого: Фридрих Прусский преследует герцогиню Иоганну Елизавету из-за того, что та предана России.

Елизавета заставила ее подняться с колен и отошла от нее в задумчивости, а потом сказала:

– Вы помните, как я плакала, когда вы, только что приехав в Россию, тяжело заболели?

Екатерина стала было говорить о своей благодарности за всю ту заботу, которой по приезде окружила ее императрица, но та была уже во власти неприятных воспоминаний.

– Вы очень горды! – сказала она запальчиво. – Вы кланялись мне только наклоном головы, я еще спросила у вас тогда, не болит ли у вас шея?

Императрица все-таки оставалась сама собой. Екатерина не преминула осторожно заметить, что история с кивком головы была четыре года назад...

– Вы воображаете, что умней вас нет никого на свете! – продолжала наступать Елизавета.

– Она очень злая и упрямая, – счел нужным вставить великий князь.

– Если бы я действительно так считала, – ответила наша лукавая героиня, – то принуждена была бы в этом разувериться хотя бы потому,

что как тогда не понимала, так и теперь не понимаю, в чем меня обвиняют.

И вдруг императрица спросила об Апраксине и о письмах. Можно легко представить себе: Екатерине показалось, что все пропало и на подносе те самые письма, но потом поняла – речь идет о ее письмах Апраксину. Тут она была готова к ответу: в одном она просила его наступать, два были поздравительные.

– А почему вам вообще пришло в голову писать Апраксину?

Боже мой, как близко!

Тут слово, по счастью, взял великий князь Петр Федорович и принялся так чернить жену, что присутствующим стало ясно: он хочет освободить место для Елизаветы Воронцовой (что никому не могло понравиться). «Он так постарался, – пишет Екатерина, – что императрица подошла ко мне и сказала мне вполголоса: «Мне надо будет многое еще вам сказать, но я не могу говорить, потому что не хочу вас ссорить еще больше», а глазами и головой она мне показала, что это было из-за присутствия остальных». Екатерина ответила: «И я также не могу говорить, хотя мне чрезвычайно хочется открыть вам свои сердце и душу». У императрицы были в глазах слезы. Пронесло?

Однако, памятуя о переменчивом характере Елизаветы (да еще и то обстоятельство, что императрица при разговоре была, конечно, под влиянием своего духовника), Екатерина не могла быть спокойной, ожидая ее окончательного решения.

«Я заперлась в моих покоях, как и прежде, под предлогом нездоровья. Я помню, что я тогда читала пять первых томов «Истории путешествий» с картой на столе, что меня развлекало и обогащало знаниями. Когда уставала от этого чтения, я перелистывала первые томы Энциклопедии... и ждала дня, когда ее Императорскому Величеству будет угодно допустить меня до второго разговора».

А императрица все не звала; и то был дурной знак. Потом к ней был послан граф Михаил Воронцов с просьбой от Елизаветы не говорить больше об отъезде в Германию. На это Екатерина повторила с твердостью, что прежний образ жизни продолжать не в состоянии, что хочет освободить императрицу и окружающих от своего тягостного всем присутствия; а что живет она в ста шагах от своих детей, так это все равно что в ста верстах. В день рождения Екатерины императрица

послала ей сказать, что пьет ее здоровье. Екатерина и тут не вышла из своих покоев.

Наконец явился Александр Шувалов и сказал, что ей разрешена встреча с детьми, после чего императрица примет ее для второго разговора. На этот раз ширм в комнате не было – они разговаривали наедине. Елизавета спросила, действительно ли писем к Апраксину было только три. Екатерина в том поклялась. Победа была за ней.

Елизавета умерла на Рождество 1760 года. Петр Федорович откровенно ликовал. А Екатерина? Она явилась в слезах, в глубоком трауре, с распущенными волосами.

«На третий день, – пишет она, – я, надев черное платье, пошла к телу, где отправлялась панихида; тут ни императора, никого не было, кроме у тела дневальных, да те, кои со мной пришли. Оттуда я пошла к сыну моему, а потом посетила я графа Алексея Григорьевича Разумовского в его покоях во дворце, где он от чистосердечной горести по покойной государыне находился болен. Он хотел пасть к ногам моим, но я, не допустя его до того, обняла его, и, обнявшись, оба мы завyli голосом и не могли почти говорить слова оба, и, вышед от него, пошла к себе» (и тут узнала, что во дворце рядом с ее покоями будет жить Елизавета Воронцова). Сцена свидания с Разумовским правдива, оба были потрясены: для Разумовского кончалась целая эпоха – его любви к Елизавете, надо думать, нелегкой, особенно в период, когда стареющую императрицу тянуло к юным фаворитам. Екатерина же не могла не вспомнить о той блестящей красавице, которая когда-то была к ней так добра. Смешанное чувство было в душе великой княгини: и радость от того, что долгожданная смерть произошла, и страх перед будущим.

Императором стал Петр III. Для начала взглянем на него, каким он был в те дни своего торжества. Портрет, написанный Алексеем Антроповым, очень выразителен. Петр стоит в узком, красиво заставленном пространстве, и кажется, что тут царит ночь: тонут во мраке коричневые стены, темно-зеленые колонны и занавес, а фон уже просто уходит в черноту, где весь в ярких бликах горит изящный рокайльный столик. С другой стороны – трон, тоже весь в мерцании резьбы и украшений, на него брошена горностаевая мантия, – но все

это притушено, чтобы не мешать световому лучу, выхватившему из мрака фигуру Петра. Здесь палитра становится яркой – золото перевязи, огненные отвороты и воротник. Узкая фигурка и сама как драгоценность на темном бархатном фоне. Но если к ней приглядеться...

Он сильно приукрашен, разумеется (в согласии с канонами тогдашней живописи), но характер его виден ясно. Новый император выступает горделиво, рука с маршальским жезлом опирается о столик с императорскими регалиями, другая – уперта в бок, нога в высоком сапоге с важностью выставлена, корпус горделиво откинут. Но никакого величия тут не получается, поза подчинена какому-то несерьезному танцевальному ритму, что-то птичье во всей этой фигуре с ее маленькой головкой – не то чиж, не то дрозд. Есть живость? Но если взглянуть в лицо, впечатление живости пропадет – глаза сонные, физиономия тупая. Мы знаем о нем в основном по рассказам Екатерины, однако ее легко заподозрить в пристрастности – ненависть и презрение плохие свидетели. Но рассказы ее находят подтверждение в свидетельствах других современников. Мы обратимся к свидетелю – замечательному, знаменитому мемуаристу XVIII века Андрею Тимофеевичу Болотову (к его мемуарам мы будем возвращаться не раз). В то время он, адъютант генерала Корфа, одного из самых близких людей Петра III, бывал при дворе едва ли не каждый день и сильно всему происходящему дивился.

«Редко стали мы заставлять государя трезвым и в полном уме и разуме, а всего чаще уже до обеда несколько бутылок аглинского пива, до которого он превеликий охотник, уже опорожнившим, то сие и бывало причиною, что он говаривал такой вздор и такие нескладицы, что при слушании оных обливалось даже сердце кровью от стыда перед иностранными министрами (послами. – О. Ч.), видящими и слышащими, а то и бессменно смеющимися внутренне».

А сам молодой офицер, глядя на то, как проводят время первые лица России, не знал, плакать ему или смеяться. «Не успеют, бывало, сесть за стол, как и загремят рюмки и бокалы и столь прилежно, что, ставши из-за стола, сделаются иногда все как маленькие ребяточки, и начнут шуметь, кричать, хохотать, говорить нескладицы и несообразности сущие. А однажды, как теперь вижу, дошло до того, что вышедши с балкона прямо в сад, ну играть все тут на усыпанной

песком площадке, как играют маленькие ребятки. Ну все прыгать на одной ножке, а другие согнутым коленом толкать своих товарищей под задницы и кричать:

– Ну! Ну братцы, кто удалее, кто сшибет с ног кого первый? – и так далее.

А посему судите, каково же нам было тогда видеть сим образом всех первейших в государстве людей, украшенных орденами и звездами, вдруг спрыгивающих, толкущихся и друг друга наземь валяющих?»

Вот именно эту самую «нескладицу» и изобразил А. Антропов на своем эскизе – «вздор и нескладицу» среди царских регалий. Художник, разумеется, не собирался писать карикатуру, он думал представить модель в наилучшем виде, а неподкупная кисть его разоблачала.

И вот эта «нескладица», этот чиж, не всегда трезвый, издал три указа (сразу, в течение трех дней), обнаружив сильный государственный ум, удивив тем современников и приведя в изумление историков – настолько, что они принялись пересматривать репутацию Петра Федоровича, а романисты и вовсе поспешили вообразить себе жестоко оболганного молодого царя, игравшего на скрипке и романтически влюбленного во фрейлину своей жены, издающего мудрые указы.

Екатерина однажды во дворце повстречала молодого князя Дашкова, тот шел и плакал от счастья: император подписал указ о вольности дворянства, согласно которому дворяне больше не были обязаны, как раньше, нести государственную службу.

– Разве раньше вы были крепостными? – холодно спросила Екатерина.

Она была крайне раздражена этим указом: дворяне добились привилегии сидеть по своим поместьям и ничего не делать.

Второй указ уничтожил ужасную сыскную Тайную канцелярию, третий – предписывал секуляризацию монастырских земель. Впрочем, современники не поверили, что подобного рода важнейшие государственные акты были действительно рождены волею Петра III. Относительно указа о вольности дворянства существовало по меньшей мере два анекдота. Согласно одному, император проигрался в карты барону Корфу, и тот вместо выплаты долга потребовал подписание

указа. Согласно второму, Петр, которому хотелось встретиться с одной из фрейлин тайком от ревливой Елизаветы Воронцовой, просил своего секретаря Д. В. Волкова, чтобы тот за ночь «к завтраму какое знатное узаконение написал». Волков – так будто бы рассказывал он сам, – запертый в пустой комнате, томился, не зная, о чем писать. «Но как он был человек догадливый, то вспомнил нередкие вытвержения государю от графа Романа Ларионовича Воронцова о вольности дворянства, сяди, написал манифест о сем. Поутру его из заключения выпустили, и манифест был государем апробован и обнародован».

На самом деле все эти указы были подготовлены задолго до вступления на престол Петра III, а все, что он делал или был намерен сделать по собственному разумению, удивляет своей нелепостью. Он собирался: обрить бороды православных священников, бросить российские гвардейские полки в войну с Данией, чтобы отнять у нее Шлезвиг и присоединить его к родной ему Голштинии. А сделал он только одно: окончив Семилетнюю войну, вернул Фридриху Прусскому все территории, завоеванные русской армией, и тем свел на нет все ее победы.

Петр Федорович всегда был влюблен в Фридриха II, а сейчас эта влюбленность дошла до фанатического поклонения. Он знал до мельчайших подробностей порядки прусской армии, ходил в прусской форме, украшенный прусским орденом Черного Орла; носил на пальце перстень с портретом прусского короля и на пиру пил его здоровье. Он был заморожен Фридрихом точно так же, как когда-то всеми теми генералами, к которым в бытность мальчишкой не смел подойти до тех пор, пока его не позовут. И тут его позвали: Фридрих дал ему чин генерал-майора прусской армии (и насмешливый Кирилл Разумовский предложил ему в ответ возвести Фридриха в русские фельдмаршалы). Словом, Петр Федорович доказал, что Екатерина была стократ права, говоря, что нет у него более опасного врага, чем он сам.

В манифесте о своем восхождении на престол Петр III не упомянул ни жены своей, императрицы, ни сына своего, наследника престола, – словно бы хотел всенародно подтвердить те слухи, что уже шли по стране: он собирается отстранить Екатерину, постричь ее в монахини (этому никто бы не удивился и не воспротивился, заточил же Петр свою законную и ни в чем не виноватую жену в Суздальский монастырь, постриг ее в монахини, почему бы внуку не повторить

опыт великого деда?) и жениться на Воронцовой, Павла тоже нетрудно будет ему устранить. Намерения его уже были очевидны.

Петр III переехал в Зимний дворец как раз накануне Пасхи, в Великую субботу, при Елизавете тут шли бы торжественные богослужения, но теперь, говорит Болотов, никакого праздника не было, «ибо как государь не хранил вовсе поста и вышеупомянутое имел отвращение от нашей религии, то и не присутствовал даже, по прежнему обыкновению, при заутрени, а представил все сие одним только духовным и императрице, своей супруге». Просто собрались «знатнейшие особы», чтобы его поздравить, вот и все.

И у Андрея Болотова не было праздника, он должен был думать о том, «как бы скорее и лучше причесаться и, убравшись в свой новый мундир (прусского образца. – *О. Ч.*), ехать к генералу»; он едва успел урвать несколько минут, чтобы забежать помолиться в полицейскую церковь.

И вот он во дворце (то было его первое посещение). «Самая уже огромность и пышность здания сего, – пишет он, – приводили меня в некоторое приятное изумление»; и при виде великолепия внутреннего убранства он «сам себя не вспомнил от удовольствия». Комнаты были набиты «несметным множеством народа», и «все разряжены были впрах». Были тут и иностранные министры, и генералы, и штабные офицеры, и штатские высшие чиновники, разнообразие и пестрота мундиров была поразительна. Болотов так всем этим залюбовался, что позабыл про усталость.

«Не успел я тут остановиться, – рассказывает он, – как через несколько минут и увидел двух женщин в черном платье и обеих в Катерининских алых кавалериях, идущих друг за другом из отдаленных покоев в комнату к государю. Я пропустил их без всякого почти внимания, но каким удивлением поразился я, когда, спросив тихонько у стоявшего подле себя одного полицейского и мне уже знакомого офицера, кто бы такова была передняя из прошедших мимо нас госпож, услышал от него, что то была сама императрица. Мне сего и в голову никак не приходило, ибо видел до сего один только портрет ее, писанный уже давно и тогда еще, когда была она великой княгиней и гораздо моложе, и, видя тут женщину низкую, дородную и совсем не такую, не только не узнал, но не мог никак и подумать, чтоб то была она. Я досадовал неведомо как на себя, что не рассмотрел ее более».

Болотов Екатерину действительно не разглядел, в те годы она выглядела по-другому. «Но как несказанно увеличилось удивление мое, когда на дальнейший сделанный ему вопрос о том, кто б такова была толстая и такая дурная собой, с обрызглою рожею барыня, – он, усмехнувшись, мне сказал: «Как, братец! Неужели ты не знаешь? Это Елизавета Романовна!» – «Что ты говоришь? – оцепенев даже от удивления, воскликнул я. – Это-то Елисавета Романовна!.. Ах! Боже мой, да как это может случиться? Уж такую толстую, нескладную, ширококорую, дурную и обрызглую совсем любить да еще любить так сильно государю?»

– Что изволишь делать! – отвечал мне тихонько офицер. – И ты дивись уж этому, а мы дивились, дивились да и перестали уже».

Тут появился Петр. «Не могу никак изобразить, – пишет Болотов, – с какими разными душевными волнениями смотрел я в первый раз тогда на сего монарха и тогдашнего обладателя всей России». И совсем было бы ему грустно, если бы одному полицейскому офицеру «не удалось пронюхать и узнать, что в задних и отдельных комнатах есть накрытый и превеликий стол для караульных офицеров и ординарцев».

Петр вел себя все более нагло. 9 июня во время обеда публично оскорбил жену, крикнув ей через стол, что она «дура» (самое удачное определение Екатерины!), и в тот же вечер отдал приказ об ее аресте; только вмешательство принца Георга, дяди Екатерины, жившего тогда в Петербурге, заставило Петра отменить приказ.

Конечно, она готовила переворот. Уже в середине 50-х годов (мы видели это по ее переписке с Уильямсом) она усердно работала над созданием лагеря своих сторонников, теперь к этому прибавилась работа в гвардейских полках, где были чрезвычайно популярны братья Орловы. Сама Екатерина позднее свидетельствовала, что в заговоре было от тридцати до сорока офицеров и около десяти тысяч нижних чинов. Но тем самым опасность, что заговор будет раскрыт и заговорщики погибнут вместе с ней, тоже возрастала. А супруг ее явно торопился.

Она сама рассказала о том, как произошел переворот, – в письме в Польшу к Понятовскому. Их тайная переписка по этому поводу

психологически весьма любопытна. Весть о том, что его недавняя возлюбленная стала российской императрицей, по-видимому, сильно взволновала молодого польского графа, он рвался в Петербург – Екатерина его удерживала. «Убедительно прошу вас, – писала она, – не спешить приездом сюда, потому что ваше пребывание в настоящих обстоятельствах было бы опасно для вас и очень вредно для меня. Переворот, который только что совершился в мою пользу, похож на чудо», но теперь «все здесь полно опасности и чревато последствиями. Я не спала три ночи и ела только два раза в течение четырех дней».

У нее были все основания не допускать приезда Понятовского в Петербург, об одном из них она отчетливо намекает в своем письме. Орлов! Старший из троих братьев, принимавших участие в перевороте, неотлучно при ней и готов ради нее на тысячу безумств (о том, что два месяца назад она родила ему сына, императрица не упоминает). «Потребовалась бы целая книга, чтобы описать поведение каждого из начальствующих лиц. Орловы блистали своим искусством управлять умами, осторожной смелостью в больших и малых подробностях, присутствием духа и авторитетом, который это поведение им доставило. У них много здравого смысла, благородного мужества. Они патриоты до энтузиазма и очень честные люди, страстно привязанные к моей особе, и друзья, какими еще не были никакие братья; их пятеро, но только трое были здесь». Она клянется не забывать графа и его семью, обещает сделать его польским королем, как только умрет ныне царствующий. Подобная переписка сама по себе была опасна (тем более что на курьера, возившего письма, уже нападали грабители, почта тогда разлетелась по снегу, письмо Понятовского было найдено лишь по счастливой случайности).

Но молодой граф не принимал никаких резонов и не желал понимать намеков относительно Григория Орлова; обвинял Екатерину в черной неблагодарности, осыпал упреками и настаивал на своем приезде. Ее письма становились все жестче, и наконец последовало окончательное: раз он решил не понимать того, что она твердит ему уже полгода, она запрещает ему не только приезжать к ней, но и писать ей. Этой переписке мы обязаны подробным рассказом о том, как происходил переворот 1762 года.

Итак, заговорщики торопились. Сперва было решено схватить Петра в его покоях и заключить в тюрьму, как сделала когда-то Елизавета по отношению к принцессе Анне и ее детям, но Петр уехал в Ораниенбаум. Приходилось ждать. Правда, в рядах заговорщиков, столь многочисленных, не нашлось ни одного предателя. И тем не менее дело едва не погибло, потому что в войсках стал распространяться слух о том, будто императрица арестована; с этой вестью один из преображенцев пришел к капитану Петру Пассеку, который был в заговоре, но капитан его успокоил, уверяя, что это неверно. Разговор стал известен майору, тот арестовал Пассека и послал рапорт императору в Ораниенбаум. Нужно было действовать мгновенно.

«Я спокойно спала в Петергофе, – рассказывает Екатерина, – в 6 часов утра 28-го. День прошел очень тревожно для меня, так как я знала все то, что готовилось. Алексей Орлов входит в мою комнату и говорит мне с большим спокойствием: «Пора вам вставать; все готово для того, чтобы вас провозгласить». Я спросила у него подробности, он сказал; «Пассек арестован». Я не медлила более, оделась как можно скорее, не делая туалета, и села в карету, которую он привез. Другой офицер под видом лакея находился при дверцах кареты; третий выехал навстречу ко мне в нескольких верстах от Петербурга. В пяти верстах от Петербурга я встретила старшего Орлова (Григория. – *О. Ч.*) с князем Барятинским младшим; последний уступил мне свое место в одноколке, потому что мои лошади выбились из сил». (Как же нужно было гнать по столь недолгой дороге, чтобы лошади царской конюшни выбились из сил!)

Так в одноколке, наедине с человеком, которого она любила больше всех на свете, эта женщина, несомненно одна из самых замечательных в истории России, мчалась навстречу неслыханной своей судьбе.

Первым был Измайловский гвардейский полк, на гром барабана, бывшего тревогу, сбегались гвардейцы, которые встретили ее восторженно. Привели священника, началась присяга. Потом в карете очень медленно – перед ней шел священник – они двинулись в Семеновский полк, который с криками «виват» вышел ей навстречу. Затем все они отправились в Казанскую церковь, куда к ней явились

преображенцы, а вслед за ними конная гвардия. Было принято решение – идти на Ораниенбаум, чтобы захватить Петра.

И вот она верхом на любимом своем Бриллианте – как всегда, в мужском седле; на ней (с чужого плеча) форма Преображенского полка, полковником которого она себя только что провозгласила (полковник – высший чин в гвардии) – ботфорты, треуголка, украшенная дубовыми листьями (так украсили свои треуголки все ее гвардейцы), из-под шляпы вьется темная прядь – все это можно увидеть на картине, ставшей тогда знаменитой. Есть ее портрет, он замечательно отражает веселый азарт тех триумфальных дней.

В своих Записках Екатерина рассказывает подробности этого похода. «Первый привал был сделан в 10 верстах от города, на постоялом дворе, называемом Красный Кабачок: здесь все имело вид настоящего военного предприятия; «солдаты разлеглись на большой дороге, офицеры и множество горожан, следовавших из любопытства, и все, что могло поместиться в этом доме, вошло туда. Никогда еще день не был более богат приключениями; у каждого свое, и все хотели рассказывать; было необыкновенно весело, и ни у кого не было ни малейшего сомнения. Можно было подумать, что все уже порешено, хотя в действительности никто не мог предвидеть конца, какой примет эта великая катастрофа. Не знали даже, где находится Петр III. Следовало предполагать, что он бросится в Кронштадт, но никто не думал об этом».

У Петра были немалые силы – полторы тысячи голштинцев, а также приверженцы и в российской армии; если он переправится в Кронштадт (как ему и советовал тогда опытный фельдмаршал Миних), он сможет организовать там оборону или бежать оттуда за границу.

Екатерина была в тревоге, еще из Петербурга она послала в Кронштадт адмирала Талызина, без всякой надежды на успех: когда он доплывет до Кронштадта, там уже будет Петр – ему от Ораниенбаума миля пути. Судьба переворота теперь решалась в Кронштадте.

Она веселилась со всеми, но на душе у нее скребли кошки; она бросилась на кровать, но заснуть не могла, даже не могла сомкнуть глаз и лежала тихо, чтобы не разбудить лежащую рядом Дашкову. Нечаянно повернув голову, увидела, что и юная княгиня не спит, а лежит с открытыми глазами, тихо, чтобы не разбудить свою старшую подругу. Обе расхохотались и присоединились к другим.

А Петр, узнав, что произошло в Петербурге, метался, не знал, что предпринять. Миних советовал одно, дамы (то были гости, прибывшие на именины императора) – другое. Все-таки он решился плыть в Кронштадт, тем более что там были верные ему войска; погрузил свою свиту и дам на два судна (галеру и яхту) и двинулся к крепости. Ему было недалеко, но он потерял время.

А Талызин очень спешил. И прибыл раньше. Когда он высадился на пристани Кронштадта, там стояло около двух тысяч войска, командовал им верный Петру генерал Девьер, – как видно, какие-то слухи о перевороте сюда уже дошли. Увидев высаживающегося Талызина, Девьер у него спросил:

– Что делается в городе?

– Ничего, – ответил Талызин.

– Куда вы теперь направляетесь? – спросил генерал.

– Пойду посплю, – ответил адмирал.

Он вошел в дом, вышел через заднюю дверь, явился к коменданту крепости и уговорил его присягнуть императрице, прибавив, что с ним две тысячи матросов (о которых и помина не было). Они вернулись к Девьеру, отняли у него шпагу – и все присягнули Екатерине. Все-таки на удивление легко шел этот государственный переворот.

Когда Петр со своими спутниками подошел к Кронштадту, было уже темно, его окликнули, он назвал себя – и получил в ответ приказ убираться, если не хочет, чтобы в него стреляли из пушек.

Отрекшемуся императору, который должен был поселиться в своем небольшом загородном дворце в Ропше, Екатерина назначила охрану – Алексея Орлова, князя Федора Барятинского, еще троих офицеров, а также сто человек гвардейцев, набранных из разных полков. Предполагали заключить его в Шлиссельбурге, для чего нужно было «выселить» несчастного Ивана Антоновича. 29 июня майор Силин получил из Петергофа следующее распоряжение: «Вскоре после сего имеете, если можно, того же дня, а по крайней мере на другой день, безыменного колодника, содержащегося в Шлиссельбургской крепости под вашим смотрением, вывезти сами из оной в Кексгольм; а в Шлиссельбурге, в самой оной крепости, очистить внутренние покои и прибрать по крайней мере по лучшей опрятности, оные, которые изготовив, содержать по указу». 4 июля из

деревни Мордя (30 верст от крепости) Силин доносил, что их разбило на озере бурей и они с арестантом в этой деревне ждут судна плыть в Кексгольм. Но арестант вскоре вернулся в свою тюрьму. Она не понадобилась – Петр Федорович умер в Ропше.

Что же там случилось?

Многие историки убеждены, что Петр III был убит гвардейцами по тайному приказу Екатерины, а в общественном сознании укрепились как несомненное: царица, конечно, убила мужа – пусть этому и нет точных доказательств. Но в том-то и дело, что если таковых доказательств и впрямь нет, то доказательства невинности Екатерины существуют.

Когда Екатерина умерла, в ее заветной шкатулке наряду с другими бумагами было найдено письмо. Само оно до нас не дошло, но мы знаем его текст. Это письмо из Ропши Екатерине от Алексея Орлова, которому было поручено сторожить низложенного императора. Вот оно:

«Матушка, милосердная Государыня. Как мне изъяснить, описать, что случилось? Не веришь верному рабу своему, но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал. И как нам задумать поднять руки на Государя. Но, Государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором; не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил: прогневали тебя и погубили души навек».

Получив письмо, Екатерина показала его княгине Дашковой, свидетельство которой важно. «Если бы кто-нибудь заподозрил, что императрица повелела убить Петра III или каким бы то ни было образом участвовала в этом преступлении, я могла бы представить доказательства ее полной непричастности к этому делу: письмо Алексея Орлова, тщательно сохраненное ею в шкатулке, вскрытой Павлом после ее смерти. Он приказал князю Безбородко прочесть бумаги, содержащиеся в шкатулке, и, когда он прочел вышеупомянутое письмо, Павел перекрестился и сказал: «Слава Богу! Это письмо рассеяло и тень сомнения, которая могла бы еще сохраниться у меня».

«Оно было написано, – продолжает Дашкова, – собственноручно Алексеем Орловым; он писал, как лавочник, и тривиальность (тут лучше было бы перевести – «пошлость». – *О. Ч.*) выражений, бестолковость, объясняемая тем, что он был совершенно пьян, его мольбы о прощении и какое-то удивление, вызванное в нем этой катастрофой, придают особый интерес этому документу для тех людей, кто пожелал бы рассеять отвратительные клеветы, в изобилии возводимые на Екатерину II, которая хотя и была подвержена многим слабостям, но не была способна на преступление. Пьяный, не помня себя от ужаса, Алексей отправил это ужасное письмо Ее Величеству тогда же, после смерти Петра. Когда, уж после кончины Павла, я узнала, что это письмо не было уничтожено и что Павел велел прочесть его в присутствии императрицы (Марии Федоровны. – *О. Ч.*) и послать Нелидовой (фрейлине двора) и показал его великим князьям и графу Ростопчину, я была так довольна и счастлива, как редко в моей жизни».

На самом деле письмо было уничтожено: когда Павел его прочел, он пришел в бешенство – можно представить себе, что сделалось в его душе, когда он узнал, в какой компании и при каких обстоятельствах умирал его отец, память которого он глубоко чтит, – бросил его в огонь и потом жалел, что уничтожил такое сильное доказательство невинности своей матери.

Но если письмо это погибло в огне, каким же образом мы знаем его текст? Когда после смерти графа Ростопчина (знаменитого генерал-губернатора Москвы в 1812 году) разбирали его бумаги, нашли следующую записку:

«После смерти Екатерины в первый день найдено письмо графа Алексея Орлова и принесено императору Павлу: по прочтении им возвращено графу Безбородко; я имел его четверть часа в руках; почерк известный мне графа Орлова; бумаги лист серый и нечистый, а слог означает положение души сего злодея и ясно доказывает, что убийцы опасались гнева Государыни, и сим изобличает клевету, падшую на жизнь и память сей великой царицы. На другой день граф Безбородко сказал мне, что император Павел потребовал от него вторично письмо графа Орлова и, прочитав, в присутствии его, бросил в камин и сим истребил памятник невинности великой Екатерины, о чем и сам чрезмерно после соболезнавал».

Как видим, и Ростопчин (которому пятнадцать минут вполне хватило на то, чтобы снять копию), и сам Павел не сомневались в подлинности письма и считали, что оно снимает с Екатерины всякую тень подозрения (даже Павел, не любивший мать, не верил, что она виновна в смерти его отца, и был рад свидетельству ее невиновности).

Но для предубеждения, являющего собой некую историко-психологическую загадку (кому и зачем нужно убедить потомков, что Екатерина убила своего мужа?), письмо А. Орлова доказательством не является: тут полагают опять же некую хитрую игру самой Екатерины – мол, убей его, а потом напиши мне, что все это получилось неожиданно и случайно. А может быть, говорят комментаторы, Екатерина, отправляя А. Орлова в Ропшу, не сказала ни единого слова, Орлов сам догадался, как надо поступать, на лету схватил!

Никаких оснований для подобных подозрений не существует, просто все, обвиняющие Екатерину в убийстве мужа, уверены, что оно было ей полезно и выгодно. На самом же деле преступление это было ей не только вредно, но и очень опасно.

Свидетельство Дашковой: приехав к Екатерине после того, как узнала о смерти Петра III, Дашкова «нашла ее грустной и растерянной»; Екатерина сказала: «Как меня взволновала и даже ошеломила эта смерть». Еще бы! Эта смерть могла стать катастрофой.

Петр, сидящий в Шлиссельбурге, был мало ей опасен, его ненавидела гвардия, ненавидело духовенство и все, кто был искренне привержен православию; у него была дурная слава в народе. Мертвый, да еще и убитый, он был опасен безмерно: Екатерина хорошо знала русскую историю, помнила царевича Дмитрия и череду самозванцев, выстроившихся за ним.

Поначалу народные симпатии были на стороне Екатерины, она представлялась трогательной жертвой, покинутой женой, которую хочет извести злодейка-разлучница (так называли Елизавету Воронцову в одной народной песне). А теперь Екатерина и Петр в глазах народа менялись местами: злодейкой становилась она (образ злодейки-жены тоже традиционен для древнерусского фольклора). Невинной жертвой становился он.

К тому же нужна была немалая отвага, если не сказать – безрассудство, чтобы пролить царскую кровь. Ведь Петр III все-таки

был родным внуком Петра I, культ которого с годами все более возрастал (а она, Екатерина, никому не родня).

Конечно, она была ошеломлена этой смертью.

Тогда, в 1762 году, послы иностранных государств сообщали своим дворам известие о смерти Петра III с собственными комментариями. Французский посол Беранже заканчивает свое сообщение такой сентенцией: «Что за зрелище для народа, когда он увидит: во-первых, внук Петра свергнут с престола и затем убит; во-вторых, внук царя Иоанна увядает в оковах, в то время как ангальтская принцесса завладела их наследственной короной, начав собственное царствование с цареубийства».

Екатерина была не глупее французского посла Беранже и опасность ситуации понимала куда лучше. Никогда бы не позволила она загнать себя в подобную ловушку.

Так что же все-таки случилось в Ропше?

Пожалуй, всего лучше поступил в своей книге А. Каменский, когда предложил читателю отказаться от всяких предубежденностей и прочесть письмо Орлова как бы заново, непредвзятым взглядом (как его, к примеру, читали Ростопчин или Дашкова). Сразу становится ясно: человек писал в состоянии паники, сильного потрясения (Дашкова отмечает: особый характер придает письму то странное чувство удивления, с которым оно написано). «В ужасе оттого, что подняли руку на государя и тем погубили души навеки, — пишет А. Каменский, — Орлов забывает даже, что Петр уже и не государь больше, раз он отрекся от престола, и называть его так в письме к Екатерине не следовало бы. Орлов в ужасе и оттого, что его ждет. Виноваты все и все «достойны казни», но в животном страхе он просит лишь за себя, спекулируя особым положением брата». В нормальном состоянии Алексей Орлов никогда бы на такое унижение не пошел. Он был человек большой личной храбрости. Да ведь мы не знаем, что же, собственно, произошло в ропшинском дворце, что значит — «заспорил за столом с князем Федором, не успели разнять, а его уже и не стало». А. Каменский рассматривает версию, которая, может быть, представляется более правдоподобной, чем другие.

Официально было объявлено, что Петр Федорович умер от апоплексического удара, — это сообщение всегда вызывало одни лишь иронические улыбки, но может случиться, что оно-то как раз и близко

к истине. Петр был тщедушным, слабым и болезненным человеком. Орлов, как и его братья, был огромным (его называли атлетом), остальные гвардейцы, надо думать, были ему под стать. Когда возникла застольная ссора – а поводов к ней в тех обстоятельствах могло быть сколько угодно, – от страха перед возможными оскорблениями, перед возможным насилием могли случиться и инфаркт, и инсульт (апоплексический удар), вот откуда это «а его уже и не стало». Неожиданность – подобная версия куда правдоподобней, чем заранее спланированное кровопролитие.

Подозревать Екатерину в тайных злодеяниях стало традицией, которая пошла еще от ее современников. Поразительна в этом отношении история Василия Мировича, нищего и едва ли не полубезумного поручика, который вознамерился в одиночку освободить из Шлиссельбурга Ивана Антоновича, потерпел неудачу и был казнен. Тогда же и возникло подозрение – по-видимому, не в России, а за рубежом: сам ли Мирович пошел на столь безумное предприятие, не был ли он подговорен на это Екатериной, которая таким вот образом решила избавиться от претендента на престол. Версия эта продолжает существовать и поныне, и когда в споре с одним историком я спросила, чем же она доказана, он с победоносным видом спросил: «А почему как раз в это время Екатерина уехала из Петербурга?» Любопытно работала тут его мысль (еще раз доказывая, насколько вредна подозрительность); ему не пришло в голову задаться вопросом, куда и зачем уехала Екатерина, ему при его подозрительности хватило того, что она отбыла из Петербурга, уехала – значит, неспроста, в то время как ее поездка в Прибалтику имеет, как мы увидим, особое значение и смысл.

Между тем история Мировича исследована, и весьма подробно, самим Сергеем Соловьевым, одним из крупнейших русских историков, за ним можно следовать здесь с полным доверием.

Начинает С. Соловьев издаleка, и это вполне оправданно: дед Василия Мировича полковник Федор Мирович вместе с Мазепой передался Карлу XII, поместья деда, после его бегства в Польшу, отошли к казне, семья бедствовала. Трагическое прошлое угнетало поручика Семеновского пехотного полка Василия Мировича. Он считал себя принадлежащим к знати – а в глазах властей был внуком

изменника; он жил в нищете – и полагал, что ему по праву принадлежат богатые поместья. Он просил их ему вернуть, ему в этом неизменно отказывали. «Для людей, подобных Мировичу, – пишет Соловьев, – страшное искушение представляло воспоминание 28 июня: «Тогда удалось им, отчего же теперь не удастся нам?» – вот вопрос, который неотвязно должен был преследовать недовольного, раздраженного Мировича». И вот он решает: попробовать освободить из Шлиссельбурга Ивана Антоновича и провозгласить его императором (апрель 1764 г.). Мирович открыл свой замысел приятелю Ушакову, как видно, оба были настроены восторженно: 13 мая в Казанской церкви они отслужили по себе панихиду, словно по уже умершим, как бы тем самым отдавая задуманному делу свои жизни. Решено было, что Мирович, который бывал в Шлиссельбургской крепости в качестве караульного офицера, посылаемого из Семеновского пехотного полка, поднимет солдат, а Ушаков в это время подплывет на шлюпке, заявит, что он курьер, посланный передать манифест от имени императора Иоанна VI; солдаты поверят манифесту, молодого императора на той же шлюпке отвезут в артиллерийский полк, которому было назначено сыграть ту же роль, какую в 1762-м сыграл Измайловский.

Таков был план. Он с самого начала был нарушен: при исполнении служебного поручения утонул Ушаков, что, однако, не уменьшило решимости его товарища. Он пытался подговорить нескольких солдат, а те ответили: «Как все, так и мы». 5 июля «во втором часу пополуночи» Мирович сбежал вниз из офицерской в солдатскую караульную, построил солдат, велел им заряжать ружья; арестовал коменданта и двинулся со своей командой к казарме, где стоял гарнизон крепости. На оклик: «Кто идет?» – ответил: «Иду к государю», притащил крепостную пушку, и гарнизон поспешил сдаться. Мирович вбежал в каземат.

Было темно, принесли огня – и он увидел на полу мертвого, то был император Иван Антонович, убитый в полном соответствии с тем приказом, который был дан еще Петром III (и подтвержден Екатериной). Тут подступили к нему солдаты с вопросом, не убить ли им офицеров, но Мирович ответил: «Не трогайте. Теперь помощи нам никакой нет, они правы, а мы виноваты». На следствии Мирович показал, что был унижен своим положением, оскорблен

незаслуженным отказом, когда просил возвратить ему дедовы имения, и что он хотел «государя Иоанна Антоновича высвободить и привести пред артиллерийские полки».

Екатерина – она была в Прибалтике – встретила письмо о «шлиссельбургской истории» с тревогой, которую нетрудно понять: опять пролилась царская кровь! – сперва внука Петра I и вот теперь внука Ивана V. В деле Петра III ей был опасен не сам Петр, а именно его смерть. Так было и в деле Ивана Антоновича, который вообще вряд ли был ей опасен: она встречалась с несчастным молодым человеком, нашла его слабоумным; правда, его имя могло стать предлогом для политических выкриков, но вряд ли кто-нибудь решился бы в самом деле возвести на престол психически больного человека. А смерть, да еще такая...

«Хотя зло пресечено в корне, – писала она Панину, – однако я боюсь, что в таком большом городе, как Петербург, глухие слухи не наделали бы много несчастных, ибо двое негодяев, которых Бог наказал за гнусную ложь, написанную ими в их самозваном манифесте на мой счет, не преминули (по крайней мере можно так предположить) посеять свой яд. Наконец, надобно положиться на Господа Бога, который благоволит открыть, я не смею в этом сомневаться, все это ужасное покушение. Я не останусь здесь ни одного часу более, чем сколько нужно, не показывая, однако, что я спешу, и возвращусь в Петербург, и здесь, надеюсь, мое возвращение немало будет содействовать уничтожению всяких клевет на мой счет». А потом как бы спохватывается: «Хотя в сем письме я к вам с крайнею откровенностью все то пишу, что в голову пришло, но не думайте, что я страху предалась: я сие дело не более уважаю, как оно в самом существе есть, сиречь дешперальный и безрассудный *coup*, однако ж надобно до фундамента видеть, сколько далеко дурачества распространилось, дабы, если возможно, разом пресечь и тем избавить от несчастья невинных простаков».

Дело Ивана Антоновича было преступлением трех государей – Елизаветы, которая бросила ребенка в вечную тюрьму; Петра III, который не только не освободил узника, но и отдал тайный приказ убить, если его станут освобождать; Екатерины, которая этот приказ подтвердила. О шлиссельбургском узнике знали в Европе. Кто поверит,

что Екатерина решила завершить цепь этих преступлений самым страшным из них?

(И вновь не устаешь удивляться, почему наши исторические беллетристы, и даже писатели-документалисты, и даже сами историки так падки на что-нибудь, что отдает таинственным, желательно злодеянием и желательно кровавым. Зачем это им? Говорят, они удовлетворяют жажду таинственного и кровавого, которая будто бы существует в самой природе человека, гнездится в его биологии. Но мне кажется, что интеллигентный человек, тем более профессиональный литератор и профессиональный историк, должны были бы подавлять в себе подобные темные влечения.)

Екатерина внимательно наблюдала за тем, как идет следствие, ее очень беспокоил вопрос, нет ли сообщников Мировича в его полку и среди тех артиллеристов, куда он хотел везти Ивана Антоновича. Сенатор И. И. Неплюев, оставшийся главноначальствующим в Петербурге, говорил, что если бы он вел следствие, то, «нимало не мешкав, возмутителя Мировича взял в Царское Село и в сокровенном месте пытку из него выведal о его сообщниках, или ежели б сей арестант был в моих руках, то б я у него в ребрах пощупал, с кем он о своем возмущении соглашается, ибо нельзя надивиться, чтобы такой молодой человек столь важное дело собою одним предпринял, а еще мученье нужно для того, чтобы сообщники не скрылись». Но Екатерина была другого мнения. «Сколько я желаю, — писала она Н. Панину по дороге из Риги в Петербург, — чтобы Бог вывел, если есть сообщников, столь я Всевышнего молю, дабы невинных людей в сем деле не пропадало. Я прочла календарь и записки одного злодея, из которых единомышленных не видится...» Когда Екатерина отдала дело на рассмотрение Сената и на его заседании духовенство через обер-прокурора Соймонова тоже требовало, чтобы Мировича пытали, генерал-прокурор Вяземский, недавно назначенный Екатериной и, конечно, выполнявший ее волю, «подошел и повелительным тоном запретил Соймонову продолжать разговор о мнении духовенства».

Тем не менее расправа была очень суровой: солдат, поддержавших выступление Мировича, прогнали сквозь строй и разослали по разным гарнизонам, а Мировича казнили на Обжорном рынке Петербургского острова. «Народ, стоявший на высотах домов и на мосту, — пишет Державин, — не обыхший видеть смертной казни (отмененной

Елизаветой Петровной. – О. Ч.) и ждавший почему-то милосердия государыни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились». Опять мы видим: эта милостивая государыня особо милостивой не была, когда речь шла о ее власти. Зато Власьев и Чикин, сторожившие Ивана Антоновича и убившие его, получили щедрое вознаграждение и предписание наглухо молчать о том, что произошло в Шлиссельбурге в ночь с 5 на 6 июня 1764 года.

Но откуда пошли нелепые слухи о том, будто Мировича на попытку освободить Ивана Антоновича подговорила сама Екатерина? Об этом много говорится в донесениях иностранных послов. В своих записках Дашкова рассказывает такую историю. Екатерине сообщили, что Мирович перед своим заговором встречался с Дашковой – рано поутру приходил к ней в дом. Это было ошибкой: в то время в доме княгини жил ее дядя Н. П. Панин, именно к нему-то и приходил Мирович, как объяснил сам Панин, по одному сенатскому делу. У Панина было по этому поводу объяснение с Екатериной. «За границей же, – пишет в своих Записках Дашкова, – искренне или притворно, приписывали всю эту историю ужасной интриге императрицы, которая будто бы обещаниями склонила Мировича на его поступок и затем предала его. В мое первое путешествие за границу в 1770 году мне в Париже стоило большого труда оправдать императрицу в этом двойном предательстве».

Как видите, формулировки Дашковой весьма двусмысленны. Почему же было так трудно оправдать Екатерину, если тут же сама княгиня приводит неопровержимый довод: если бы кто-нибудь хотел погубить Ивана Антоновича, то «стакан какого-нибудь напитка» решил этот вопрос «скорей и секретнее». И зачем об этих слухах пишет она в своих Записках – не потому ли, что приходы нищего полубезумного Мировича по утрам домой к такому вельможе, как Панин, все-таки были странными, и княгине хотелось отвести подозрения от себя? Ведь всевозможные и не менее нелепые слухи ходили о ней самой.

Автор одной популярной книги, собрав воедино все «злодеяния» Екатерины – «убийство» мужа, «участие» в деле Мировича и «дело Брауншвейгского семейства» (история семьи Анны Леопольдовны – об этой поразительной истории речь впереди), восклицает: «Где же

«философ в 15 лет», умная дельная девушка, набрасывавшая портрет своей души?»

Да тут она, никуда не делась, только стала несравненно более умной и дельной. Тут она – в блеске успеха, в ореоле победы. Такой изобразил ее Антропов в 1762 году, когда писал и Петра III. По-видимому, предполагались парные портреты новоиспеченной императорской четы, но время резко их разделило – портрет Екатерины явно написан после переворота. Портреты эти замечательны своей противоположностью, кажется, что в комнате императрицы распахнули окна и вместе с солнцем сюда влился поток энергии; в сочетании светло-красного и атласно-голубого есть что-то от детского праздника. Художник как бы стремился подчеркнуть разницу и недаром выбрал для своих моделей разные стили: для Петра – несколько легковесный рокайль, для Екатерины – барокко с его сильными страстями. Как это было обычно в художественной практике XVIII века, Антропов использовал композицию и детали ранее написанного портрета – портрета Елизаветы кисти Л. Токке. Однако и тут мы видим резкое различие: Елизавета в изображении Токке неподвижно торжественна, спокойна, только огромная ее мантия, отороченная мехом и толсто вышитая царскими двуглавыми орлами, волнуется, загибаясь вокруг нее.

На портрете Екатерины та же огромно развернувшаяся мантия с мехом и орлами, но жизнь тут не в мантии, а в самой царице. Она крепко стоит на ногах, держится уверенно; ее пафос не в торжественности, а в энергии, которую ощутил художник. Ее руки, крупные и сильные, готовы к работе. Именно так и было. Годы неволи не сломили ее, она не угасла, не дала себя втянуть в трясины ничтожной придворной жизни, напротив, она накапливала силы.

И главное, теперь, придя к власти, явилась обществу – великодушной.

Нужно знать, что значила в России XVIII века смена власти – мемуары эпохи, рассказывая нам об этом, весьма красноречивы.

Пятнадцатилетняя Наталья Шереметева, самая богатая невеста России, уже была обручена с князем Иваном Долгоруковым, молодым фаворитом мальчика-царя Петра II (сына царевича Алексея), когда узнала, что юный царь внезапно умер. «Как скоро эта весть дошла

до ушей моих, что уже тогда со мной было, не помню, — пишет она в своих воспоминаниях, — а как опомнилась, только и твердила: ах! пропала! пропала! Не слышно было иного ничего от меня, что пропала! Как кто ни старался меня утешить, только не можно было мой плач пресечь или уговорить. Я довольно знала обыкновение моего государства, что все фавориты после своих государей пропадают: что было и мне ожидать? Правда, что я не так дурно думала, как со мной сделалось». А сделалось — конфискация владений, ссылка и впоследствии казнь Долгоруковых, в том числе и ее мужа Ивана. Эта зверская казнь под Новгородом была всего лет за двадцать до Екатерины.

Милосердная Елизавета хоть и помиловала своего врага Миниха, но он, как уже говорилось, узнал об этом только после того, как положил голову на плаху, то есть внутренне пережил собственную смерть; Миниху объявили, что он будет жить, а ссылка и конфискация ждали его впереди.

При всяком дворцовом перевороте начиналось гигантское перераспределение владений, рушились одни фамилии, возвышались другие, а главное — раболепие русского общества каждый раз получало новую пищу, всякие попытки независимости (пусть даже в рамках некоего узкого аристократического круга) снова были задушены.

Екатерина никого не казнила, ни у кого не отняла имений, никого не отправила в ссылку. Сторонники Петра, надо думать, не без удовольствия, присягали ей один за другим (были редкие исключения, каким оказался Лев Александрович Пушкин, его великий внук с гордостью напишет в «Моей родословной», что дед его, «как Миних, верен оставался паденью третьего Петра» — заметьте, не Петру, а его «паденью», иначе говоря, не оставил императора в беде и попал за это в крепость, где пробыл два года). Даже яростных врагов своих, Шуваловых и Воронцовых, Екатерина никак не притеснила — даже Елизавету Романовну, принесшую ей столько тревог и унижений. «Перфильич, — писала Екатерина своему статс-секретарю Елагину, — сказывал ли ты кому, что из Лизаветиных родственников, чтобы она во дворец не размахнулась, а то боюсь к общему соблазну, завтра прилетит», — вот и все. Александр Воронцов (человек большого мужества и благородства) писал из Лондона Екатерине, выражая тревогу о судьбе семьи и сестры, Екатерина ему ответила: «Вы не

ошиблись, что я не изменилась относительно вас. Я с удовольствием читаю ваши донесения и надеюсь, что вы будете вести себя так же похвально. Вы должны успокоиться насчет судьбы вашего семейства, о котором я видела все ваше беспокойство. Я улучшу положение вашей сестры как можно скорее». И сдержала слово: Елизавета Воронцова некоторое время жила в Москве, а потом вернулась в Петербург. Екатерина не только ее не третировала, но пожаловала крупную сумму, а впоследствии сделала фрейлиной ее дочь.

Сведение счетов, месть – все это было ей вовсе не интересно, ее ждали другие дела: она была готова, ей не терпелось – начать!

Век Просвещения вливался в премудрую голову великой княгини, наводя тут большой порядок. Да и немудрено: наука доказала, что и само мироздание в большом порядке – планеты и звезды движутся по неизменным орбитам – и не падают; следовала ли она за Декартом, который считал, что небесные светила прикреплены к хрустальным сферам, или ей ведом был Ньютонов закон всемирного тяготения, а может быть, она об этом вовсе не думала – неважно, главным была уверенность, что все в мироздании совершается по неизменным законам. И в мире живых организмов все было в порядке, что доказал великий Линней: все животные и растения по неизменным законам систематики покорно делились на роды, виды и подвиды.

Только в человеческом обществе царил беспорядок, зато было известно, как его устранить. Государство – создание человека, следовательно, человек в состоянии его менять. Орудием преобразования должен стать закон. Это ясно показал Монтескье. Россия, где она теперь царствовала, пребывает в совершенном беспорядке и оттого глубоко несчастна. Не беда. Русские сообразительны, обучаемы, в них живо чувство любви к отечеству; просто они еще не знают, что надо делать, вот и все. Зато она знает это очень хорошо: поскольку государство устраивается хорошими законами, первое, что она сделает, – установит именно такие очень хорошие законы – крепкие, умные и благородные.

О, как хотелось ей поскорее начать! Между тем встретила она не с беспорядком, а с хаосом, который удивительным образом покоился на железно-мощной, веками кованной общественной основе.

Глава третья

Она сама рассказала в своих Записках, в каком развале застала всю государственную систему. Высшая судебная инстанция, например Сенат, находилась мало сказать в упадке – в состоянии некоего слабоумия. Сенаторы толком не знали административного устройства России, у них даже не было ее карты. Дело доходило до курьезов. «Я, быв в Сенате, – рассказывает Екатерина, – послала пять рублей в Академию Наук от Сената через реку и купила Кирилловского печатания атласа, который в тот же час подарила правительствующему Сенату». Главной своей обязанностью сенаторы, по-видимому, считали функции суда, который должен был быть апелляционным, но на самом деле стал тем, что теперь называют первой инстанцией, поскольку рассматривал дела не в извлечениях, но «само дело со всеми обстоятельствами». И таким образом, «дело о выгоне города Массальска, – пишет Екатерина, – занимало при вступлении моем на престол первые шесть недель чтением заседания Сената».

Все требовало ее времени, ее внимания и сил – и у нее в избытке были и внимание и силы, но существовала проблема, главная, ключевая, которую не так-то просто было решить: она пришла к власти, уже обладая определенной системой взглядов, некими убеждениями, основанными на светлых идеях Просвещения, им рано или поздно предстояло столкнуться с кромешной российской действительностью. Понимала ли она, что это будет проверкой – и ее убеждений, и ее самой как человека и царицы?

Правителя XVIII века (именно XVIII, когда на российской почве впрямую столкнулись освободительные идеи этого века с его же рабовладельческой практикой) нельзя оценивать, не поняв, как он решал проблему крепостного права.

Да, такое столкновение идеи с грубой действительностью должно было произойти рано или поздно – а произошло оно тотчас же, как только Екатерина взошла на престол: в стране повсюду шли волнения заводских крестьян.

Мы не знаем, мучилась ли она, обдумывая решение, но знаем самое решение. «Заводских крестьян непослушание, – вспоминает

она, – унимали генерал-майоры Александр Алексеевич Вяземский и Александр Ильич Бибилов, рассмотря на месте жалобы на заводсодержателей. Но не единожды принуждены были употребить против них (крестьян) оружие и даже до пушек».

Надо ли говорить, что для историков, враждебных Екатерине, эти ее слова были находкой и главным доказательством ее крепостнической сущности, скрываемой за либеральными разговорами. Любопытно, что к этим страшным ее словам – «и даже до пушек» – в исторической литературе привыкли не только противники Екатерины, но и те, кто видит в ней великого государственного деятеля. Так, в одной из недавних книг этого направления можно видеть не раз, как за словами «расправившись с заводскими работниками с помощью пушек» идет непринужденный переход – запросто, как нечто вполне естественное – к ее прогрессивной деятельности.

Подобная позиция немыслима, в пределе она приводит к давно знакомому: «да, при нем были массовые казни и дикие пытки, но *зато* он прорубил окно в Европу» или: «да, он уничтожил миллионы, но *зато* при нем была создана могучая индустрия». Никаких «зато»! Кровь невинных никак нельзя возместить и ничем невозможно компенсировать. И если так поступила она, просвещенная, то этого нельзя оправдать даже во имя самой прогрессивной деятельности.

Итак, все вышло очень просто и традиционно: заводские крестьяне оказались «в неповиновении», а царская власть стреляла в них из пушек. И подумалось мне тогда (сгоряча), что не нужно писать книгу об этой царице, что правы ее противники – все ее царствование покойся на лжи, лицемерии и насилии.

Но с другой стороны – говорил во мне другой голос, – что же было ей делать? – дать разрастаться бунту, «бессмысленному и беспощадному», дать ему разгореться до пожара пугачевщины?

Довод этот меня не убедил; пугачевщина была агрессивна, ее целью было уничтожение всего дворянского сословия, физическое уничтожение, под корень, вместе с грудными детьми, – а это вовсе не то, что бескровные волнения заводских крестьян, осмысленные, поскольку их требования были более чем справедливы.

Но вот что было странно: в том самом месте, где Екатерина упоминает о «пушках», говорит она и о заводчиках, которые, «умножая

заводских крестьян работы, платили им либо беспорядочно, либо вовсе не платили». Гнев ее против хозяев и сочувствие к работникам сомнения не вызывают. И все же не постыдилась она послать своих генералов для кровавой расправы? Ведь сама об этом говорит.

Итак, стреляла эта царица в русских мужиков или не стреляла?

Одним из центров волнений был крупный Невьянский завод, туда, на Урал, и был послан князь Вяземский – мы отправимся вслед за ним.

* * *

Князь Вяземский молод, он на два года старше Екатерины (ему предстоит многие годы состоять при ней в высокой должности генерал-прокурора) и человек деловой; он внимательно смотрит по сторонам.

Уральский хребет. Карета вползает в ущелье, кони, выбиваясь из сил, тянут ее наверх. Горы обступают его.

В дни творения Бог шел, и все, что он создавал, было красиво и ровно, как святая Русь, а как черт побежал и стал спотыкаться, оттого и пошли пригорки и горы. Здесь, как видно, черт всюду кувыркался.

Вот она, знаменитая «горная губерния», царство Демидовых.

Карета Вяземского ползет краем обрыва, внизу бурная река, она перегорожена плотинами, на ней мельницы с водяными колесами.

А вот пошли и заводы. Стоят они возле железных и медных рудников, похожи на крепости со своими толстыми стенами и сторожевыми вышками (а на них пушки и мортиры). Кроме больших заводов, всюду разбросаны «фабрики» поменьше, какие-то сараи, в них видны плотники с топорами и пилами; а вон виден дым, там жгут уголь; а вот обжигают кирпич, его тут навалены целые горы. По дорогам снуют крестьянские телеги. Муравейник, сколько тут народу – тысячи?

Это грубый, закопченный мир – пылают доменные печи, грохочут молоты. Это грязный мир, а работники тут, издали видно, худы и оборванные.

Князь хорошо помнит инструкцию, которую дала ему в дорогу государыня, – внимательно рассмотреть крестьянские жалобы, понять, от чего пошло «неповиновение». Простым глазом видно, от чего.

Карета теперь ползет очень высоко, река далеко внизу, суда на ней кажутся лодочками.

Это знаменитый «железный караван»: по бурной горной реке сплавляют баржи, струги, лодки, целая флотилия, груженная пушками, мортирами, гаубицами, боевыми припасами, но чаще всего просто железом и медью. Хороши должны быть лоцманы, чтобы провести все это меж скал и через пороги. Целый год пойдет такой караван (в Москву и Петербург); сколько же народу для obsługi он потребует? – плотников, чтобы строить пристани и причалы, возчиков, грузчиков, хорошо обученных речников, чтобы вести суда, – тоже с тысячу, не меньше.

Заводы, мимо которых едет князь, работают, а те, куда он едет, – стоят. Они в неповиновении.

Государыня вообще считает, что на заводах должны работать свободные люди, но Демидовы с этим никогда не согласятся (кто согласится потерять такие огромные толпищи бесплатной рабочей силы!).

А что, если все они, здоровые кузнецы и мастера, и те, кто на заводе работает, и те, кто в руднике, и те, кто возит, грузит, кто пашет и собирает урожай, – что, если все они вдруг поднимут бунт? Что тогда будет?

Потянулись поля, вотчинные владения Демидовых, стоят господские дома, высятся колокольни с колоколами – тоже, конечно, собственного литья. В количестве огромном работают на полях мужики, а ведь они обязаны еще и железо возить, и лес валить, и уголь жечь, и дощаники для барок строить.

Нелегкая предстоит ему задача.

Демидовы несметно богаты, они верно служили царям, и цари к ним неизменно милостивы. Со времен Петра на этих заводчиков сыплются знаки монаршего благоволения, их прошения тотчас удовлетворяются. И в случае крестьянских волнений им немедленно посылают военные команды.

А сейчас, после переворота, по всей стране неспокойно. В народе ходит подложный указ, будто бы изданный государыней 7 июля, по которому крестьяне, приписанные к заводам, должны быть свободными. Незадолго до отъезда князя Сенат рассматривал донесение главного правления заводов, где говорилось, что крестьяне

«единогласно состоят в упорстве» и что «кроме строгости военных команд ничем другим усмирить нельзя». Берг-коллегия передала ему донесения демидовской конторы – пора ими заняться.

Невьянский завод Прокофия Демидова. «Приписные крестьяне, оставя положенные работы, все в дома свои самовольно уехали, – пишет приказчик, – за ними и мастеровые, и работные люди, приняв такое ж крестьянское безрассудное легкомыслие, ото всех заводских работ отказались и не работают». Ну, господа Демидовы этого не потерпят.

«Большие волнения среди вечноотданных, – писал приказчик, – всегдашние у них собрания и советы происходят и в работу идут лениво».

«Вечноотданные» – он знает, что это такое: огромными толпами стекались к Демидовым беглые в поисках свободы, нищие в поисках заработка, у каждого завода собирался во множестве разный люд – по просьбе Демидовых императрица Анна в 1736 году прихлопнула их всех своим указом, отдав их в вечное владение этим заводчикам. «Вечноотданные» – это, по сути, те же крепостные, но они-то сами считают себя свободными, протестуют, не могут никак успокоиться. А что это за собрания и советы, которые так тревожат приказчика?

«Так у них по вступлении в волнение учреждена мирская изба, которой до сих не бывало, – пишет он, – и то, как видно, сделано ими для непотребных их собраний и для зазыва всех своих рассыльщиков других жителей для подписки к их непотребному согласию».

Так, выходит, они выбрали свою мужицкую власть, свой «совет», и председателя его выбрали, человека «доброго и неподозрительного», и содержат его на свои деньги. Чем же она занята, эта мирская изба? «Из их компании приговаривают, – продолжает приказчик, – что они-де конторе не подсудны, а имеется-де у них мирская изба».

Это означает – они создали свой крестьянский суд.

А приказчик продолжает жаловаться: если кто с ними спорит, с тем они не церемонятся. Некий невьянский житель Софрон Сапожников с ними не согласился, так они его «собранием захватили и утащили в свою учрежденную по собственному своеволию мирскую избу, били, как кто умел и мог, бесчеловечно, и рубаху на нем изодрали и окровавили и не довольны того, заковав в конские железа, заперли в холодный подвал».

«Так это же бунт!» – думает князь. В том-то и беда, как бы подхватывает приказчик, мирская изба заявила заводской конторе, что все они государственные приписные люди, то есть не крепостные, а свободные.

И еще страннее: свои требования восставшие предъявили не только заводской конторе, но и самому оренбургскому генерал-губернатору Д. Волкову, и «его превосходительство, увещевая восставших, их персонально даже и обнадеживали».

Заводская контора умоляла прислать воинскую команду для усмирения, и команда была прислана из Екатеринбурга, но командовавший ею капитан Мятлин ничего не мог сделать, «так как в явном непослушании» было множество работников.

Любопытная подробность: по приказанию генерал-губернатора Волкова и сыновей Прокофия Демидова, бывших в то время на заводе, приказчики должны были «вместо строгости» обращаться с мятежниками «тихо и порядочными уговорами». Более того, заводским рабочим были сделаны уступки (увеличение разного рода оплат), которые были посланы Прокофию Демидову «на апробацию». В начале февраля 1763 года от него был получен ответ, в котором были сделаны некоторые уступки и «награждения» рабочим, однако те все-таки остались недовольны. Приказчики уверяют, что прилагают все силы к успокоению, «точию успеха мало, что с ними делать, уже недоумеваем». Мятежники твердят свое: «нам-де очень нелюбо называться крепостными, и вольна-де с нами государыня». Знаменательные слова.

Волновались и другие заводы, в частности и Нижнетагильский, принадлежавший Никите Демидову. Здесь тоже была создана выборная земская изба, по сообщению тамошнего приказчика, «из мастеровых и работных людей иные, не почувствуя того, что они к тем заводам вечноотданные по именным и из высокоправительствующего Сената указом и так крепкие из них, как крепостные его высокородия крестьяне, по прельщению от возмутителей пришли в непослушание, паче живы злонравные поступки, и от того заводские самонужнейшие работы остановились».

А в Покровском, большом селе, что приписано к Нижнетагильскому заводу, уж неведомо что творилось.

Когда в 1703 году Петр I закрыл Невьянский Богоявленский монастырь, крестьяне его перешли к Нижнетагильскому заводу, теперь, спустя полвека, хлебнувшие горя под властью Демидовых, они требовали, чтобы их вернули монастырю. И тут для усмирения крестьян местные власти послали воинскую команду во главе с прапорщиком и воеводой. Собрав крестьян, те потребовали от них послушания и выдачи зачинщиков. Крестьяне отказались, заявив, что «под ведением Демидова» быть не желают. Дальнейшие события демидовский приказчик описывает с негодующим изумлением, которое придает его донесению большую живость.

«Крестьяне, собравшись подобно якобы против неприятелей с дубинами, а во многих видимы были посажены на концах острые железа, закричали необычным и ужасным криком, что «держи Ивана Михайлова», от которого из необычного крику и шумства я, убоявшись, едва из избы на улицу выбежал. А прикащика Михайлова захвотя с вышеименованным прапорщиком, коего сшибли с ног на лавку, кричали, что ему до них дела нет; всем сборищем в той их избе били и проломали голову и топтали ногами смертно, что услышав я тех крестьян великое шумство и драку, с улицы старших людей уговоря, чтоб от того своеволия и драки престали. И потому по приходе моем со старшими людьми в мирскую избу от битья унялись, но точию при том кричали, чтоб прикащика Михайлова держать под караулом». Крестьяне обвиняли его в том, что воинская команда была послана по его доносу.

Заметим, что военные команды на усмирение непокорных и в селе, и на заводе вызывали заводские конторы, а посылали местные власти (и посланные команды были так нерешительны, что своей задачи выполнить не смогли).

Заводская контора писала своему хозяину, что остается одно — ждать князя Вяземского.

Но оказалось, что его с нетерпением ждут также и восставшие. По словам невянского приказчика, они его «как свету ожидают» и уверены, что «тесности от него им не будет».

Вот в каком положении были дела, когда молодой князь Вяземский подъезжал к Екатеринбургу.

Местные власти доложили ему, что мятежные крестьяне по сенатскому указу «отданы к заводам вечно и велено их считать с

купленными крепостными крестьянами». И Вяземский с ними согласился! «Его сиятельство таковыми их признал и довольно изволил увещевать, чтоб они все были помещику своему послушны, а в противном случае угрожал им тяжким наказанием» и заявил, что никаких челобитен от них принимать не будет.

Итак, он стал на сторону властей.

Невьянская заводская контора слезно просила его приехать, усмирить крестьян и уничтожить гнездо мятежников – мирскую избу. И князь явился на Невьянский завод в сопровождении двух батальонов (драгун и гренадер), это значит, примерно тысяча человек войска двинулось на восставших. Дело шло к большой крови – ведь крестьяне были не только в неповиновении, они оказали вооруженное сопротивление военным командам. И к тому же дерзко расправились с представителями демидовской администрации.

Что чувствовали восставшие вместе со своей мирской избой, с ее «освобожденным» старостой, со всеми, кто был зачинщиком и участником событий, когда узнали, что Вяземский идет с войсками? И не одно сердце, надо думать, заныло в тот час, когда батальоны Вяземского входили в Невьянск.

Но у князя Вяземского была инструкция, данная ему Екатериной (да к тому же еще, несомненно, какие-то ее устные разъяснения), где было указано, что крестьян усмирять силой оружия не нужно, если к тому нет «особой крайности», зато подробно разъяснялось, как следует разбирать крестьянские жалобы: пусть крестьяне выберут своих поверенных, или сам Вяземский пусть определит, кого им посылать к нему в качестве депутата (какие все слова, однако, – поверенные, депутаты!), и, взяв у них, этих выборных поверенных или избранного ими депутата, «жалобы с их доказательствами исследовать беспристрастно», ибо, добавляла Екатерина, «как крестьянская дерзость всегда вредна, так человеколюбие наше терпеть не может, чтобы порабощали крестьян свыше мер человеческих, особенно с мучительством».

И князь, человек исполнительный (за это его всю жизнь и ценила Екатерина), сделал то, что должен был сделать, – засел за бумаги – законодательные акты, определяющие положения той или иной социальной группы, всех, работающих на заводе или на земле. Руководящими для него, вне всяких сомнений, были слова инструкции

о том, что крестьян надо заставить работать, «если они правильно принадлежат к заводу».

Работа князя была нелегкой, если учесть, сколько разных категорий крестьянства было подвластно Демидовым, как сложен был их путь в демидовскую кабалу, как трудно было разобрать, что тут совершено согласно закону, а что являет собой чистый произвол. Вяземский не считал возможным идти против законодательства государственной власти, оспаривать, предположим, указ императрицы Анны, создавшей категорию «вечноотданных». Он решил так: все крестьяне, которые числились приписными в переписи 1722 года, и сейчас являются приписными, а стало быть, людьми свободными. «Вечноотданных» он защитить не мог.

Освобождалась, таким образом, незначительная часть крестьян, но все же – освобождалась.

И не было произведено ни единого выстрела.

Еще до приезда Вяземского на Невьянский завод был издан именной указ от 9 апреля 1763 года, в нем говорилось о злоупотреблениях, происходивших при приписке к заводам, и отмечалось, что крестьянам даже не остается времени для земледельческих работ; что расстояние от деревень до заводов, которое должны проходить крестьяне, очень велико и заводчик должен его оплачивать. Указ предписывал, чтобы крестьяне впредь сами платили за себя подушную подать, и разрешал крестьянам разбирать их дела своим судом. На этот указ Вяземский и опирался. Словом, князь точно выполнял инструкцию, данную императрицей, – разбирался и вникал. Молотовые мастера, получавшие по две копейки с пуда выкованного железа, заявили ему, что «им та плата давана обидно», так как на казенных заводах платят по три, Вяземский велел демидовским приказчикам «смириться с ними добровольно»; после долгих переговоров и многих уступок крестьянам последние заявили, наконец, «что тем довольны и более ничего против своего челобитья не ищут» (все это касалось приписных крестьян, то есть тех, кто считался свободными и были признаны свободными после решения Вяземского).

Демидовские приказчики пытались протестовать, во всяком случае, оправдываясь перед своими хозяевами, они говорили, что представляли князю документы – жалованные грамоты Демидовых,

полученные ими именные указы – и объясняли ему, что работники эти являются «яко крепостные», но встретили с его стороны гневный отпор.

«И на то от его сиятельства со гневом прислан в контору приказ и требовано на написанных до переписи 1722 году людей указного укрепления, почему их здешняя контора называет крепостными».

Приказчики не отступали в своих объяснениях и даже представили Вяземскому рапорт. «На тот рапорт его сиятельство много гневался и з бранью проговаривал, что де означенные указы он раньше нас, нижайших, знает и потому будто крепостными счислять не можно».

Мало того, князь заставил заводскую контору, не дожидаясь на то согласия Прокофия Демидова, выплатить долги мастерам за прошлые годы.

Напрасны были и попытки Главного управления заводов в Екатеринбурге возражать против решения Вяземского относительно возвращения указанной им категории крестьян в разряд свободных, оно вынуждено было с ним согласиться и признало их государственными.

Но вы заметили, как покладиста администрация заводов, и сам их хозяин, и местная власть, как легко идут они на уступки? Тут не может быть сомнений: они знали мнение императрицы. П. А. Демидов, заводчик, богач, меценат, не мог оставаться в неведении о поездке Вяземского на Урал и тех инструкциях, которыми тот снабжен; и оренбургский губернатор, конечно, был извещен, кто и зачем едет. Благоволение к ним императрицы было в сотни раз для них важнее, чем те или иные уступки (при их гигантских богатствах незначительные) по отношению к крестьянам.

Итак, локальное исследование (я пользовалась прекрасной монографией Б. Кафенгауза, работавшего над документами вотчинного архива Демидовых) на наш вопрос: «стреляла Екатерина или не стреляла?» – отвечает решительно: не стреляла ни из ружей, ни из пушек. Напротив, она дала своему комиссару указание – разобраться по закону и справедливости, насколько это было можно в условиях несправедливых и диких законов. Именно потому, что она заняла позицию, благоприятную по отношению к работным людям и заводским крестьянам, ни заводчик с его администрацией, ни местная

губернская власть не посмели стать на путь репрессий, хотя восставшие и дали множество поводов к тому, ибо вели себя агрессивно. В свете всех этих событий слова крестьян о том, что «и вольна-де с нами государыня», получают определенный смысл.

А что же Вяземский, сочувствовал ли он сам крестьянам, чьи жалобы разбирал? Кто его знает. Сценка, сопровождавшая его отъезд из Невьянска, показывает, что все же он был в раздражении. Когда, садясь в карету, князь обратился к собравшимся работникам, приказав им оставаться в послушании, и в это время некий пьяный житель города выкрикнул, что они-де недовольны, князь приказал нещадно бить его плетью и уехал «на Тагил».

Приказчик сообщил своим хозяевам, что после пребывания Вяземского работные люди «стали быть в послушании».

Задача была решена без единого выстрела.

Исследования, построенные на архиве Демидовых, конечно, еще не решают вопроса о «пушках», необходимо изучение гораздо большего круга источников, но картина, которую мы увидели в Невьянске, позволяет сделать некоторые выводы: действия Вяземского не только не были кровавым подавлением, но, напротив, некоторой защитой работников и крестьян и вошли в противоречие с интересами заводчиков. Кстати, другой екатерининский генерал А. Бибилов, посланный в Казань «унимать» волнения на заводах, тоже, как свидетельствует его биограф, оружия не применял, а действовал уговорами и убеждением. Екатерину II часто сопоставляют с Петром I. Вот и молодому Вяземскому пришлось немало поработать, разбираясь в актах переписей, в ревизских сказках и других документах, в том числе и времен Петра. Последуем и мы за ним в Петровскую эпоху, это будет бесполезно для понимания хода российской истории.

По проселку переваливается в колеях странная телега, не сразу поймешь, что везет, а, впрочем, слухи о ней ползут впереди нее, каждый встречный уже понимает, что она такое, и, крестясь, поспешно сворачивает в сторону, а то и спрячется где-нибудь в лесу.

Это петровские гвардейцы проводят ревизию крестьянских душ. А на телеге везут плаху.

И без нее страшно: если кто не сдаст ревизские сказки вовремя, солдаты-гвардейцы должны, «собрав в канцелярию, держать в цепях и железах скованными, не выпуская никуда», а если ревизскую душу утаит помещик – у него отбирают его деревни, если же приказчик или староста – им рвут ноздри и отправляют на вечную каторгу.

В соседнем дистрикте в подвале на цепи сидит воевода.

Позже за утайку ревизской души уже объявлены и пытка, и смертная казнь.

Все дело, однако, заключалось в том, что – собирай ревизские сказки, не собирай – народ уже обобран до нитки, обглодан до костей и платить ничего не может. Кроме постоянного налога, Петр все время вводит новые. Созданы дополнительные кавалерийские части? – и объявляются «драгунские деньги». Строится флот? – назначаются «корабельные». Начинает строиться Санкт-Петербург? – создают «подводный» и другие налоги. Все эти налоги со временем стали привычными, сливаясь в общую сумму «окладных», а затем следовали новые, экстраординарные, так называемые запросные. Эта мощная налоговая масса наваливалась все на одно и то же российское население, которое между тем непрестанно убывало – люди погибали в сражениях, умирали в гиблых болотах на строительстве Петербурга и, наконец, бежали от рекрутчины и непосильного налогового пресса.

Требуемой суммы не хватало, и правительство Петра стало взимать налоги по старым переписям, где людей числилось больше. Государственное мошенничество это было разнообразным; обложению подлежали все души мужского пола, «не обходя, – как писалось в одном из петровских указов, – от старого до самого последнего младенца». Умерших из списков не вычеркивали – афера с мертвыми душами пришла в голову царя задолго до того, как до нее додумался Павел Иванович Чичиков.

Но у царя Петра был четкий ум и непреклонная воля. Он разделил нужную ему территорию попросту, на квадраты (дистрикты), население, расположенное в данном квадрате (и деревни, и поселки, и города), обязано было содержать войска из точного расчета: каждого пешего солдата должны были содержать тридцать пять с половиной душ, каждого конного – пятьдесят четыре с четвертью. Дистрикты оказались не так-то удобны, функции сбора налога были переданы

губернаторам, организована была военно-административная система: налоговые деньги прямо получал полк. Для этого при губернаторе существовали земские комиссары, у них были окладные книги, содержащие списки селений и душ, а в полку была создана должность полкового комиссара, у того были полковые книги и ротные росписи. Оба комиссара были в непрерывном контакте.

Так усилиями Петра армия навалилась на россиян непосредственно, точно распределившись, какие полки с каких деревень собирают налог, сколько при этом жителей обязаны кормить пешего, сколько конного. Эти налоговые суммы армия собирала не для государства, а для себя, на свои все возраставшие нужды. На какие деньги должна была жить губерния с ее учреждениями, с ее нуждами, об этом вопрос не стоял.

И все равно требуемой налоговой суммы собрать не могли.

В 1722 году было предписано, чтобы люди, жившие на территории, закрепленной за данным полком, в том числе «слепые и весьма увечные, и дряхлые, и дураки, которые хотя, конечно, действия и пропитания о себе никакого не имеют», тем не менее были переписаны и отданы в распоряжение полков. Зачем же, если они не только работать не могут, но не в состоянии даже себя прокормить? Они тоже попадали в категорию «мертвых душ», тех, кто внесен в списки, но фактически налог платить не в состоянии. Но ведь крестьяне к тому же еще и бежали (на их поимку тратились силы тех же полков), бежали за рубеж, на Дон (или к какому-нибудь помещику, под властью которого легче жилось). Как тут быть с налогом? Существовал принцип «с пусту», то есть за пустое место, оставшееся от беглеца, платили другие. Таким образом, на одну душу мужского пола, то есть на одного работоспособного мужчину, падала обязанность работать и за младенца, и за слепца, и за дряхлых стариков, и за калек, и за умерших, и за беглых. Справиться он, естественно, не мог. Недоимки росли. Вот и сыпались царские указы, один кровавей другого. Вот и шли по дорогам петровские гвардейцы, везли с собой плаху.

Петру нужна была в основном война (и то, что с ней связано, — содержание армии и флота, расходы на бесконечные дипломатические переговоры и т. д.). Народ должен был оплачивать его сражения, и удачные, и неудачные. В этом отношении любопытно наблюдать, как

работает пристрастие историков, будь то восхваление или очернение. На долю Петра достались одни восхваления.

Полтавскую битву воспели, возведя ее едва ли не в ранг великого события, но ровно через два года после нее Петр отправился во второй азовский поход. Не дождавшись подкреплений и вопреки советам, наш военный гений двинулся в Молдавию, где и дал туркам себя окружить; они не только обвели русский лагерь окопами, но и поставили на высотах свои батареи таким образом, что отрезали петровское войско от воды. Армии грозила неминуемая гибель, ее, как говорили тогда, спасло чудо, а может быть, драгоценности Екатерины, которыми подкупили визиря, а может быть, возмущение против султана его янычар. Все же был заключен мир, позорный, согласно которому Россия не только теряла Азов, но и должна была сама разрушить возведенный ею Таганрог и другие крепости. О Полтаве все знают, о втором азовском походе – никто. Не пришло ли время пересмотреть не только царствование Екатерины II, но и Петра I?

Сколько крестьянских душ мужского пола должны были выбиваться из сил, чтобы оплатить этот поход? – Петр менее всего думал об этом, он, как видно, надеялся на то, что его администрация какими бы то ни было средствами выжмет из России деньги, нужные для войны.

Чтобы лучше понимать Екатерину, полезно бывает спуститься (как в темный погреб) в Петровскую эпоху.

Откуда же тогда в Записках самой Екатерины слова о том, что оба генерал-майора «не единожды (!) принуждены были употребить против них (крестьян) оружие, даже и до пушек»? Их можно было бы объяснить тем, что Екатерина писала эти строки лет через тридцать после указанных событий, ее память могла сохранить для нее главное – что в своих инструкциях и наставлениях она предполагала возможность такого усмирения. «Даже и до пушек», уже сама интонация фразы убеждает, что речь идет о самом крайнем средстве, да она и прямо говорит об этом в своих наставлениях генералам. И в ее памяти это могло слиться со случаями подобных расправ вообще.

Но у нее слово вообще нередко расходилось с делом, и вовсе не потому, что она была «Тартюфом в юбке», а потому, что вела борьбу и видела необходимость в военной тактике и в военных хитростях.

Мы сейчас окажемся в кругу совсем иных, совершенно мирных проблем. В 1765 году, в октябре, Екатерина издала рескрипт о создании общества «ко исправлению земледелия и домоводства». Почтенное предприятие. Екатерина дала обществу шесть тысяч рублей на покупку дома и устройство библиотеки, а также подарила свой девиз: «Пчела, в улей мед приносящая» с надписью – «полезное». Общество действительно замышлялось полезным, предметом его занятий должно было стать не только земледелие, но звероловные и иные промыслы, горное дело, а также мануфактуры. Учредителями были придворные вельможи во главе с Григорием Орловым. Захар Чернышев в своей речи при вступлении высоко оценил покровительство императрицы, заявив, что она «к Минервину щиту присоединила Церерин серп» (аллегорический способ выражения, столь свойственный XVIII веку, имел, помимо художественного, еще и тот смысл, что позволял выражаться кратко с помощью образов, которые были всем понятны).

Первым президентом общества стал Орлов. Кроме вельмож-учредителей, сюда вошли представители юстиц-, берг- и медицинской коллегий, профессора химии, биологии и других наук; вошел в него великий математик Эйлер (у которого Екатерина буквально вымолила согласие приехать в Россию), а также придворный садовник (очевидно, как представитель практики).

Но главное заключалось в том, что общество это должно было быть вольным, самоуправляющимся. Это для русского уха звучало несколько загадочно: как может быть в России вольное учреждение, то есть не зависимое ни от кого, в том числе и от самодержавной власти? Но ощущение загадочности возросло, когда в конце того же года общество получило странное письмо.

«По скудоумию моему, – писал неизвестный автор, – не в состоянии я служить вам полезным сочинением, а вместо того позвольте мне в пользу общества сделать вам вопросы». Вопросы, сделанные «в пользу общества»! Что же это за вопросы? «Многие разумные авторы поставляют и самые опыты доказывают, что земледельчество не может процветать тут, где земледелец не имеет ничего собственного». Далее автор разъясняет: «Я по сие время

почитаю собственным то, что ни у меня, ни у детей моих без законной причины никто отнять не может, и, по моему мнению, то одно может сделать меня рачительным».

Вот какой вольнодумец нашелся сразу же, лишь только появился такой центр экономической мысли и практики, как Вольное экономическое общество. Не о почве или удобрениях говорил он, не о сельскохозяйственных орудиях, а с редкой смелостью поставил кардинальную проблему страны, и экономическую, и социальную.

Можно предположить, что растерянность в обществе была немалая, опасный вопрос решили не рассматривать – во всяком случае, его нет в журнале заседаний.

Однако неизвестный автор на этом ничуть не успокоился. Вскоре на очередном заседании секретарь общества доложил, что им получен деревянный ящик, в котором была тысяча золотых червонцев, а в приложенном письме содержалась просьба объявить на эти деньги конкурс на тему: нужно ли крестьянину для общенародной пользы иметь земельную собственность или только одну движимую. Предлагалось установить награду для победителя (сто червонцев) и напечатать условия конкурса в газетах.

Объявление о конкурсе было напечатано в газетах и, как ни странно, вызвало приток ответов, пришедших из разных углов не только России, но и из западных стран (всего прислали 160 сочинений). Лучшим было единогласно признано сочинение Беарде де л'Абея, профессора Дижонской академии.

Между тем уже самый конкурс вызвал тревогу в среде дворян, которые, конечно, почувствовали, какая угроза для них таится в, казалось бы, академическом вопросе, особенно если он вынесен на столь широкое обсуждение. Принял участие в конкурсе и знаменитый Сумароков. Чтобы понять все значение этого его шага, надо представить себе, что такое был для своего времени этот человек.

Он был любимым поэтом эпохи, в мемуарной литературе его имя встречается нередко, его читали не только в столицах, но и по дворянским провинциальным поместьям. Его стихи заучивали наизусть, его трагедии были знамениты и разыгрывались в театрах. Вместе с тем он был признанным и авторитетным идеологом целой группы дворянской интеллигенции, его тянуло к социальным проблемам, он всегда готов был ввязаться в идейный спор. У

Сумарокова была своя позиция по отношению к праву дворян владеть крепостными, он признавал это право, но ставил его в зависимость от уровня образования и нравственности самого дворянина.

Какое барина различье с мужиком?
И тот и тот – земли одушевленный ком.
И если не ясней ум барский мужикова,
То я различия не вижу никакого.

Иначе говоря, дворянин, не отвечающий образцу Просвещения, не имеет права пользоваться своими дворянскими привилегиями. При этом поэт прибавлял мстительно:

А если у тебя безмозгла голова,
Пойди и землю рой или руби дрова... —
А во дворянство, так сказать, не суйся.

Он был бесспорным сторонником Екатерины и, бесспорно, одним из самых передовых российских дворян. Как же он ответил на вопрос анонима – нужно ли обществу, чтобы крестьянин владел земельной собственностью?

Прежде всего «надобно спросить, – пишет Сумароков, – потребна ли ради общего благоденствия крепостным людям свобода? На что скажу: потребна ли канарейке, забавляющей меня, вольность или потребна клетка, и потребна ли стерегущей мой дом собаке цепь? Канарейке лучше без клетки, а собаке без цепи. Однако одна улетит, а другая будет грызть людей. Так одно потребно ради крестьянина и другое – ради дворянина; теперь осталось решить (очевидно, предыдущий вопрос поэт считает решенным. – О. Ч.), что потребно ради общего блаженства; а потом, если вольность крестьянам лучше укрепления, надобно уже решать задачу объявленную. На сие все скажут общества сыны, да и рабы общества сами (?), что из двух худ лучше не иметь крестьянам земли собственной, да и нельзя, ибо земли все собственные дворянские... Что за дворянин будет тогда, когда мужики и земли будут не его. Впрочем, свобода крестьянская не только обществу вредна, но и пагубна, того и толковать не подлежит».

Дворянство столь очевидно было встревожено вопросом, выдвинутым на конкурс, что даже лучший представитель его заговорил на уровне фонвизинской госпожи Простаковой.

Между тем руководители Вольного общества не знали, что делать с ответом дижонского профессора, потому что статья его, присланная на конкурс, была поразительна.

Профессор оказался ярым врагом рабства и горячим защитником свободы. Свое сочинение он начинает двумя яркими картинками — страны, разоренной рабством, и страны, процветающей в условиях свободы. Крестьянской собственности не может быть без крестьянской свободы, — о какой собственности может идти речь, если сама личность крестьянина ему не принадлежит, но принадлежит помещику? Раб, сам себе не властный, ничем не может владеть. Надо сперва освободить раба — вот главная задача. И далее, как бы обращаясь к Екатерине: «Слава царей, составляя славу государства, не может получить сильнеею блистания, как от дарования свободы». И уже совсем патетически: «По всей вселенной раздается глас о сем неоценимом сокровище».

Впрочем, в своих рассуждениях о человеческой свободе Беарде де л'Абей строго логичен, поскольку исходит из принципов Просвещения. Люди равны и от природы и перед Богом, следовательно, государство обязано вернуть крестьянам то, что у них противозаконно отняли. Удивительно, говорит он, что кормильцы общества сами хуже всех накормлены, что бедны те, кто создает богатство. Возвестив эти общие истины, он уже переходит к практической стороне дела: лучший способ поощрить крестьянина — дать ему свободу и землю, потому что две тысячи подневольных не сделают за год того, что сделает за то же время сотня свободных. От свободы крестьянина, от его собственности на землю зависит и процветание самого государства. Впрочем, в плане непосредственного осуществления высказанных идей профессор более сдержан — он сторонник постепенности: нельзя спускать с цепи медведя или с поводка коня — они убегут (профессору нельзя отказать в здравом смысле). Поэтому он выдвигает просветительскую программу: по его мнению, надо твердо обещать народу и вольность, и землю, а тем временем энергично работать над его образованием, чтобы он стал достоин свободы и мог ею воспользоваться на благо общества.

Кончается статья уже прямым воззванием к Екатерине – просветить рабов и дать им новую жизнь.

Вот какое сочинение получило общество в результате своих неустанных трудов по организации конкурса. Стали члены его решать, можно ли этот опасный ответ публиковать на русском языке (на французском публиковать все были согласны), спорили четыре месяца и постановили: пусть решает императрица.

Но умная императрица решать отказалась: общество вольное, самоуправляющееся, пора бы иметь и собственное мнение. А общество, хоть и вольное, хоть и самоуправляющееся, своего мнения высказать не решалось. Сколь велика была растерянность, показывает заявление известного нам А. А. Вяземского, теперь генерал-прокурора (один из высших чинов империи), что статья Беарде «была читана по-французски, коего он не понимает», – заявление тем более комическое, что уже существовал ее перевод на русский язык.

Любопытно было бы узнать, когда члены Вольного экономического общества догадались, кто был автором анонимных писем. Сейчас это доказать несложно: текст писем порою полностью совпадает с текстом екатерининского Наказа, тогда еще никому не известного. Конечно, авторство Екатерины знал Орлов. Судя по тому, что статью Беарде признали лучшей единогласно, члены общества к этому времени уже знали, кто автор. Но перед ними был поставлен и другой вопрос: печатать ли статью на русском, и тут они стерпеть не могли – при голосовании чаша весов сильно накренилась, так сказать, в антикрестьянскую сторону. Но Екатерина явно надавила на чашу меньшинства (где были Григорий Орлов, Сиверс, о нем речь впереди, Эйлер, всего одиннадцать человек против шестнадцати), и собрание удивительным образом заявило, что число согласных и несогласных «почти равно» и что статью надо печатать.

И статья о том, что крестьянин должен быть свободен и владеть собственной землей (пусть даже эти реформы предполагались как очень постепенные), была напечатана.

Но почему Екатерина действовала осторожно, почему старалась остаться в тени и высказывалась чужими устами? Все-таки, согласитесь, это странно: самодержавная царица в обсуждении важнейшего общественного и государственного вопроса действует

тайком, исподтишка, через других проводя нужную ей линию. И даже высказаться не смеет?

Между тем еще до создания Вольного экономического общества Екатерина сделала еще одну попытку поднять крестьянский вопрос, уже более практическую, хотя и не менее осторожную.

Известно, что русские царицы в Древней Руси сидели по теремам и, только начиная с Петра, стали показываться народу в торжественных церемониях и танцевать на балах. Но по стране они не ездили, даже когда становились самодержавными. Шальные елизаветинские тройки нигде не останавливались, а императрица Анна и вовсе с места не сдвигалась.

Екатерина ездила по стране как управляющий, «глаз хозяина коня кормит», – объясняла она эти свои инспекционные поездки. Ей нужно было знать, как живет страна, да и любопытно было это – ехать и смотреть. Ее знаменитое путешествие по Волге было очень полезно – долго шла вниз по реке царская баржа, останавливалась в приволжских городах, которые императрица внимательно осматривала. Ее поездка в Крым и вовсе стала событием (если верить Гоголю, даже временной вехой: это, говорили, было тогда, когда матушка Екатерина ездила в Крым).

Самой первой была ее поездка в Прибалтику (1764 г.) – о ней у нас ничего не знают, а историки если и упоминают, то вскользь.

Почему вдруг императрица, впервые двинувшись в сравнительно дальнюю поездку, начала с Лифляндии, какой в том был смысл? И почему, объезжая эту небольшую территорию, она была так активна и так требовательна? Или, напротив, так заботлива? Екатерина ездила по этому краю, принимала крестьянские жалобы, видела, что нищета крайняя, повинности крестьянские ничем не определены, наказания безмерно жестоки. Каковы были ее выводы, видно из речи, с которой обратился к местному ландтагу губернатор Риги Браун. «Ее императорское Величество, – говорил он, – из жалоб, ей принесенных, с неудовольствием узнала, а при приезде и сама заметила, в каком великом угнетении живет лифляндское крестьянство, решила оказать ему помощь и особенно положить границы тиранской жестокости и необузданному деспотизму (таковы были собственные выражения нашей великой императрицы), тем более что таким образом наносится

ущерб не только общему благу, но и верховному праву короны». Главное зло заключается в том, продолжал губернатор, явно излагая точку зрения Екатерины, что «у крестьян нет собственности, даже и на то, что они приобретают своим потом и кровью», поэтому им должно быть предоставлено «право собственности на движимое имущество, повинности должны быть определены и соразмерны с количеством земли в их пользовании».

Императрица хочет положить предел помещичьей тирании, ввести крепостнические отношения в некие правовые рамки, ограничить торговлю людьми – нельзя при продаже крепостных разлучать семьи, нельзя продавать людей за границу.

По поводу требований императрицы в ландтаге были долгие прения, но в конце концов он, по-видимому, решил, что лучше самим провести кое-какие преобразования и послабления, чем сталкиваться с правительством, которое может предписать более жесткие правила, и потому ввел некоторые ограничения помещичьего произвола. Были определены повинности (важное достижение), было установлено число ударов при телесных наказаниях (ныне читать об этом странно, но тогда от числа ударов зависела жизнь). И еще: если распоряжения помещика станут расходиться с данным постановлением ландтага, крестьяне обязаны их выполнить, но имеют право жаловаться властям. Как видим, Екатерина, явившись в Прибалтику, нагнала тут страху и кое-чего добилась. Но почему же все-таки в своем стремлении как-то защитить крестьян она начала именно здесь?

Лифляндия была территорией особой судьбы. Населявшие ее ливы с XII века стали объектом немецкой колонизации, христианскую веру получили из рук немцев, которые крестили их огнем и мечом. Немцы же и основали на землях ливов рыцарский союз, который с течением времени превратился в знаменитый Ливонский орден. Он был подчинен непосредственно Риму, местные немецкие власти были ставленниками германского императора, в ходе непрестанной и ожесточенной борьбы обе стороны обращаются к иностранным государям. Усиливалось лифляндское дворянство, крепили города, на этой основе создались ландтаги, органы сословного представительства, но лифляндской государственности не суждено было окрепнуть, страна стояла на юру, на ветру, на перекрестке дорог,

где встретились интересы разных государств – тут и Польша, и Россия, и Дания, и Швеция.

В ходе Ливонской войны (вторая половина XVI века) Лифляндия оказалась во власти Польши. В начале XVII перешла под власть Швеции – то было время, когда благосостояние страны увеличивалось, повышался ее культурный уровень (открытие школ, основание знаменитого Дерптского университета); было улучшено положение крестьян. В результате петровских завоеваний Лифляндия вошла в Российскую империю, в связи с чем тут и началось наступление на крестьянскую свободу.

Да, в составе Российской империи Лифляндия находилась в особо подчиненном положении, здесь императрица могла быть жесткой, могла требовать, не боясь, что в ответ поднимется один из гвардейских полков, чтоб потребовать ее замены на Ивана Антоновича или ее собственного сына Павла. У «остзейских баронов» не могло быть социальной опоры в массе российского дворянства, и потому они были куда более зависимы от императорской власти. Вот почему Екатерина решила начать с Прибалтики, именно тут вступить за крестьян, тут поставить вопрос об их собственности, их повинностях, о жестоком с ними обращении.

В России она на подобное не отваживалась, в России она была совсем другой – весьма покладистой и уступчивой. Создается впечатление, будто та, что приезжала в Прибалтику, и та, что пребывала в Петербурге, – это две разные императрицы. На самом деле была одна, умная и осторожная.

Так, может быть, ее неоднократные заявления, что крестьяне должны быть усмирены силой оружия, тоже были тактическим ходом – показать дворянству, что она строга, когда дело доходит до защиты его интересов, и готова даже на пролитие крови? Может быть, отсюда и возник этот феномен – пушки, которые не стреляют? Не знаю, мне остается только повторить: вопрос не изучен и нуждается в очень серьезном исследовании.

* * *

Она вставала часов в пять-шесть, прислугу не будила, сама растапливала печку, сама варила кофе и садилась работать. До прихода статс-секретарей в ее распоряжении было три-четыре часа сладостной работы. Но были еще и вечера. В одном из своих писем она говорит, что проводит вечера с генералом Бецким.

В Записках Екатерины о первых годах ее пребывания в России он упоминается, но редко и всегда рядом с принцессой Иоганной Елизаветой, ее матерью, с которой у него была связь; еще при жизни Екатерины ходили слухи, будто истинным ее отцом был не принц Ангальт-Цербстский, а Иван Бецкой. Эту версию нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, ее делает вероятной несомненное сходство, которое нетрудно увидеть на их портретах. Вопрос остается открытым, зато мы можем констатировать непреложный факт: Екатерина и Бецкой – ей за тридцать, ему под пятьдесят – проводили вместе вечера. Он читал ей вслух, она вязала. Но читали тут премудрые книги, а в такт вязанию вывязывались планы необыкновенных преобразований (об этом позже).

А по утрам она работала над сочинением, которое считала самым важным в своей жизни. Она писала свой Наказ.

Итак, Екатерина, великий рационалист, как и все деятели Просвещения, была убеждена: если разумно, то и получится. Стоит лишь объяснить людям, как умно, благородно и выгодно то, что им предлагают, – и они тотчас кинутся выполнять эту предлагаемую программу; а стоит ее выполнить – и в стране воцарится счастье («насколько это возможно на земле», оговаривается она как трезвый человек). Отсюда ясна и задача просветителя – разъяснять людям, в чем состоит их благо и как его достичь.

А уж если волею судеб просветитель оказался на российском престоле, да еще во всеоружии самодержавной власти (она с самого начала провозглашает в Наказе, ссылаясь притом – но весьма основательно – на Монтескье, что в России, как во всякой обширной стране, возможно только самодержавие), значит, его обязанность не только проповедовать великие идеи своего века, но и осуществить их на практике. Вот откуда ее уверенность в победе. Все дело в законе – счастливо то общество, где правит закон (которому подчиняется и сам государь), обладавший в глазах Екатерины необыкновенным

могуществом. Вот откуда ее законодательная одержимость («законобесие», скажет она со свойственной ей самоиронией).

Но законы страны должны соответствовать самой стране – можно ли мысли великих западноевропейских философов положить в основу законов Российской империи? Этот трудный вопрос не казался Екатерине таким уж трудным, она решает его логически и весьма бодро: ведь русские – народ европейский, недаром так быстро привились в России реформы Петра. Конечно, преобразования Петра были недостаточны, путь только начат, но предстоящая работа Екатерину не смущала, напротив, невосделанность российской почвы казалась ей удачей: такую – невосделанную, но и не испорченную, еще не засоренную – легче обрабатывать. Во всяком случае, Екатерина считала, что это дело как раз по ней – «я годна только в России».

Как все просветители, она твердо верила в человечество, в его здравую, разумную природу, а если уровень общественного сознания еще не дорос до предполагаемых законов, если умы людские еще не готовы, тогда «примите на себя труд приуготовить оные, и тем самым вы уже многое сделаете».

Таким образом, все оказывалось исполнимым: Россия – страна европейская, она готова к тому, чтобы под руководством самодержавной власти воспринять и осуществить идеи лучших умов человечества, а если и не готова, деятели Просвещения ее подготовят.

Но был тут один сложный и опасный вопрос – о свободе. Передовая мысль XVIII века была проникнута жаждой вольности – ее провозглашали, ее воспевали как лучшее в ряду других естественных человеческих прав. В области политических идей и надежд вольность оборачивалась республикой или конституционной монархией, но как было сочетать это с самодержавием – не погибнет ли тут вольность, не взорвется ли самодержавие? Екатерина всегда шла навстречу опасности, и здесь, в своем Наказе, от разговора не уклонилась. Она признает естественную, от природы данную людям вольность, но считает, что самодержавный способ правления этой вольности не отнимает. Как это доказывается? – опять же с помощью логической операции, которая на этот раз произведена с самим понятием вольности. И в это обширное и неясное понятие Екатерина вносит свой порядок.

«Надобно в уме своем точно и ясно представить, — пишет она, — что есть вольность? Вольность есть право все делать, что законы позволяют; ежели бы где какой гражданин мог делать законами запрещаемое, там бы уже больше вольности не было: ибо и другие имели бы равным образом сию власть». Как видите, все логично. И главное: «Государственная вольность во гражданине есть спокойство духа, происходящее от мнения, что всяк из них собственною наслаждается безопасностью, и чтобы люди имели сию вольность, надлежит быть закону такому, чтоб один гражданин не мог бояться другого, а боялися бы все одних законов». И тут все подчинено логике, если исходить из уверенности, что самые законы — порождение высшего разума, значит, они справедливы; и вместе с тем они не есть что-то внешнее, чуждое человеку и принудительное по отношению к нему, но, напротив, являются его внутренним установлением, необходимым ему и благотворным для него.

Повиновение таким законам приносит человеку радость и благополучие, а государству — порядок и процветание.

Значит, оставалось создать эти законы, которые должны стать прекрасной, разумной, дающей истинную свободу необходимостью.

Вот почему Наказ был делом ее жизни — он давал основу для новых законов, которые в свою очередь стали бы мощным средством создания в России будущего счастливого общества.

На первый взгляд Наказ мало увлекателен, он состоит из пронумерованных статей, трактующих правовую теорию и практику. Сухая материя, к тому же изложенная подчас весьма коряво — императрица писала по-французски (тем более что тексты были списаны с французских оригиналов), а переводчики переводили, как умели, не очень заботясь о красоте, а порой даже и о ясности слога. Как рассказать о Наказе так, чтобы он был интересен современному читателю?

Однажды ехала я в подмосковной электричке, читала эту маленькую книжку; остатки позолоты на кожаном корешке и шрифт — все это выдавало ее почтенный возраст. А напротив меня сидел молодой человек, который — это вскоре стало очевидно — изнывал от желания взглянуть, что это за книжка. Наконец, сжавшись, я протянула ее ему (открытой), он так и впился в нее, а потом поднял на меня глаза и спросил:

– Кто это писал?

– Царица, – отвечала я, – Екатерина Вторая.

– Царица?! – Он был ошеломлен. – Да у нас профессора так не умеют.

Оказалось, что он юрист, окончил университет и теперь работает следователем. И подумалось мне тогда: может быть, в моем рассказе о Екатерине-законодательнице лучше идти не от допетровского и петровского времени к екатерининскому, а рассматривать ее в свете сегодняшнего дня? Нет, разумеется, нельзя вырывать Екатерину из всего исторического ряда, мы не поймем тогда, что нового дала она России, необходим луч «с той стороны», которая была у нее позади. Но прожектор с нашей стороны тоже может осветить много любопытного. Эта личность как бы требует, чтобы свет, на нее направленный, шел с двух сторон – со стороны прошлого и со стороны будущего.

«Вот уже два месяца, как я занимаюсь каждое утро в продолжение трех часов обработыванием законов моей страны, – пишет Екатерина своей заграничной корреспондентке г-же Жоффрен в 1765 году, – наши законы для нас уже не годятся». В этот свой труд она вложила всю свою убежденность; всю образованность и ум; всю горячность – и всю практическую хватку.

Бедная императрица! Знала бы она, с каким жаром станут потомки топтать это ее сочинение. Первым начал Пушкин – в тех самых кишиневских заметках, где он так ругал Екатерину. Повторим: «Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие; Наказ ее читали везде и на всех языках. Довольно было, чтобы поставить ее наряду с Титами и Троянами, но, перечитывая сей лицемерный Наказ, нельзя воздержаться от праведного негодования. Простительно было фернейскому философу превозносить добродетели Тартюфа в юбке и короне, он не знал, он не мог знать истины, но подлость русских писателей для меня непонятна». Нет лучшего свидетельства, сколь пристрастен и несправедлив был тогда Пушкин – ни сам Наказ, ни писатели, его хвалившие и даже бывшие от него без ума, отнюдь не заслужили столь резких слов. Впрочем, Пушкин, как мы видели, тут же сменил свою точку зрения на прямо противоположную, но этого общественное

сознание уже не восприняло, для него екатерининский Наказ так и остался образцом лицемерия.

В советской историографии подобная оценка была принята повсеместно. Наказ (его обычно называли «пресловутым») определяют как чистую компиляцию, так оно и есть, но об этом со свойственной ей самоиронией предупреждает и сама Екатерина – она «ворона, вырядившаяся в павлиньи перья», она беззастенчиво списывала у других, у знаменитого юриста маркиза Беккарии, у Монтескье, которого она, по ее словам, уже просто «обобрала». Да ведь и не диссертацию же писала царица, она хотела сказать своим согражданам то, чего они не знали, – что такое закон, каков он должен быть и какова должна быть его роль в жизни российского общества. Компиляция и была ее задачей: собрать суждения умнейших.

Другим общим местом стало утверждение, будто Екатерина, собрав в Наказе мысли передовых мыслителей европейского Просвещения, препарировала эти мысли, изъяв из них все прогрессивное, «революционное», тем самым исказив их и обескровив.

И наконец, даже и те авторы, которые считают Наказ произведением замечательным, все-таки полагают, что практически он не сыграл никакой серьезной роли в жизни страны.

Когда в электричке мой попутчик взял у меня Наказ, книга была раскрыта как раз на том месте, где Екатерина говорит о принципе презумпции невиновности. Да, в сознание общества, где царил совершенный произвол, где человека по первому слову доносчика тащили на дыбу, она вводила великий принцип, на основе которого работает правосудие передовых демократических стран современного мира. И сформулировала она этот принцип весьма точно и грамотно: «Человека не можно почитать виноватым прежде приговора судейского; и законы не могут лишить его защиты своей прежде, нежели доказано будет, что он нарушил оные. Чего ради какое право может кому дать власть налагати наказание на гражданина в то время, когда еще сомнительно, прав он или виноват?»

Презумпция невиновности в ее чистом виде! И она явилась в Наказе не просто декларацией, но боевым оружием против самых мрачных способов расследования, и прежде всего против пытки. «Употребление пытки противно здравому естественному

рассуждению; само человечество (т. е. человечность. – О. Ч.) вопиет против оные и требует, чтоб она была вовсе уничтожена». Исходит она при этом именно из принципа презумпции невиновности. Вот ее рассуждение: «Преступление или есть известное или нет; ежели оно известно, то не должно преступника наказывать иначе, как положенном в законе наказанием; и так пытка не нужна; если преступление не известно, так не должно мучить обвиняемого по той причине, что не надлежит невинного мучить, и что по законам тот невинен, чье преступление не доказано». Презумпция невиновности в действии.

Молодой следователь, встретившийся мне в электричке, недаром так изумился, читая в екатерининском Наказе о презумпции невиновности: в советские времена этот принцип был объявлен буржуазным, иначе говоря, классово чуждым и вредным, многие юристы (те самые «профессора», о которых говорил тогда мой попутчик) не только его не понимали, но вели с ним яростную борьбу. Да и о какой презумпции невиновности могла идти речь в государстве, где вся страна жила под гнетом презумпции виновности, где миллионы шли в лагеря, на казнь, на пытку (которая официально была признана допустимой по отношению к «классовому врагу»)?

И в послесталинские времена наша юстиция не в силах отрицать необходимость и справедливость этого принципа, который гарантирует гражданину защиту его жизни, свободы, чести, отказывалась ввести его в текст закона. Ныне принцип презумпции невиновности признан официально, но и сейчас его нет в сознании общества, более того, мы подчас не видим его ни в практике правоохранителей, ни в практике судей.

А Екатерина проблему пытки, для нее особенно болезненную, разрабатывает подробно. «Обвиняемый, терпящий пытку, – пишет она, – не властен над собою в том, чтоб он мог говорить правду. Можно ли больше верить человеку, когда он бредит в горячке, нежели когда он при здравом рассудке и в добром здоровье? Чувствование боли может возрасти до такой степени, что, совсем овладев душою, не оставит ей больше никакой свободы производить какое-либо ей приличное действие, кроме как в то же самое мгновение ока предпринять самый кратчайший путь, коим бы от той боли избавиться.

Тогда и невинный закричит, что он виноват, лишь бы только мучить его перестали».

Ну разве не умница? Не только умница, но еще и прирожденный просветитель, она взывает не только к разуму, но и к сердцу читателя, к его воображению, ей надо, чтобы он представил себе реально, каково приходится пытаемому и чего можно ждать от него, когда он в тяжких муках, в полусознании, в бреде.

Но вспомним, что перед нами не просто образованная, начитанная женщина, но самодержавная царица, не просто просветитель, но коронованный, – и каждое ее слово звучит в стране едва ли не как заповедь.

А какую выгоду от пытки получает правосудие? – продолжает автор Наказа. Никакой, один вред: «судьи будут так же неизвестны, виноватого ли они имеют перед собою или невинного, как и были прежде начинания сего пристрастного расспроса. Посему пытка есть надежное средство осудить невинного».

Далее она переходит к анализу тех случаев, когда на практике считают нужным применить пытку, – например, если показания обвиняемого противоречивы. Но противоречия, говорит она, могут возникнуть по множеству причин: от страха казни, от неизвестности, от затрудненности мысли или речи; из-за невежества, и «невиновным и виновным общего», «будто бы противуречия, толь обыкновенные человеку во спокойном духе пребывающему, не должны умножаться при встревожении его души, всей в тех мыслях погруженной, как бы себя спасти от наступающей беды». А бывает, что обвиняемого пытаются, чтобы узнать, не совершил ли он еще какого-нибудь преступления – «станут тебя пытать и мучить не только за то, что ты виноват, но и за то, что ты можешь быть еще гораздо больше виноват». Обвиняемого пытаются также и для того, чтобы он назвал своих сообщников (так, добавим мы, пытал родного сына Петр I).

Но разве нет способов уличить реального преступника? Есть, единственный: изучить дело, исследовать его, допросить свидетелей, добыть доказательства. И доказательства эти должны быть «совершенными», которые исключают невинность обвиняемого (а что касается «несовершенных», то есть косвенных, их должно быть достаточно много, чтобы исключить возможность ошибки).

«Тогда уже признание не нужно, когда другие неоспоримые доказательства показывают, что он виновен».

Вот что главное.

Она хорошо понимает проблему и тут же дает дельный совет: «В изыскании доказательств преступления надлежит иметь проворство и способности: чтобы вывести из сих изысканий окончательное положение, надобно иметь точность и ясность мысли». Святые слова! – как необходимы они нашим сегодняшним правоохранителям. Знала бы она, что ее рассуждения будут для России XX века как бы внове, едва ли не открытием, и притом остроактуальным: через двести лет российские следователи, дознаватели, сотрудники розыска, у которых как раз нет «проворства и способности», равно как нет также «точности и ясности мысли», и которые потому не в состоянии найти преступника и доказать его вину, хватают, кого могут, – начинают не с доказательств, а именно с признания (тут подчас и без пытки не обходится). Согласно современному российскому законодательству, признание человеком его вины доказательством не является, если не подтверждено материалами дела, но в сознании народа, и юристов-практиков в том числе, оно само по себе, так сказать, в чистом, голом виде остается «царицей доказательств».

А русская царица признание, ничем не подтвержденное, «царицей доказательств» не считала.

Все то, что она прививала российскому правосознанию в Наказе, теперь есть в нашем законодательстве, но этого по-прежнему нет в сознании российского общества.

Заглянем в университет, где историк, читая лекцию о XVIII веке, рассказывал о Беккарии (именно за ним следовала Екатерина в своем Наказе) и, в частности, о том, что позиция великого итальянского юриста в вопросе о пытке встретила резкие возражения со стороны самого Дидро. Я не знала об этом удивительном споре и еще раз порадовалась за нашу Екатерину, которая в вопросе права и гуманности так резко опередила даже одного из самых передовых мыслителей западноевропейского Просвещения. А лектору вдруг подумалось, что интересно было бы узнать, как относится к этому спору его аудитория. Оказалось: все девушки стоят за пытку, а юноши сомневаются, не знают, какую позицию занять.

Конечно, отдельные примеры не могут служить основанием для широких выводов, но все же невольно создается впечатление, что в сознании иных и до сих пор живет убеждение: «кнут не архангел, души не вынет, а правду скажет» (пословица, которую записал Пушкин, снабдив ее таким комментарием: «Апология пытки, пословица палача, выдуманная каким-нибудь затейным палачом»). В том-то и дело, что и сейчас многие убеждены – если человек упорствует, «запирается», ничего не остается, как заставить его заговорить (а остальное уж зависит от его упорства). И когда однажды в суде, где подсудимый отрицал свою вину, поднялась некая женщина и сказала: «Отдайте его мне, он у меня заговорит», представьте, в зале у нее были единомышленники!

Не странно ли? В середине XVIII века русская царица неопровержимыми доводами доказала, что пытка не только бессмысленна (палач получает не истину, а то, что хочет получить), но и очень опасна для правосудия, а русское общество конца XX века понять этого не в состоянии.

С гневом и отвращением говорит Екатерина о правителях-палачах: «Кто не объемлется ужасом, видя в истории сколько варварских и бесполезных мучений». Она располагала тут богатым материалом, изучала, к примеру, дело Артемия Волынского, которое действительно страшно читать, таким зверским пыткам был подвергнут кабинет-министр Анны Иоанновны; как был растерзан, в каком виде шел по улицам со специальной машинкой на окровавленном лице, зажимающей рот, – чтобы не мог ни слова сказать глядевшему на шествие народу. Да и царствование Петра I знала хорошо, еще живы были современники, свидетели. Не могла она не знать и о работе созданного Петром I Преображенского приказа, органа политического сыска, – какие орудия пыток там стояли, в каких муках умирали там люди.

В своих официальных выступлениях Екатерина неизменно называла Петра премудрым и заявляла, что в своей политике следует за ним, на самом же деле оценивала его правление весьма трезво. Вряд ли можно сомневаться, что ее гневные обличения мучительства направлены и против этого царя, великого любителя заплечных дел. «Кто может, говорю я, смотреть на растерзание сих людей с великими приуготовлениями (то есть специально приготовленными

помещениями, орудиями пыток и т. д. – О. Ч.), отправляемое людьми же, их собратиею?» Важное обобщение: «Страны и времена, которых казни были самые лютейшие в употреблении, суть те, в которых содевались беззакония самые бесчеловечные». И неизбежный вопрос: «Смертная казнь полезна и нужна ли в обществе для сохранения безопасности и доброго порядка?» В одной из статей Наказа Екатерина утверждает, что «смертная казнь есть некоторое лекарство больного общества», именно больного, ненормального, ослабленного войнами или смутами; а в нормальном, здоровом «государстве, противу внешних неприятелей защищенном, и внутри поддерживаемом крепкими подпорами, то есть силою своею и вкоренившимися мнениями в гражданах (какова точность понимания! – О. Ч.), где вся власть в руках самодержца; в таком государстве не может в том быть никакой нужды, чтобы отнимать жизнь у гражданина». И тут она с уважением вспоминает свою предшественницу Елизавету Петровну, чье двадцатилетнее царствование дает правителям «изящнейший» пример к подражанию. Зачем нужна смертная казнь? Чтобы, устрашая граждан, удержать их от преступления? Да, жестокие казни «тревожат сердце и поражают», но ненадолго, таково свойство человеческой памяти. Лишение свободы куда действенней – и для того, кто навсегда ее лишен, и для тех, кто видит, что он работает всю жизнь в неволе, чтобы возместить причиненный им обществу вред. Применение смертной казни никогда не делало людей лучше, напротив, она ужесточает нравы.

Читая рассуждения Наказа против смертной казни, грустно вспомнить, что едва ли не большинство граждан России сегодня высказывается за смертную казнь, и, если верить телевидению, находятся среди них и такие, кто выражает готовность быть исполнителем – они, так сказать, морально готовы пойти в палачи.

Наказание не должно быть жестоким: ведь тогда оно «вселяет в сердце ожесточение; также и с рабами не должно обходиться весьма сурово: ибо они тотчас к обороне приступают» (внимание: тут речь о крепостных крестьянах!). Насилие не только не преграда преступлению, оно его порождает. И сама атмосфера в обществе, где идут смертные казни и жестокие пытки, становится «унылой», угрюмой. Наказание должно быть разумным и справедливым, главное

не в жестокости его, а в неотвратимости (вот когда этот известный тезис был высказан).

Поразительно, как точно понимала она проблемы правосудия. Чтобы судить о деле, когда собраны все доказательства, говорит она, «не требуется больше ничего, как простое здоровое рассуждение, которое вернейшим будет предводителем, нежели все звания судьи, привыкшего находить везде виновных». Если бы от Екатерины осталась одна эта сентенция, и то было бы видно, сколь высок уровень ее правосознания: для того, чтобы судить – то есть установить, было ли преступление и кто его совершил, – не нужно особого юридического образования, вполне хватит здравого смысла; он тут выше знаний и опыта судьи, мышление которого может быть профессионально деформировано, – собственно, на этой мысли основывается институт и присяжных заседателей.

Екатерина ставит в Наказе важнейшие вопросы уголовного процесса, говорит о том, что арест человека должен происходить по определению суда; что, взяв обвиняемого под стражу, государство его охраняет; что содержание под стражей должно длиться «сколь возможно меньше и быть столь снисходительно, коль можно». Строгость содержания под стражей нужна только для того, чтобы не позволить обвиняемому сбежать и дать возможность следствию работать. «Решить дело надлежит так скоро, как возможно», – еще раз повторяет она.

В своем Наказе Екатерина провозгласила еще один великий принцип – равенство граждан перед законом: «равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам». Она протестует против свирепого закона об оскорблении величества (например, смертная казнь за описку в огромном и сложном царском титуле). При Петре I его портрет был окружен атмосферой панического ужаса (не дай Бог было его уронить, повернуть лицом к стене или запачкать!), и невольно вспоминается, каким мистическим ужасом были окружены сталинские изображения: однажды при иллюминации из-за неисправности проводки обгорел угол сталинского портрета – инженер-электрик и монтер сгинули в лагерях. Пришел человек на работу и рассказал, что приснился ему товарищ Сталин,

сказал: «Теперь все пойдет по-другому» – и готово обвинительное заключение: он и наяву хотел политических перемен; и опять гибель в лагерях. И представьте, Екатерина тотчас откликнулась другой историей: человеку приснилось, что он убил царя, и царь приказал его казнить, рассудив: не приснилось бы это ему ночью, если бы не хотел он этого днем. С какой легкостью, однако, путаются эпохи...

Давайте лучше оставим исторические параллели, они будут только мешать нашему изложению. В конце концов, читатель, многоопытный в аллюзиях, сам с ними разберется.

Наказ – это не свод законов, это наставление относительно того, каковы должны быть новые российские законы.

Но кому же оно адресовано, кто должен был создать эти законы, кому подобная задача была по плечу?

На этот вопрос отвечают документы, предпосланные Наказу. Указ Екатерины Сенату об обнародовании манифеста; сам манифест «о учреждении Комиссии для сочинения проекта нового Уложения и о присылке в Москву депутатов». И «положение, откуда депутатов прислать в силу манифеста к сочинению проекта нового Уложения».

Екатерина задумала нечто, для России невероятное. Темной, задавленной самодержавием стране предлагалось свободно выбрать депутатов, которым предстояло выработать проект новых законов. Сословное представительство!

В самом начале своего манифеста Екатерина, как всегда, апеллирует к Петру I, которого именует «премудрый государь, дед наш». Но Петр и дедом Екатерине не приходится, и «премудрым» в области законодательства не был. Он действительно как-то создал Палату об Уложении, но в ней были одни служилые люди (бояре, думские дьяки и пр.), их задачей было свести воедино Уложение царя Алексея Михайловича 1649 года с законами, изданными позднее, эта Палата была закрыта через три года; созданная в 1714 году Комиссия – через четыре; созданная в 1720 году Комиссия из нескольких человек, как и предыдущие, ничего не сделала. У императора не было ни понимания проблемы, ни интереса к ней (ни времени на нее). Ссылка на его «премудрость» была традицией и обычным тактическим ходом.

Если бы Екатерина хотела восстановить историческую преемственность, ей логичнее было бы вспомнить о Земских соборах,

которые возникли в XVI веке, достигли большого значения в XVII, в них были некоторые слабые элементы сословного представительства (но не выборного). Однако и эти учреждения были задушены усилившейся царской властью при Алексее Михайловиче, отце Петра; сам Петр о них, разумеется, и не вспомнил.

То, что задумала Екатерина, было для России делом неслыханным.

14 декабря 1766 года был издан торжественный манифест, он извещал Россию, что императрица видит настоятельную необходимость в создании новых законов, а «для того, – пишет она, – дабы лучше нам узнать было можно нужды и чувствительные недостатки нашего народа, повелеваем» – созвать избранных по всей стране депутатов; они должны объединиться в Комиссию, которой и предстоит выработать проект будущего Уложения.

Вот для них-то и написала она свой Наказ.

Кого же собирала она в свою сословно-представительную комиссию? Если не считать представителей Сената, Синода и некоторых коллегий, в Комиссии должны были быть представлены: от дворянства по одному депутату с каждого уезда; от жителей каждого города по одному депутату. Значит, только от дворянства и городов? Отнюдь нет, депутатов должны были прислать и крестьяне-однодворцы (от каждой провинции по одному), пахотные солдаты и «разных служб служилые люди» (от каждой провинции по одному), черносочные и ясажные крестьяне (от каждой провинции по одному). Своих депутатов должны были прислать и казаки, а также нечужающие «нацменьшинства», какого бы они закона ни были, крещеные ли, не крещеные (от каждого народа с каждой провинции по одному).

Каждый депутат должен был получить наказ от своих избирателей.

К этому небывалому и грандиозному по размаху – вся страна! – предприятию, которое было ее мечтой, Екатерина подошла со свойственной ей деловой хваткой.

Она наперед знала, как все это будет, потому что предписала здесь каждый шаг и каждое слово.

Дворяне уезда съезжаются в назначенный губернатором город (те, кто не может приехать, а также помещицы, «владеющие своими

деревнями», письменно называют того, кому поручают за них голосовать). Она точно предписала, как это должно происходить, и даже приняла меры предосторожности: в городе живут дворяне, имеют тут свои дома и знатные вельможи, пребывающие в своих поместьях; ясно же, что все они, особенно местная знать, станут на заседании занимать места «по чинам» и с легкостью оттеснят, забьют деревенское дворянство. А ей, Екатерине, именно эта провинциальная, средне— и мелкопоместная масса прежде всего и была нужна. Она придумала и повелела: когда дворяне соберутся в назначенном доме, чтобы приступить к выбору, тогда они все сядут на приготовленных для них стульях и лавках, не по преимуществу чинов, но потому, «как кто прежде в город прибыли в списке отмечен». Иными словами: не по чинам рассядутся, а по степени своей исполнительности, энергии, энтузиазму — и поспешности. Но и этого мало: дворяне, живущие в городе, «дворянам, живущим по деревням, место уступают: сиречь приезжие идут наперед так, как кто в город приехал, а в городе живущие между собой места разбирают по своим чинам».

Сперва выбирают предводителя дворянства, которому предстоит руководить выборами, ему дворяне дают письменное полномочие — текст его Екатерина сочинила сама от слова до слова.

А потом уже приступают к выбору депутата. Вот как должны проходить дворянские выборы. Когда дворяне соберутся «в означенный дом», начальник «велит им раздать каждому по одному шарiku и велит читать по росписи имя первого дворянина, то есть того, который прежде в город явился, а дворяне, выслушав оное, встанут один за другим, и кладут свой шарик в приготовленный на столе ящик, перегородженный посередине на две части и покрытый сукном, на правой одного ящика стороне написано: избираю, а на левой: не избираю, всякий положит, в которую сторону пожелает».

«Когда все шарики положены, то начальник встает и при всех явно снимает сукно, которым покрыт ящик, и вынимает шарики сперва с той стороны, где подписано: избираю, и записать велит в росписи и читает оные», потом «вынимает шары из той стороны, на которой написано: не избираю». «Выбор сей, — прибавляет Екатерина, — должен происходить с тихостью, учтивостью и безмолвно».

Перед голосованием дворяне-избиратели приносят присягу, образец ее Екатерина опять же сама придумала от начала до конца, и текст этот звучит далеко не казенно: «Я нижеименованный (тут должно было следовать имя. – *О. Ч.*) обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед святым его Евангелием, в том, что хочу и должен (все хорошо продумано. – *О. Ч.*) при подлежащем выборе поверенного от дворянства сего уезда в Комиссию, о создании проекта нового Уложения, по чистой моей совести и чести, без пристрастия и собственные корысти, еще меньше по дружбе и вражде, выбрать из моих сего уезда собратьев такого, которого я нахожу способнейшим и чистые совести...»

Дворяне должны дать избранным ими депутатам наказы (образец такого полномочия тоже сочинила она сама), где выскажут «свои нужды» «и в чем желают поправления» – несколько выбранных дворян выслушивают «мнения своих собратьев» и составляют текст наказа. Точно так же предстоит определить порядок прочих депутатских выборов, и среди горожан, и среди однодворцев, черносозных крестьян, пахотных солдат и других групп населения.

Но самое замечательное – это «выгоды депутатские», то есть привилегии, которые получают избранные депутаты.

Эти привилегии делают их совсем особенными людьми.

«Во всю жизнь свою всякий депутат свободен, в какое ни впал бы прегрешение: 1) от смертные казни, 2) от пыток, 3) от телесного наказания» – этот текст повторяется в Наказе три раза, после раздела, где регламентируется порядок выборов в среде дворянства, в среде горожан и в среде крестьян; императрица как бы вдавлиывает в сознание общества: подобные привилегии относятся ко всем депутатам, ко всем, независимо от их социальной принадлежности. «Понеже все депутаты суть под особым нашим охранением, – пишет она, – ни один суд не может судить их по вышеприведенным статьям», не доложив об этом ей и не получив по этому поводу соответствующего приказания. Таким образом, представители самых разных социальных слоев, от могущественного вельможи до мужика, были уравнилены в правах (вот оно, реальное равенство перед законом). Все они должны были явиться в Москву и стать творцами российских законов, все, и вельможа, и мужик – и для того, и для другого это было великой новостью, – навсегда и равно освобождались от смертной казни, пытки

и телесных наказаний, а имущество их — от конфискации. Императрица как бы обвела депутата неким кругом, поставив его под особую юрисдикцию, наделив достоинством и независимостью.

Чтобы понять значение этого «социального эксперимента», нужно вспомнить, каким могучим орудием в руках монархической власти были пытки, казни и конфискации, когда при любой смене правителя все замирало в мучительном ожидании — кого? куда? Только ли в ссылку, или на дыбу, или на плаху?

И вот появилась в России группа людей, защищенных от насилия со стороны власти, — как бы особый островок независимости, человеческого достоинства в море насилия и унижения, некое равенство в мире резких социальных градаций и острых социальных конфликтов.

К каждому депутату окружающие должны были обращаться «господин депутат»; да-да, и к мужику тоже.

Чтобы депутата можно было бы отличить от других, ему вручался золотой жетон (такие можно увидеть теперь в музее), «дабы потомки узнать могли, какому великому делу они участниками были». Дворянину разрешалось включить этот знак в свой герб.

Равенство депутатов означало для одних, особенно крестьян, небывалое повышение по социальной лестнице, во всяком случае, психологически; для других, особенно для вельмож, как бы некое понижение, во всяком случае, ощущение некоего социального дискомфорта от подобного соседства с простолюдинами. Прекрасно понимая, насколько возможны тут конфликты, императрица в особом «Обряде», приложенном к Наказу, да и в самом Наказе не раз повторяет, что заседания комиссии должны проходить в тишине и спокойствии, а депутаты должны быть учтивы друг с другом. И не случайно введена в «Обряд» статья: «Если депутат депутата обидит во время собрания и прения о делах, бранию или иным непристойным образом, то депутаты пенею накажут виновного по своему рассмотрению, или исключением из собрания на время, или и вовсе». Вряд ли предполагалось, что крестьянские депутаты станут оскорблять и поносить дворянских, опасность, конечно, исходила от дворян.

Но ведь в России уже существовали законы — страшные законы рабства. Это были не теоретические, а реальные, непреложные законы,

обладающие могучими корнями в экономике, социальном устройстве, общественном сознании (в том числе и в системе нравственных представлений – эту чудовищную безнравственность оправдывали на разные лады), писанные и неписанные, существующие и в Уложении, и в указах, и в обычаях, и в головах. Да к тому же еще – когда? В великолепный век Просвещения, век торжества разума, когда были провозглашены великие идеи свободы и равенства, русские мужики жили в самом диком рабстве, ничем не отличавшемся от плантаторского, когда людей открыто, не таясь и не стыдясь, приравнивали к скоту (и разве что продавали подороже, зато так же, как и скот, – поодиночке). Мы вправе были бы ждать, что Екатерина будет говорить об этом с той же горячностью, что и о проблемах права.

А в Наказе нет главы о крестьянстве. Есть главы «О дворянстве», «О среднем роде людей», «О городах» – главы о крестьянах в Наказе нет. Значит ли это, что царицу крестьянский вопрос перестал интересовать? Напротив, это значит, что он ее интересовал слишком сильно.

Екатерина сочиняла Наказ два года (1765-й и 1766-й), никому не показывала. «Я не хотела помощников в этом деле, – писала она г-же Жоффрен, – опасаясь, что каждый из них стал бы действовать в своем направлении, а здесь следует провести единую нить и крепко за нее держаться». Но затем, «преуспев в сей работе довольно, – продолжает она, – начала казать по частям, всякому по его вкусу, статьи, мною заготовленные, людям разным, и между прочим князю Орлову и графу Никите Панину. Сей последний мне сказал: *«Ce sont des axiomes à renverser des murailles»* (эти аксиомы способны разрушить стены).

«Князь Орлов цены не ставил моей работе, – пишет она, – и требовал часто тому или другому показать, но я более листа одного или другого не показывала вдруг». Только в 1767 году, в Москве, когда сюда съехались депутаты Уложенной Комиссии, «быв в Коломенском дворце, назначила я разных персон, вельми разно мыслящих, дабы выслушать заготовленный Наказ Комиссии Уложения. Тут при всякой статье родились прения».

Мы не знаем, в чем заключались эти споры над сочинением государыни, – если не считать одного случая, когда рецензент подал свое мнение в письменном виде, а она, по обыкновению, бурно отзывалась на полях. То снова был Сумароков.

Как мы помним, он выводил привилегии дворянства из его нравственного и интеллектуального превосходства. Самая мысль эта, додуманная до конца, социально взрывчата: если бы каждого дворянина стали проверять на сословную пригодность по тем требованиям, которые выставял Сумароков, мало что осталось бы от самого сословия.

Но Сумароков, предлагая как бы некий образовательный и нравственный ценз, определяющий пребывание в дворянском сословии, своей мысли, конечно, до конца не додумывал, – просто она была для него единственной возможностью соединить в сущности своей несоединимое – идеи Просвещения с идеологией крепостничества.

Сумароков был близок к Екатерине, когда та была еще великой княгиней, после переворота готов был стать поэтом ее царствования. «Хор ко превратному свету», написанный им для коронационных торжеств, для огромной аллегорической процессии «Торжествующая Минерва», являет собой образец горячей публицистики и раскрывает перед нами талант Сумарокова, степень его общественного негодования, благородство его мыслей. В тексте этого хора говорилось о том, как хорошо в некоей вымышленной заморской стране и соответственно как плохо в собственной (его тогда, в коронационной процессии, не исполнили – не могла же Екатерина начать свое царствование с едкой сатиры на российские порядки, но она, разумеется, о хоре знала и не могла его не оценить). Удивительные дела творятся за морем, говорит Сумароков, там все трудятся, все служат отечеству, там чиновники честны, там не грабят народа, а дворяне там образованны и просвещенны.

Со крестьян там кожи не сдирают,
Деревень на карты там не ставят;
За морем людьми не торгуют.
Лучше работающий там крестьянин,
Нежели господин тунеядец.

Надо ли удивляться, что Екатерина, несмотря на их спор по поводу статьи Беарде де л'Абея, все-таки дала читать свой Наказ

Сумарокову? И у них опять вышел спор.

Самое для нас интересное, конечно, начинается там, где речь заходит о вольности. Сумароков: «Вольность и королю, и народу больше приносит пользы, чем неволя». Екатерина удивлена: «О сем довольно много говорено», – пишет она, имея в виду, что об этом много говорено в Наказе. Однако Сумароков хвалит вольность лишь для того, чтобы перейти к ее антиподу: «Но своеволие, – говорит он, – еще неволи вреднее». «Нигде не найдете похвалы первому», – это Екатерина.

Но вот начинается разговор о главном – крестьянский вопрос.

Сумароков теоретизирует: «Между крепостного и невольника разность: один привязан к земле, другой к помещику», – очевидно, ему хочется провести грань между крепостным и рабом, доказать, что крепостное право – это далеко не рабство.

«Как так сказать можно, – восклицает Екатерина. – Отверзите очи!»

Сама она в эти годы очей не закрывала и ясно видела, что происходит в стране, но была полна такой энергии, такой веры в удачу, что ни страшные донесения, которые шли к ней со всех концов страны, ни то, что наблюдала она собственными глазами, – ничто ее не обескураживало, но вызывало новый прилив энергии и уверенности в успехе. Разве не для того она работает не покладая рук? Но посмотрим, как шел дальше ее спор с Сумароковым.

«Сделать русских крепостных людей вольными нельзя», – пишет Сумароков, и тут – внимание! – раз он так говорит, значит в первом варианте Наказа вопрос об отмене крепостного права Екатерина ставила впрямую.

Между тем поэт объясняет, почему нельзя освободить русских крестьян. «Скудные люди, – говорит он, имея в виду помещиков, – ни повара, ни кучера, ни лакея иметь не будут и будут ласкать слуг своих, пропуская им многие бездельства, дабы не остаться без слуг и без повинующихся им крестьян...» И снова мы вынуждены прервать речь нашего прогрессивного поэта – неужели это он написал «Хор ко превратному свету», где столько ума и благородства? И откуда это убожество (чтобы не сказать – низость) суждений, полное отсутствие социального стыда, даже просто легкой тревоги по поводу несправедливости общественного устройства? Открыто, не только с

сознанием своего юридического права, но и с уверенностью в своей нравственной правоте решает он судьбу крепостных с позиций личного удобства (как же ему без повара, кучера и лакея!). Неужели как поэт и деятель Просвещения он – один человек, а как помещик – совсем другой? Какое мгновенное раздвоение.

Но продолжим его прерванную речь: «...дабы не остаться без слуг и повинующихся им крестьян, и будет ужасное несогласие между помещиков и крестьян, ради усмирения которых потребны будут многие полки; непрестанная будет в государстве междоусобная брань, вместо того, что ныне помещики живут покойно в вотчинах...»

«И бывают зарезаны отчасти от своих», – многозначительно напоминает Екатерина.

Да, она понимала Россию.

Наконец рассуждения Сумарокова императрице, как видно, надоели, и она подводит итог: «Господин Сумароков хороший поэт, но слишком скоро думает, чтобы быть хорошим законодателем». А господин Сумароков, в отличие от нее нисколько не думая, и не собираясь сводить концы с концами.

Есть в их споре и еще одно любопытное место. «Примечено, – пишет Сумароков, – что помещики крестьян, а крестьяне помещиков очень любят, а наш низкий народ никаких благородных чувствий не имеет». «И иметь не может, – тотчас откликается царица, – в нынешнем его состоянии».

Спор замечательный, являющий собою два разных взгляда на простой народ: «Он никаких благородных чувств и не имеет», – говорит один. «Но в том не его вина», – отвечает другая.

Ни тот, ни другая народа не знали, но их отношения к народу полярны: с одной стороны презрение, с другой – сочувствие. Пусть рассуждения Екатерины отвлеченны, пусть они идут не столько от знания русского мужика, сколько от чтения французских философов, все же ее рассуждения – в пользу народа.

Между тем затронутая в этом споре проблема народного «благородства чувств» очень глубока.

Историки советской поры, представители официальной идеологии, были уверены в том, что нравственность носит классовый характер (в ленинской трактовке: нравственно все то, что выгодно

пролетариату, или более широко – вообще «народным массам») и что в основе общественного развития лежит классовая борьба – движитель этого развития. Они занимались в основном народными восстаниями, которые в их представлении всегда высоконравственны и «прогрессивны», сколь бы кровавыми и зверскими они ни были.

Но нет худа без добра: поскольку советская историография всем ходом вещей вольно или невольно была направлена на изучение «народных масс» и «народных движений», серьезные ученые того периода сделали много для того, чтобы рассказать нам о духовном состоянии русского народа, о его строе мысли, настроениях и надеждах.

Обычно народ представлялся нам либо покорным, либо восстающим. Мы и в самом деле видим рабскую покорность – чуть что, мужик валился на колени, но нас не может не дивить та легкость, с какой он с колен поднимался. А поднявшись, начинал вешать дворян. Так и жил: долго бессмысленно терпел, а потом вдруг восставал. Серьезные работы историков советского периода решительно сломали этот стереотип.

Наше представление о том, что темная и неразумная народная масса получала просвещение только сверху, от дворянской (а потом и недворянской) интеллигенции, требует существенных коррективов. Пушкинское замечание – «Нельзя не заметить, что со времени возведения Романовых, от Михаила Федоровича до Николая I, правительство у нас всегда впереди на поприще образования и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно» – во многом справедливо, если говорить, предположим, о грамотности и вообще об образовании. Но есть такая область просвещения, как осознание жизни, ее нравственных проблем, понимание социально-политической действительности; как чувство собственного достоинства, надежды на будущее справедливое устройство, – и тут дело обстоит совсем иначе: в глубинах народной массы формировалось свое миропонимание, народная мысль, независимая и глубокая, развивалась не только самостоятельно, но и в противоборстве с официальным мировоззрением. Конечно, повторим, поскольку речь идет об образовании, тут несомненны заслуги правительства и дворянской интеллигенции (да иначе и быть не могло), но вместе с тем в народе шел и некий процесс

самообразования, особенно важный, поскольку речь идет об осознании именно корневых проблем жизни.

Здесь народные мыслители XVIII века обнаруживали глубину, дворянам, пожалуй, даже недоступную (разве что Радищеву), они выступали с болью, гневом – и знанием предмета: И самое важное для нас состоит в том, что они, близкие пугачевцам по многим позициям и требованиям, признавали единственный путь – безнасильственный. Восстания вспыхивали, заливали страну кровью и сами погибали в крови. Безнасильственная работа народных проповедников, тоже, разумеется, чисто просветительская, шла ровно, каждодневно, она противостояла духовному гнету, очищала народное сознание от рабской покорности и, конечно, играла несравненно более благотворную и благородную роль, чем бунт, не всегда бессмысленный, но всегда беспощадный, обращающий вспять нравственное развитие общества.

Заглянем на минуту в эту, незнакомую нам, народную жизнь. Бродил, например, по свету беглый солдат Евфимий со своей женой, беглой крепостной Ириной. Был он проповедником, писателем, художником (это как раз 60-е годы, те самые, когда развернула свою работу Екатерина). Он независим в своих взглядах, для него нет иного авторитета, кроме голоса разума и сердца. Традиционные тексты Священного Писания, такие, как «нести власти, аще от Бога», для него ничего не значат – отвага мысли ничуть не меньшая, чем вольнодумство Вольтера. Если крестьянские движения, и, конечно, прежде всего пугачевщина, обнаруживали устойчивые царистские пристрастия, то Евфимий вообще отрицает царскую власть – для него она «от бесов, а не от Бога».

Евфимий полагал, что старый мир неправды и насилия должен погибнуть неким мистическим образом, его воображению рисуются картины, достигающие апокалиптического накала, когда старый жирный мир плавится в лучах некоего духовного солнца – и желанный «новый человек» предстает в обличье великолепном: в нем «граничит небо с землей», иначе говоря, физическое и духовное начало сочетаются самым счастливым образом. И вот еще замечательный ход мыслей: если в настоящем, несправедливом обществе человек поработен вещами («воистину таковы вещи берут его в плен и лишают его благородные свободы: коликие земные вещи любит кто,

толиких вещей раб он и пленник»), то новый человек будет хозяином, господином вещей и потому свободен. Он станет жить плодами, которые создал сам «без обиды ближнему», не похищая чужого труда, он в согласии с доброй природой и с другими людьми. Этому светлому учению чужда какая бы то ни было ограниченность, которая бывает столь присуща узким крестьянским миркам, – нет, люди Божьи рассеяны по всему миру «под разными титулами вероисповеданий» (даже так!), а потому речь идет о всемирной борьбе за «нового человека».

В учении Евфимия, как, впрочем, и в проповедях других народных проповедников, мы встречаем прославление природы, столь понятное в устах крестьянина и куда более органичное и глубокое, чем у Руссо и его последователей.

Вообще идеи Просвещения и народные проповеди в провозглашении свободы, равенства и братства бродят где-то неподалеку друг от друга. А мысли о создании «человека новой породы» и, более того, программа по созданию такого «нового человека» были постоянной заботой Екатерины (о чем речь впереди).

Проповеди народных проповедников оказывали на крестьян, особенно крепостных, огромное воздействие. Народ и сам был страстным и неотступным мечтателем, и мечта его была все о том же – о вольной жизни, мирной, спокойной, когда можно было бы работать, не боясь, что у тебя отнимут все, тобою выращенное, что самого тебя навеки оторвут от семьи, отдав в солдаты или продав куда-то, как скот. Эта мечта о свободе и мире, о вольной спокойной работе нашла свое выражение во многих легендах – о том, что стоят где-то счастливые невидимые монастыри и даже целый город – Китеж, Божья рука скрыла его под водою. Была в народе мечта о «далеких землях», где-то «за морями, за семидесятью островами» – земной рай. Вера в него была так велика, что люди бежали из поместья, за ними гнались, их ловили военные команды, но остановить это движение было невозможно; крестьяне снимались с места семьями, вместе со скотом и скарбом, целыми деревнями шли искать ту желанную страну, Китеж, или Белозерье, или еще какую-нибудь неведомую, о которой говорил им проповедник.

Этого мира крестьянской мысли и крестьянской мечты ни Екатерина, ни Сумароков, разумеется, не знали (этого и Пушкин не знал), но она видела в крепостном человека, а он – лишь повара или лакея.

Итак, в екатерининском Наказе ставился вопрос об уничтожении крепостного права, а значит, в нем все-таки была глава о крестьянстве. Куда же она делась?

Дело в том, что Наказ редактировали, и редактировали варварски – у нашего самодержавного автора, увы, был редактор, и не один. Конечно, ее единомышленники признали труд императрицы целиком. Григорий Орлов, как мы знаем, был от него без ума, но критика большинства оказалась настолько резкой, что Екатерине пришлось отступить. И дело было не только в отдельных замечаниях. «...Тут при каждой строке родились прения, – пишет она. – Я дала им волю чернить и вымарать все, что хотели. Они более половины того, что написано мною было, помарали, и остался Наказ Уложения, яко напечатан». Далось это ей нелегко, в ее письме к д'Аламберу слышно отчаяние: «Я зачеркнула, разорвала и сожгла больше половины, и Бог весть, что станет с остальным».

В нашей историографии была высказана мысль, будто Екатерина лгала д'Аламберу: ничего из Наказа на самом деле она не вычеркивала, как был он написан, так его и напечатали.

Есть в Наказе странная XI глава, называется она «О порядке в гражданском обществе», – тема, казалось бы, огромная, а глава – крошечная, чуть более двух страничек, она зажата между X («Об обряде криминального суда», 35 страниц) и XII («О размножении народа в государстве», 8 страниц). А речь там идет как раз о рабстве, и если предыдущая глава содержит 106 пунктов, излагающих предмет систематически, подробно и дельно, то тут начинается чистая невнятица. Мы узнаем, что гражданское общество требует известного порядка, в силу которого одни повелевают, другие повинуются; есть упоминание о естественном законе, который обязывает облегчать положение подвластных людей, есть неопределенная фраза о том, что следует «избегать случаев, чтобы не приводить людей в неволю», и тут же оговорка – если только этого не потребует крайняя необходимость в интересах государства, – которая сводит на нет даже эту

неопределенность. Затем упоминается о злоупотреблениях рабства, которые следует «отвращать». Пункт 255: «Нещастливо то правление, в котором принуждены устанавливать жестокие законы». Пункты 257–259 – упоминание некоторых законов относительно рабов у греков и римлян, а потом неожиданно (пункт 260): «Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великого числа освобожденных», хотя ни о каких освобожденных и речи не было. Следующий, 261-й пункт столь же неожиданно заговорил о крестьянской собственности, но так туманно, что ничего в нем понять нельзя: «Законы могут учредить полезное для собственного рабов имущества». И после такой сборной солянки следует торжественное: «Окончив сие», хотя в чем, собственно, заключается «сие», читатель так и не может понять. Глава окончена, и тем не менее автор посылает вдогонку еще один пункт (263), очень важный: нужно предупреждать (то есть устранять) те причины, которые часто приводят к непослушанию (то есть мятежу) рабов.

Перед нами, несомненно, лоскутья той главы, которая говорила о крестьянах и крепостном праве. Какой была эта глава, мы не знаем, но сохранились отрывки. Они, правда, не дают возможности полностью реконструировать пропавшую часть Наказа (вспомним, что говорит Екатерина: и разорвала, и сожгла), но кое-что о ней говорит – они невелики по размеру, зато очень важны по своему содержанию. Вот один из таких отрывков.

«Законы должны и о том иметь попечение, – гласил Наказ до «редактуры», – чтобы рабы и в старости, и в болезнях не были оставлены. Один из кесарей римских узаконил рабам, оставленным во время их болезни от господ своих, быть свободными, когда выздоровеют», – нам важна тут не столько сама эта мысль, сколько ее звучание в русском обществе того времени (каков укор дворянству). А если учесть, что это место из Наказа было выкинуто его рецензентами, то невольно думаешь; на каком же нравственном уровне находились эти рецензенты, если не стыдно было им выбросить подобное предложение – да еще исходящее от самой императрицы.

Между тем дальнейшее рассуждение Екатерины в выброшенном отрывке еще любопытней. Она затрагивает вопрос о помещичьей власти в одной из самых существенных ее сторон – речь идет о праве помещика судить крестьян, праве, которое отдавало мужика во власть

барина, практически неограниченную. Послушайте, как тихо, осторожно (но как настойчиво) подбирается автор Наказа к этой проблеме: «Когда закон позволяет господину наказывать своего раба жестокими образом, то сие право должен он употреблять как судья, а не как господин. Желательно, чтобы можно было законом предписать в производстве сего порядка, по которому бы не оставалось ни малого подозрения в учиненном рабу насилии». «В российской Финляндии, – продолжает она так просто, будто в словах ее нет никакой взрывчатой силы, – выбранные семь или осмь крестьян во всяком погосте составляют суд, в котором судят о всех преступлениях (то есть им принадлежит юрисдикция и по тяжким преступлениям! – *О. Ч.*). – С пользою подобный способ можно было бы употребить для уменьшения домашней суровости помещиков и слуг, ими посылаемых на управление деревень их беспредельное, что часто разорительно деревням и народу и вредно государству, когда удрученные от них крестьяне присуждены бывают неволею бежать от своего отечества».

Вот так: начала она с рассуждений о праве «господина наказывать раба своего жестоким образом», а кончила идеей независимого крестьянского суда! Эту мысль о том, что крестьяне должны судиться собственным, а не помещичьим (и даже не государственным) судом, Екатерина развивает настойчиво: «Есть государства, где никто не может быть осужден инако, как двенадцатью особами, ему равными, – закон, который может воспрепятствовать сильно всякому мучительству господ, дворян, хозяев и проч.». Не может быть сомнений в том, на чьей она стороне – крестьянина или «господ, дворян, хозяев и проч.».

Как можно говорить о том, что из Наказа ничего не вычеркивалось, если существуют абзацы, явно из него выкинутые! Они известны давно, поскольку приведены еще у С. Соловьева в «Истории России».

Вычеркивалось все, что обнаруживало стремление автора ослабить или даже порвать крепостнические связи. В Греции и Риме, говорит она, раб мог требовать, чтобы в случае жестокости господина его продали другому, а потому «господин, раздраженный против своего раба, и раб, огорченный против своего господина, должны быть друг с другом разлучены». Замечательно, что к чувствам обоих, и раба, и господина, здесь равное отношение (хотя есть и оттенок: господин

раздражен – чувство поверхностное, а раб огорчен – чувство более глубокое).

«Законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества» – фраза статьи 261 удивляла нас своей неопределенностью, но у нее был просто обрублен конец: «и привести его в такое состояние, – продолжает выброшенный отрывок, – чтобы они могли купить себе свободу».

Но это только один предлагаемый ею путь, есть и другой: установить короткий срок «службы», то есть крепостной зависимости. «Могут еще законы определить уроченное время службы; в законе Моисеевом ограничена на шесть лет служба рабов. Можно также установить, чтобы на волю отпущенного человека уже более не крепить никому». Перед нами всего лишь отдельные отрывки, а из Наказа, по свидетельству Екатерины, было вычеркнуто очень многое (больше половины). Можно предположить, что проблеме крестьянской свободы она разработала подробно и основательно.

Вот теперь, когда мы знаем, что главный вопрос русского общества был Екатериной поставлен и рассматривался в разных его аспектах, мы поймем наконец и следующую, оставшуюся в печатном Наказе фразу: «Окончим все сие, повторяя правило то, которого частное расположение соответствует лучше расположению народа, ради которого оно учреждается». И уже по-другому звучит для нас то, что далее говорит Екатерина о причинах крестьянских восстаний, – «не узнавши сих причин, законами упредить подобных случаев нельзя, хотя спокойствие одних и других от того зависит». «Одних и других» – и барина, и мужика.

Невозможно понять, как она успевала. Уложенная Комиссия была не единственной ее заботой. Дела тучей шли на нее, а она от этого только веселела. Надо было восстанавливать финансовую, налоговую, административную систему; отстраивать все, что обветшало, что было уничтожено огнем. Огромная страна требовала порядка, нуждалась в помощи – Екатерина посылала на места назначенных ею губернаторов и поддерживала с ними связь, со многими сама переписывалась.

Круто проведя монастырскую реформу (в ходе которой у монастырей были отняты земли и крестьяне, многие из монастырей были закрыты, а другие отданы под власть государства), она

распорядилась доставлять к ней старинные книги и рукописи, потому что сама живо интересовалась русской историей и над ней работала.

А кроме того, она успевала писать письма за границу, вести переписку с Вольтером и энциклопедистами; и тут была очень активна, например, узнав о материальных трудностях Дидро, купила его библиотеку, с тем что та останется у хозяина до самой его смерти; она приглашала д'Аламбера воспитателем к наследнику престола Павлу; узнав, что самую «Энциклопедию» во Франции запретили, звала ее издаваться в России и, к слову сказать, была в восторге, узнав, что собственный ее Наказ во Франции тоже запрещен – то была для нее большая честь!

К тому же она любила «мешать дело с бездельем», считала это даже обязательным, веселость была не только ей присуща от природы, но и была ее программой, потому что давала ей силы (она сама пишет об этом). Она любила валять дурака – однажды взяла и вошла в воду залива одетой, – и двор, ее дамы и кавалеры, последовал за ней (можно себе представить, сколько визгу и хохоту тут было). На своих куртагах с увлечением играла в карты.

А возле ее карточного стола стоял мальчик лет десяти, некрасивый и очень милый, – смотрел на нее, как она играет.

Глава четвертая

Семен Порошин, сын генерал-поручика, родился в 1741 году, воспитывался в сухопутном шляхетском корпусе, вышел из него человеком образованным, знал математику и языки; сам писал и переводил. Однажды во дворце за столом увидел он маленького мальчика – великого князя Павла Петровича – и сразу стал думать, как бы поближе с ним познакомиться. Что же привлекло молодого офицера в этом ребенке? Хотел ли он приблизиться к возможному наследнику престола, или у него были какие-то иные замыслы? Порошин сам все рассказал в своих записках.

В 1761 году с воцарением Петра III Порошин стал его адъютантом – должность опасная ввиду предстоящих событий. Но Екатерина, как мы знаем, обычно не преследовала приверженцев мужа и, напротив, старалась привлечь их на свою сторону. Тут-то и осуществилась мечта Семена Андреевича: он стал одним из постоянных кавалеров при Павле, его учителем математики и фактически основным его воспитателем. С 20 сентября 1764 года по 31 декабря 1765-го Порошин вел дневник, прерванный в 1766 году, к величайшему сожалению историков и всех, кто его читал.

Странный мир окружал маленького Павла, нелюбимого сына Екатерины. Воспитание мальчика было поручено Никите Ивановичу Панину, назначение непонятное: тот был в вечной оппозиции к Екатерине. Впрочем, она его уважала.

Конечно, Панин привлекал ее своей широкой образованностью, а сына царица, несомненно, хотела видеть образованным и широко мыслящим – не даром же она звала (да как горячо) ему в воспитатели самого д'Аламбера (можно напомнить, что и для своего любимого внука она пригласила в воспитатели Лагарпа, швейцарского философа и республиканца).

При маленьком великом князе собирался круг людей, который должен был способствовать разностороннему развитию мальчика. Каждый день к столу его приходили то П. А. Румянцев, пока не фельдмаршал (до турецких войн еще далеко), но уже знаменитый полководец, отличившийся в Семилетней войне; то А. С. Строганов,

человек образованный, мыслящий, интересный; то гетман Кирилл Разумовский, то А. И. Бибиков. Приходил к великому князю фаворит его матери Григорий Орлов; приходили И. И. Бецкой, Сумароков; Баженов, вернувшись из-за границы, был тотчас сюда приглашен. Историки дорого бы дали, чтобы присутствовать при беседах, которые велись за столом у маленького великого князя. Из записок Порошина мы узнаем об этом очень много, но все же осторожность заставляла его о многом умалчивать. По счастью, кое-что нам удастся прочесть между строк.

Кружок людей, собиравшихся каждый день за столом у Павла, конечно, оппозиционен режиму Екатерины и не больно жалуется на неё. Мы то и дело слышим разговоры о недостатках двора, иногда это мелочи – о скудости придворных маскарадов, «стола нет, пить ничего не допросишься кроме кислых штей» (был тогда такой напиток), причем Панин «справедливо рассуждать изволил, что лучше совсем не давать при дворе маскарадов, нежели давать их с такой экономией», – и тут, разумеется, невольно всем вспоминалось, какие невероятные суммы тратила царица на роскошь своего фаворита. Но вельможи, собиравшиеся у Павла, отнюдь не ограничивались мелким брюзжанием, они говорили и о вещах серьезных. О том, например, что Академия наук «оставлена без всякого попечения» из-за отсутствия широкого слоя образованных людей, «нет нижних школ для воспитания юношества», – наука в руках иностранных ученых, к делу образования глубоко равнодушных, и «какая из того польза и у разумных людей слава отечеству приобретена быть может, что десять или двенадцать человек иностранцев, созванных за великие деньги, будут писать на языке, весьма не многим известном? Если бы их позвал крымский хан, они бы и для него писать стали, а татары прежними невежами остались».

Тут с панинским кружком вряд ли можно согласиться – иностранные ученые, конечно, сыграли большую роль в развитии русской науки, достаточно вспомнить Эйлера. Великий математик не только работал в области науки, но вошел в общественную жизнь, во всяком случае, мы видели его в числе членов Вольного экономического общества, выступающим по крестьянской проблеме куда смелее большинства русских вельмож.

Но все же полезно послушать голос оппозиции. Однажды заговорили о беглых крестьянах – тема для дворян в те времена весьма актуальная, они требовали от правительства более суровых мер в борьбе с побегами, более жестоких наказаний беглым. Панин (как рассказывал он сам за столом у Павла), когда был послан в Швецию и получил предписание ловить и возвращать в Россию беглых, в этом деле отнюдь не усердствовал. «Человеку весь шар земной дан для обитания, – говорил он, – а всякому природно выбирать для себя житье где лучше». И тут же повторил мысль, высказанную также и Екатериной: «Чтобы не бежали, надо сделать так, чтобы соседние земли не прельщали», надо отечество сделать «любезным».

Очень, очень полезно было наследнику престола послушать подобного рода рассуждения.

О чем только тут не говорили – о физике и астрономии, о Лейбнице и Левенгуке, об энциклопедистах и о литературе. Постоянно касались тем исторических. Так, например, однажды Панин рассказал «о настоящей причине смерти Петра I». О «настоящей»? Значит, не такой, какую сообщили официально, – можно предположить, что речь шла о том, что будто Петр умер не своей смертью, будто в его последние минуты рядом с ним был один Меншиков (и будто бы в сжатых пальцах мертвого остался обрывок какой-то бумаги) – Петр не успел назначить себе наследника, что позволило Меншикову возвести на престол Екатерину I. Панин мог, конечно, слышать эту историю от людей, бывших в те часы во дворце.

Говорили о Волынском – Екатерина, как мы знаем, изучала его дело и в своем «Наставлении» сыну и потомкам советовала его изучать. Волынский, рассказывает царица, по приказу Анны Иоанновны «сочинил проект о поправке государственных дел», из поданной им бумаги нужно было взять полезное, отбросив остальное, но «из того сочинения вытянули за волосы, так сказать, и возвели на Волынского изменнический умысел», «будто хотел присвоить царскую власть, что совсем не доказано». Екатерина не упускает возможности еще раз резко высказаться против пытки, как раз из дела Волынского видно, говорит она, «сколько мало положиться можно на пыточные речи»: до пытки все несчастные утверждали невиновность Волынского, а под пыткой говорили, «что злодеи (от них) хотели». «Странно, как роду человеческому пришло на ум лучше

утвердительнее верить речи в горячке бывшего человека, нежели с холодной кровью; всякий питанный в горячке и сам уже не знает, что говорит».

«Волинский был горд, – продолжает царица, – и дерзостен в поступках, но своей стране не изменял, напротив, он заботился о ее пользе – и казнен невинно». «И хотя бы он и заподлинно произносил те слова в нарекании особы Императрицы Анны, о которых в деле упомянуто, то б она, быв Государыня целомудрая (то есть если бы она была умна. – *О. Ч.*), имела случай показать, сколь должно уничтожить (то есть презирать. – *О. Ч.*) подобные малости, которые у нее не отнимали ни на вершка величества и не убивали ни в чем ее персональные качества. Всякий государь имеет неисчисленные кроткие способы к удержанию в почтении своих подданных: если бы Волинский при мне был, и я б усмотрела его способности в делах государственных и некоторое непочтение ко мне, я бы старалась всякими, для него неогорчительными способами его привести на путь истинный», в противном случае дала бы тактично понять, «не огорчая же его, будь счастлив и доволен, а мне ты не надобен!» «Всегда государь виноват, – продолжает Екатерина, – если подданные против него огорчены; изволь мериться по сей аршин; а если кто из вас, мои дражайшие потомки, сии наставления прочтет с уничижением, так ему более в свете и особливо в Российском счастье желать, нежели пророчествовать можно. Екатерина».

Она как в воду глядела со своими пророчествами: если бы Павел, став императором, отнесся без «уничтожения» к советам своей умной матери, может быть, судьба его сложилась бы по-другому?

Но сейчас он мал, сидит за столом, слушает разговоры о деле Волинского и содрогается от описания зверской казни аннинского кабинет-министра.

Люди, собравшиеся за столом цесаревича, подчас вряд ли даже и помнили о маленьком хозяине и вели свой разговор, не заботясь о том, как действует он на его воображение и посильно ли ему то, что они рассказывают.

Порою разговор касался опасных тем настоящего – говорили, например, о Мировиче, отзывались с сочувствием, во всяком случае, А. С. Строганов «рассказывал, с какой твердостью и с каким

благоговением злодей сей приступал к смерти» (конечно, злодей, раз государственный преступник, но как-то не вяжется рядом с этим «злодеем» «твердость и благоговение»). Наверно, говорили о том, что казнь Мировича произвела на общество тягостное впечатление, что за время правления Елизаветы люди отвыкли от подобных безобразных кровавых спектаклей.

Опасные, мрачные разговоры бродили вокруг мальчика, да и самому ему пришлось немало пережить. Однажды, «обуваюсь», он рассказал Порошину о своей горе, смерти Елизаветы Петровны, его «почти боготворимой бабки».

Он был странным мальчиком, Павел. Вот он бродит, «повеся головушку», ничего не говорит, поглядывает на часы, – вы думаете, ждет какого-нибудь развлечения? Нет, считает минуты, когда можно будет идти спать (наверно, единственный мальчик на свете, который смотрит на часы в надежде, что его отпустят спать). Не хочет в комедию (одно из самых ярких развлечений тех лет), а если и идет туда, потом плачет – поздно, пропущен заветный час, когда можно было идти в постель (он даже завидовал купцам и работникам именно потому, что те рано ложатся). И не от душевной вялости это происходит, нет, ребенок очень живой, пытливый, умный, просто у него явно не хватает сил для целого дня. Он слаб, его часто схватывают недомогания, то и дело мы читаем: «жаловался на голову и был невесел», – в свои десять лет уже большой специалист по головной боли, знает четыре ее вида: круглая (когда болит затылок), плоская (когда лоб), простая (несильная) и ломовая. Богатый опыт.

У него вообще был уже большой жизненный опыт. В скрытой и бешеной борьбе, которая шла вокруг престола, ни мать, ни отец его не замечали (напомним: Петр III в своем манифесте о восшествии на престол даже не упомянул Павла, равно как и Екатерину). Ему было семь, когда его мать совершила переворот, он должен был помнить эти дни. Ночью с 28-го на 29-е, когда гвардейцы пожелаали видеть Екатерину и ее сына (прошел слух, будто их убили) и потребовали, чтобы императрица к ним вышла (в те дни они, возведшие ее на престол, могли требовать), Екатерина вышла на балкон с Павлом на руках – это значит, его разбудили и вынесли к толпе. Что запомнил он о той ночи, что тогда чувствовал?

А что знал он о событиях в Ропше? Не шепнул ли ему кто-нибудь, как умер его отец? Во всяком случае, Павел расспрашивал Порошина о том, как мать пришла к власти, расспрашивал и об отце. Однажды Порошин рассказывал ему про давние страшные дела – о «слове и деле государевом», о доносах, пытках, о Тайной канцелярии. «А где она теперь?» – спросил Павел. «Отменена», – ответил Порошин. «Кем?» – спросил Павел. «Государем Петром III», – ответил Порошин. «Покойный государь очень хорошее дело сделал», – заметил Павел и тут же стал просить Порошина, чтобы тот рассказал ему про дело Мировича (а Порошин предпочел не рассказывать).

Вот уж разговор (как бы мы сейчас сказали) весь на подтексте. Нетрудно понять, как шли мысли мальчика: отец сделал великое дело – уничтожил застенки, систему доноса и пытки. А что сделала мать? Устроила публичную казнь?

Порошин не стал рассказывать Павлу о Мировиче, как мы можем судить, из осторожности, но была у него и еще одна серьезная причина: он знал, что всякое впечатление «весьма трогает» мальчика и может отозваться ночным бредом. Так, в ночь после казни Мировича Павел «опочивал очень худо».

На него вообще часто нападала тревога. Его тревожил ветер. «Потом рассматривал Его Высочество в окно, какой сего дня ветер и куды тучи идут. Сие наблюдение он почти всякое утро делать изволил. Когда большие и темные тучи, тогда часто осведомляется он, скоро ли пройдут и нет ли опасности. Всегда Страшный суд на ум приходит». Вечером «севши в желтой комнате, изволил Его Высочество вслушиваться, как дует ветер».

Действительно, странный мальчик. Вокруг него множество людей, много развлечений, и все же вот он сидит один и слушает, как воет ветер. Такому ребенку необходима внимательная мать, а у этого матери рядом нет никогда. Болен ли он (а он болеет часто и порой серьезно), его укладывает в постель дежурный кавалер, подносит лекарство, очень осторожно и мягко намекая при этом, что наследнику престола не следовало бы так часто болеть, – как бы не вызвать злых наветов и ненужных толков. Политика!

Никита Иванович Панин, которому Павел всецело подчинен, – человек образованный, прогрессивно мыслящий, но он сух, как старый пень, к тому же всегда помнит, что воспитывает будущего императора,

которому предстоит вечно быть на людях и держаться сообразно сану. А болит ли у будущего императора голова, не страшно ли ему по ночам – это воспитателя нимало не волнует.

Мальчик видит мать только на куртаге, на каком-нибудь празднике, сопровождает ее на параде или морских маневрах (у него чин генерал-адмирала, начальника всех морских сил, к нему приносят на подпись бумаги, приезжают представляться вновь назначенные офицеры флота), Екатерина скажет ему два-три слова, может быть, даже ласково скажет («мой батюшка») – и все. Однажды она тихо подозвала сына и спросила его, почему Панин так невесел, если это из-за него, Павла, то она очень просит его больше не огорчать наставника, – и мальчик был тронут. Но по большей части, призванный на половину матери, он стоит и смотрит, как она играет в карты.

А ведь бывали случаи, когда он ее ждал. Вот она в Царском Селе, и сын не может дожидаться ее приезда (чего он ждет – внимания, участия, доброго слова?). Она приехала и тотчас села играть в карты, а он, постояв около, а потом поиграв в бильярд, «стал выказывать нетерпение, чтобы идти к себе», за что его потом долго ругал Панин и в наказание даже приказал задержать ужин, отчего великий князь «стал уже и поплакивать», а на следующий день пожаловался Порошину, «какой вечер был несносный».

Но по большей части мальчик уже ничего от вечерних встреч с матерью не ждет, а однажды, узнав, что она уехала в Царское Село, обрадовался, «что хлопот убыло».

А сколько бывало разочарований, когда ему, вечному затворнику дворца (он почти никогда не гуляет), доводилось ее сопровождать на смотрах, которые Павел любил до безумия. Для него это праздник, радость несказанная, но вот после смотра императрица со своей свитой отправляется в шлюпках по реке (ему бы с ней!), «а наш генерал-адмирал, – пишет Порошин, – до дому».

То и дело видим мы его на куртаге, сперва он вроде бы весел (и фрейлины любят играть с «любезным Пунюшкой»), потом начинает проситься к себе, но Панин ему отказывает: нельзя, еще не ушла императрица. «Зачал Великий князь с ножки на ножку переступать, помигивать и смотреть на плафон, чтобы скрыть свое нетерпение», за что уже после, в его покоях, последовал ему жесточайший нагоняй, с

позором, со снятием шпаги, с запрещением кому бы то ни было с ним разговаривать.

Павел стоял один у печки, а неподалеку Порошин мучился и ничего не мог поделывать. «Были у меня при сем случае кое-какие рассуждения, – говорит он, – кои отчасти сообщал я тем, на ково поболе полагался, отчасти обращал только в голове своей. Оные рассуждения пусть при мне останутся», – нам с вами нетрудно это умолчание расшифровать.

Бывал Павел и веселым – вот он в «птичье» пустил в клетке фонтан и «попрыгиваячи изволил сказать: «Что же вы, чижики, не купаетесь?»; вот сел писать мнимое письмо турецкому посланнику, которое начиналось: «Господин посланник, понеже вы видом козлу, нравом медведю, а умом барану уподобляетесь...», и кончалось: «теперь милости просим вон». Как они веселились тогда с Семеном Андреевичем!

Но все же какая-то непрерывная тревога пронизывала его жизнь, мысли о времени, о вечности приходили в голову – и о смерти. Однажды они с Порошиным говорили о беспредельности времени, Павел «изволил сказывать, что прежде всего плакивал, воображая себе такое времени пространство, и что наконец умереть должно». Вот о чем думал он под вой ветра, этот печальный наследник престола, король Матиуш Первый – вспомнить корчаковского Матиуша тут уместно: представьте, маленький Павел тоже мечтал о том, чтобы создать государство детей! Однажды, когда он обувался, а Семен Андреевич говорил с ним о республике Платона и «Утопии» Мора, потом, «во время чесания волос» мальчик в ответ рассказал своему учителю, что мечтает создать собственную республику, которая «должна состоять из малолетних», – вечная мечта одинокого ребенка в жестком мире взрослых.

Семен Андреевич Порошин следил за развитием Павла с тревогой, нежностью и вниманием старшего брата. Он тоже отлично помнил, что воспитывает мальчика, которому предстоит стать самодержавным правителем огромной Российской империи, но куда глубже Панина сознавал свою ответственность, не боясь впасть в преувеличение, можно сказать – ответственность перед народом: чувство народа было очень сильно в Семене Андреевиче, понятие отечества он переживал глубоко и горячо. Его ранит то

легкомысленное отношение ко всему русскому, национальному, которое нередко чувствуется в застольных беседах вельмож. Ужасно страдал Порошин, когда кто-то, говоря о Петре I, «прошел молчанием все великие качества сего монарха, о том только твердить рассудил за благо», что Петр много пил. Порошин был оскорблен не одним тем, что о прадеде плохо говорили при правнуке, но и вообще посягательством на великий образ.

Однако защитить своего кумира Порошин не смог, единственный довод, который оказался в его распоряжении: если бы Петра I не было, его нужно было бы выдумать Павлу для подражания, – наивный патриотизм, готовый пойти на ложь, лишь бы поддержать идею национальной гордости. Не будем, однако, забывать, что Порошину немногим за двадцать. Куда важнее то, что молодой офицер приучал великого князя к русской культуре.

Именно Порошин, математик, рассказал наследнику о Несторе, о разных эпизодах русской истории; о том, как живут русские крестьяне, каковы их обычаи, как они «увеселяются»; никогда он не упускает случая подчеркнуть преимущества русских мастеров. Здесь у Порошина четкая внутренняя установка: он полагает, что ребенку до поры до времени не следует слушать о недостатках своего народа, о них он сам со временем узнает, нужно сперва вложить в душу ребенка «любовь и горячность к народу», тогда и слабости этого народа будут по-другому глядеться – мысль, выдающая, конечно, настоящего педагога.

Сознательно и планомерно воспитывает Семен Андреевич в наследнике престола чувство ответственности перед страной, не устает твердить, что слава государя состоит в том, чтобы «быть в непрерывных трудах и подвигах в пользу о прославлении любезного отечества». Очевидно, речи Порошина были увлекательными, потому что Павел слушал с большим вниманием и говорил: «Подлинно, братец, вить это правда».

Между наследником и его учителем математики завязываются удивительные отношения – целый роман. Конечно, Павел уже тогда был вспыльчив (и тогда грубил), верил наветам, непрерывным, кстати, ввиду того, что его любовь к Порошину вызывала зависть его маленького «двора». Но мальчик добр. Узнав, что Порошин беден и «со своими доходами ест на олове», горячо его утешает: «Не тужи,

голубчик, будешь и на серебре есть» (понимай: когда наследник станет царем).

Вот Павел упрасивает Панина, чтобы для сына кормилицы, которому пять лет, «сделать какое-либо счастье, определить его во флот или какое другое место»; или задумал добыть чин асессора для своего учителя рисования Грекова. Прямо к матери мальчик обратиться не смеет, а потому упрасивает сделать это Строганова. И вот вечером у Екатерины Строганов «по положенному принялся кашлять и вздыхать», императрица спросила, что значат эти вздохи, а Строганов ответил, что у его высочества уже давно к ней просьба. Екатерина засмеялась и спросила, что это за важная просьба, Павел принужден был объяснить, и Греков стал асессором. Эта сцена на редкость точно говорит об атмосфере, которую создала вокруг себя Екатерина, – все очень мягко, очень мило, просьба выполнена в ту же минуту и с улыбкой – только вот сын к матери сам почему-то обратиться не смеет.

Зато потом в покоях Павла устроили великий праздник в честь нового асессора, было торжественно, шумно, весело, жгли фейерверк, знатно надымили, и пахло порохом.

Все теснее становится связь между учителем и учеником. Только Порошину мальчик может признаться, что в покоях матери ему «несносно». Только Порошин видит, как великий князь, которому предстоит трудный экзамен по богословию (торжественный, в присутствии матери!), говорит, «из угла в угол попрыгиваячи»: «Ой, трушу, трушу». Именно в комнату к Порошину прибегает он утром – поцеловаться, пошептаться, поведать «свои тайнства».

У них было общее дело – математика, которую преподавал Порошин. Однажды Павел спросил его, «кто самый большой математик», и Порошин назвал Эйлера. «А я знаю еще кого-то, отгадай, – сказал Павел и сам ответил: – Есть некто Семен Андреевич Порошин да ученик его Павел Романов, разве это не математики?»

Откровенность за откровенность: Порошин читал Павлу свой дневник, и «где приятные места ему приходили, тут изволил попрыгивать и петь весело, а где не по нас, тут мы нахмуривались и пели голосом заунывным».

Случалось им ссориться, и серьезно. Вот Павел, который, как видно, наслушался чьих-то злых наветов, дуется и не разговаривает. Не разговаривает и Порошин.

Павла хватает ненадолго, на следующий день, пишет Порошин, он «старался заигрывать со мной и изволил приласкиваться». Но Порошин, обидевшись той легкости, с какой его друг поверил наветам, «не входил ни в какие шутки».

Павел стал томиться, все время «забегать изволил», чтобы примириться, – Порошин оставался тверд. Дела шли своим чередом, занятия, уроки – а они все еще не разговаривали друг с другом. Наконец посреди каких-то занятий Павел не выдержал:

– Долго ли нам так жить? – спросил он. – Пора помириться.

На что Порошин сухо ответил, что обида его велика.

А наутро мальчик сам прибежал в его комнату, бросился ему на шею и, целуя, говорил: «Прости меня, голубчик, я перед тобой виноват; вперед уж никогда сердиться не будем, вот тебе моя рука». «Я расцеловал руку Его Высочества, – пишет Порошин, – и по некоторых разъяснений постановивши твердый мир, пошел за ним чай пить».

Порошин недаром держал себя так твердо в этой истории – злоба придворных пылала вокруг и грозила им бедою. Зависть была столь велика, что Семен Андреевич просил своего ученика не проявлять своей к нему любви так явно.

Мы сейчас в последний раз увидим их вдвоем. По Невскому мчат санки, я представляю их по описанию одного из мемуаристов: «Это маленькие санки на двоих, третий на запятках. И они так уютны, что кажутся очень малы, и столь легки, впору для одного бегуна. По светло-зеленой краске покрыты лаком и по приличным местам выложены бронзой. Выбивка, подушки и на медведях покрывало из лучшего разноцветного рытого трипа». Санки цесаревича, конечно, убраны еще богаче – вместо трипа, надо думать, бархат, вместо медведя – соболя или черно-бурые лисы, – сидит в них счастливый мальчик, вырвавшийся на свободу, Порошин стоит на ЗАПЯТКАХ.

Доехали до СЛОНОВОГО двора, где еще недавно жил подаренный когда-то Анне Иоанновне слон. Здесь Павел увидел мужиков, пивших теплое сусло, ему захотелось попробовать, остановились – мальчик пил, а собравшийся народ, так пишет Порошин, смотрел на него «с великим удовольствием». И снова полетели санки по снежным улицам Санкт-Петербурга. Великий князь «был очень весел. Оборачиваясь ко мне, изволил со мною

разговаривать и хвалил сусло. Его Высочество сим катанием несказанно был доволен. На улице из саней ко мне оборачивался, хотел меня поцеловать в своей радости. Но я сказал, чтобы изволил сидеть починнее, что мы уже домой приехавши поцелуемся».

Хоть Порошин и чувствовал, что беда надвигается, обрушилась она неожиданно. Панин узнал, что Порошин ведет дневник, пожелал его прочесть, и вот однажды Семену Андреевичу было сказано, что он назначен на Украину, в Ахтырку, командовать полком. Проститься с мальчиком ему не дали. Не пришлось Семену Андреевичу «на серебре есть» – он умер в армии в 1769 году от какой-то болезни.

В дневнике Порошина, согласитесь, написан первоклассный лирический портрет – проза писать такие научится еще не скоро. А уж если речь идет о ребенке, то писателям XVIII века и не снилось такое мастерство и тонкость в изображении детского внутреннего мира, да и есть ли что-нибудь подобное в XIX? Пушкинский Петруша Гринев хоть и написан очень мягко, но все же иронически (с некоторым – правда, очень легким, – оттенком Митрофанушки: чего стоит один мочальный хвост, приделанный к Мысу Доброй Надежды!). Ни Багров-внук, ни дети Ростовы (даже Петя!), ни даже Сережа Каренин не разработаны так тонко и не вызывают у нас такого щемящего чувства – разве что дети Достоевского?

Лирический портрет, созданный Порошиным, можно смело сопоставить с шедевром Рокотова – портретом маленького Павла. Мы помним, как поэтичны портреты Рокотова, но, кажется, нигде он не достигает такого очарования, как в портрете великого князя Павла (1761 год).

Это – вещь маленькая и веселая. Павел заключен в овальную рисованную раму, за край которой как-то очень живо выскочил кусок горностаевой мантии. Цвета здесь детские, радостные – светло-красный бархат, пересеченный голубой лентой, белые пудренные волосы. Сам маленький Павел Петрович тоже приветлив и весел, но заметно странное противоречие между его сияющим взглядом и крепко сомкнутыми губами, словно он боится выболтать что-то, о чем болтать не положено; впрочем, губы эти готовы улыбнуться, и вот уже слышится нам его голос: «Что же вы, чижики, не купаетесь!»

Но есть тут секрет: в его доверчивом взгляде, если к нему присмотреться, можно заметить некое вопросительное выражение; если смотреть подольше, откроется в них еще и словно бы растерянность, даже нечто похожее на тревогу и страдание (подобный эффект несомненен в оригинале, репродукция может и не передать). Это он «плакивал», воображая себе «такое времени пространство и что наконец умереть должно», это он, один в комнате, сидел и слушал, как воеет непогода.

Мальчик схвачен с удивительной проницательностью, и притом именно в главном – в сочетании веселости, простодушия, печали и тревоги. И таким беззащитным кажется он нам в своем мундирчике с орденской лентой и взбитыми височками.

В том же зале Русского музея висит рокотовский портрет Екатерины – вот когда становится ясно, что у крупного художника для каждой модели своя живопись: если повесить рядом портреты матери и сына, возникает впечатление, будто их писали разные мастера: матовая, воздушная, легкая живопись павловского портрета – и яркая, четкая, сверкающая до глянца в портрете императрицы. Екатерина здесь в мехах, в драгоценностях, в назойливом сверкании атласа, пышет здоровьем, у нее самоуверенный взгляд, но написана она без любви, даже без симпатии, с заметной холодностью. Художник, влюбленный в маленького Павла, такой и должен был ее ощущать.

Вряд ли в ее отношении к Павлу следует винить одну Елизавету, отнявшую у нее сына, прервавшую естественные связи матери с ребенком. У Екатерины был сын от Григория Орлова, ребенок, которого никто не мог у нее отнять (была впоследствии и дочь от Потемкина – Елизавета Темкина).

Этот мальчик родился, можно сказать, в свете пожара. Было это месяца за два до переворота, то есть крайне несвоевременно, в преддверии роковых событий, и преданность ее гардеробмейстера Шкурина дошла до того, что он поджег собственный дом, чтобы этим отвлечь внимание двора. Несколько лет маленький Алексей жил у него под видом сына.

Что мешало Екатерине взять ребенка к себе? Ведь в те времена незаконнорожденные, как мы знаем, получали дворянство, усеченную фамилию отца, поместья и чины, жизнь их не всегда была гладкой, но никакого особого позора в подобных обстоятельствах общество не

видело – ни для родителей, ни для детей. Так что же мешало Екатерине подобным образом распорядиться судьбой своего второго сына?

Многое. Она шла к власти не только как императрица, но и как мать наследника, и притом страдающая мать. Тогда ночью после переворота гвардейцы, беспокоясь за судьбу Екатерины, пожелали ее видеть. И она вышла на балкон, держа на руках Павла, ей нужно было, чтобы этот трогательный образ закрепился в сознании ее подданных – она с наследником на руках.

Присутствие при этом побочного младенца?

Если Павла у нее отняли в первую же минуту его жизни, если он был рожден не то от нелюбимого мужа, не то от изменившего любовника, то Алексей был от Орлова, которого она любила неистово, всей душой, – почему же в душе у нее тепла было не больше, чем к первенцу, наследнику престола?

Когда Алексей подросток, его отдали в Шляхетский корпус, от этого времени сохранился его маленький дневничок. Юноша (ему уже семнадцать) упоминает князя Орлова (всегда так – «князь Орлов») и «Ее Императорское Величество» (всегда так: Ее Императорское Величество), и невозможно понять, знает ли он, что это его родные отец и мать. Кажется, что не знает, но может ли это быть, неужто никто никогда ему ничего не сказал? Или ему запрещено об этом говорить, и он даже в дневнике написать об этом не решается?

Алексей в кадетском корпусе на попечении его начальника генерала Рибаса (которого в корпусе ненавидят) и его жены (судя по тому, что происходит в доме Рибасов, – тяжелой истерички). А верховный надзор принадлежит Бецкому. В начале 1771 года Алексей обедал у Бецкого, а потом «имел честь видеть Ее Императорское Величество в Эрмитаже». Он влюблен в императрицу и говорит о ней с неизменным восхищением.

Он мало бывает в обществе, но все же бывает. Вот Алексей на обеде у директора корпуса, кто-то умильно благодарит его за чей-то устроенный брак – он в недоумении. «Вы шутите надо мной», – говорит он, никогда в жизни не слышал он об этом браке. «Это вы так говорите от скромности», – возражают ему и продолжают благодарить.

Он удивлен. Но тут его увлекает в угол какая-то девица и жалуется на свои несчастья; а через несколько дней на маскараде его

изловила некая госпожа Толстая, «очень странно беседовала» с ним о родственнике своего мужа; Алексей пробовал сбежать, но она настигла его и продолжала говорить «так долго, что упала в обморок». Неужели же и тут он ничего не понял, бедный одинокий сын могущественной Екатерины?

Как трудно, однако, приходится детям, попавшим в поток политики или под колесо истории.

Когда Бецкой привозил его в дома знати или во дворец (где он видел и Потемкина, и Ланского – фаворитов), Екатерина устраивала старику выговоры. Алексей знает о них, и это ничуть не изменяет его отношения к императрице. Его приглашают в гости, в концерты – он отказывается. Может ли быть, чтобы он не понимал, почему должен отказываться?

Когда решено было, что юноша едет путешествовать, он встретился с Екатериной. Императрица пришла, села в кресло и стала ему говорить, что сперва надо узнать свою страну, а уж потом ехать в чужие; «милостиво выразила надежду, что он «доволен распоряжениями относительно него». Алексей растроган. «У меня выступили слезы, – пишет он, – я едва не расплакался. А потом она встала и ушла. Я имел счастье в другой раз поцеловать ее руку».

После кадетского корпуса Алексей, получив богатое поместье, стал сильно кутить, уехал за границу, там пустился уже в сильный загул; сохранились письма к нему Екатерины – очень спокойные, доброжелательные, она говорит, что понимает молодость с ее ошибками, не видит в них ничего рокового, но просит его остановиться в Ревеле и в Петербург не приезжать.

(Любопытно, что графское достоинство Алексей Бобринский получил не из рук матери, а из рук своего единоутробного брата Павла. Может быть, они, встретившись, нашли о чем поговорить?)

Такая душевная холодность? Да нет, скорее душевная путаница; оба сына ее были так сильно оплетены политическими нитями, что отношения с ними неизбежно вызывали в душе ее неловкость, раздражение (то, что сейчас точнее называют душевным дискомфортом). Павел был причиной ее многих чисто политических тревог, особенно в 1762 году, когда Никита Панин с группой вельмож

требовали, чтобы она стала всего лишь регентшей при Павле; со временем эти тревоги не утихли (ведь и Пугачев называл Павла своим сыном, заявлял, что тревожится, «как бы его не извели»).

Но все же Екатерина никак не желала сыну дурного. Когда Павел с женой Марией Федоровной были за границей, некий театр пребывал в смущении: давать ли «Гамлета» с его сценой «мышеловки», – таким образом предполагалось, что на Екатерине лежит тень злодейства и представлять трагедию в присутствии этого российского Гамлета по меньшей мере бестактно, – все это была дань романтическому воображению.

На самом деле, повторим, Екатерина, при всем ее равнодушии к сыну, заботилась о его воспитании, о его образовании (все же он был наследником престола), приставила к нему одного из самых образованных людей – Никиту Панина. За столом Павла, как мы видели, собиралось изысканное общество, люди интересные и талантливые. Самого д'Аламбера, как мы опять же знаем, она звала в наставники наследнику престола, – словом, видно явное желание сделать из Павла не только образованного человека, но и просвещенного, но и самого передового. Ни тени злодейства тут нет и в помине.

Нормальная женщина, которой Бог не дал любви к детям? Но и это не так. Забегая далеко вперед: всю свою нерастраченную любовь она отдала внукам, Александру и Константину, она была гениальной бабушкой, их воспитание, физическое и нравственное, было предметом ее страстных забот, она сочиняла для них сказки, писала рассказы из русской истории, ее переписку с внуками весело читать.

Екатерина осматривает водные пути, по которым шло в Петербург продовольствие, плывет по Волхову и пишет письмо: «Константин Павлович. Много бы у вас бегания и кричания было, если бы вы со мной на барке находились; всякую минуту мы видим, что ни на есть новое по берегам». Она собиралась взять внуков с собою в Крым, но они заболели. «Любезный внук Константин Павлович, – пишет она из этой поездки, – поздравление ваше с праздником мне приятно было: написано оно прямодушно, но с весьма косыми строками; видно, что вы спешили, либо после сыпи и кори так водится в граде Святого Петра». А Константин отвечает: «Любезная бабушка! Я, бабушка, криво писал для того, что спешил; ето не вина кори, а ето моя вина, и

для того я вас прошу прощения. Братец и я вышли гулять в сад, мы были сожжены от солнца». Ему уже восемь. И тут же Александр (ему десять): «Любезная бабушка! Я вас очень благодарю за ваше письмо, я вас люблю всем сердцем и душою и буду всегда стараться во всем вам быть угодным. Желаю вас видеть как можно скорее».

В 1792 году она написала завещание, не деловое, а лирическое. «Буде я умру в Царском Селе, то положите меня на Софиенской городской кладбище. Буде – в городе святого Петра – в Невской монастыре. Буде – в Москве – в Донской монастыр или на ближней городской кладбище...

Носить траур полъ года, а не более, а что менее того, то и лучше. После первых шесть недель раскрыть паки все народные увеселение... Вивлиофику мою со всеми манускриптами и что в моих бумагах найдется моей рукою писано, отдаю внуку моему, любезному Александру Павловичу, также резные мои камение, и благославляю его моим умом и сердцем».

Глава пятая

А сейчас (канун 1767 года) у нее дела идут отлично: оказалось, что Россия не спит и даже не дремлет, напротив, она живо откликнулась на ее призыв. Даже не верится: всюду идут выборы, губернаторы, как им велено, находят для них дома, а знатные люди предоставляют свои особняки.

Действительно, и в Центральной России, и в Малороссии, и в Сибири, по городам и селам, шли выборы депутатов, повсюду писали указы, депутаты должны были привезти их с собой на заседание Уложенной Комиссии (на знакомом нам Невьянском заводе тоже шли выборы, для которых контора отдала свое здание, и здешние крестьяне и работники также писали указы).

Даже крепостные крестьяне собрались было рассказать о своей горькой жизни, но оказалось, что их не спрашивают.

Есть основание утверждать, что участие в Комиссии свободных крестьян и то вызвало противодействие, и притом в кругу, близком Екатерине. Ей пришлось вести борьбу, настаивать – и она настояла. Если бы она позвала в Уложенную Комиссию крепостных, то дворяне в нее, надо думать, просто бы не явились.

И вот – наконец!

30 июля 1767 года из головинского дворца в Лефортове, где остановился приехавший в Москву двор, двинулась грандиозная процессия, потянулись придворные кареты (золоченые шкатулки на очень высоких колесах), в первой из них, запряженной восьмериком, ехала Екатерина в мантии и малой короне; за ее каретой Григорий Орлов («безусловно, самый красивый мужчина империи», как писала Екатерина) вел взвод своих кавалергардов; за ними – карета великого князя, тогда тринадцатилетнего. Все это было пышно, многолюдно, сверкающе и медленно двигалось к Кремлю; толпы народа сбегались смотреть на великолепное шествие.

А депутаты шли в Успенский собор попарно в ряд: впереди дворяне, позади крестьяне, распределенные по губерниям (а внутри каждого сословия депутаты опять-таки были распределены не по их социальной значимости, а по мере прибытия в Москву и регистрации в

депутатском списке – тот же принцип «поторапливайтесь», та же ставка не на самого знатного, а на самого усердного). После торжественной службы в соборе начался не менее торжественный акт присяги депутата (разумеется, текст тоже от начала до конца сочинен Екатериной): «...Я приложу мое чистосердечное старание в великом том деле сочинения проекта нового Уложения, для которого я выбран от моих сограждан Депутатом, соответствуя и их на меня положенной доверенности, чтобы сие дело начато и окончено было в правилах богоугодных, человеколюбие вселяющих и добронравие в сохранении блаженства и спокойствия рода человеческого, из которых правил все правосудие истекает. Прошу притом Всемогущего Бога, чтобы низпослал мне силу отвратить сердце мое и помышление от слепоты, происходящей от пристрастия собственныя корысти, дружбы, вражды, и ненавистныя зависти, из коих страстей родиться бы могла суровость в мыслях и жестокость в советах моих. Сам же буду поступать в сем великом деле по лучшему моему разумению с непременной верностью к Ее Императорскому Величеству Всемиловитивейшей Государыне Императрице и Самодержице Всероссийской, с усердием к службе ее и ее престола преемнику, с усердием к любезному отечеству, с любовью к моим согражданам» – далее следовало целование креста и подпись.

Затем состоялся великолепный многолюдный спектакль в аудиенц-зале Кремлевского дворца – Екатерина стояла на тронном возвышении, а рядом с ней на столе, покрытом бархатом, лежал Наказ. Минута была высокая. Многие плакали, впечатление было настолько сильным, что много лет спустя, в 80-х годах, Левицкий передал эту общественную атмосферу в своей замечательной картине «Екатерина-законодательница».

Картина эта аллегорическая, а аллегория даже и тогда требовала неких пояснений (композицию и аллегорическую программу картины составил Н. Львов, знаменитый деятель культуры XVIII века).

На картине – храм богини правосудия, сама богиня с весами в руках восседает справа на задрапированном пьедестале, у нее, честно говоря, несколько сонный вид, но это, должно быть, потому, что она отодвинута в сторону и уступает место героине картины Екатерине, занимающей центральное место и, как раз наоборот, полной энергии. Она – жрица в этом храме, хозяйка его, она сжигает на жертвенном

огне алые маки (это надо было понимать так, что на благо общества приносит она свой покой); у ног ее лежат книги новых законов; на книгах сидит орел, «вооруженный Перуном», и эти законы сторожит.

Нам всегда кажется, что аллегория – это скорее дидактика и риторика, а не искусство, но здесь аллегория ожила – и мы видим, что она как бы возвышает событие, придает ему некую духовность.

«Екатерина-законодательница» из Третьяковской галереи – вещь артистическая, замечательно крепкой композиции, написана она с воодушевлением, с живописным размахом и силой. Широко и свободно движение Екатерины, буйные занавесы у нее над головой похожи на корабельные снасти (их красному цвету откликается сливочная белизна платья царицы), а в тумане видно море и в нем уже настоящий корабль; вьется на мачте военно-морской флаг с андреевским крестом (это, конечно, напоминание о победе русского флота при Чесме).

Словно бы ветер прошел по храму, взвил занавес и смял ковер на полу. Курится в сизом дыму жертвенник – и дым над ним размыт ветром! – темно тлеют угли. Сама Екатерина, молодая, веселая, ничем от моря не отгороженная, она не только часть этой живой жизни – как раз от нее идет заряд энергии, сообщающий картине жизнь.

Вот какой представлялась она в то время обществу России. Очень обаятельна. Тогда – в свои лучшие годы – такой она и была.

На следующий день, когда депутаты собрались (не где-нибудь, а в Грановитой палате) и началось чтение Наказа, они в порыве всеобщего энтузиазма решили поднести Екатерине титул «премудрой и великой матери отечества», а она ответила им со свойственной ей пунктуальностью: 1) на «великая» – о моих делах оставляю времени и потомкам беспристрастно судить; 2) на «премудрая» – никак себя таковой назвать не могу, ибо един Бог премудр; 3) на «матерь отечества» – любить Богом врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю, быть любимой от них есть мое желание».

* * *

Работа Комиссии должна была идти двумя путями – в Большом собрании всех депутатов и в частных комиссиях. Руководящую роль в

Комиссии Уложения играли уже знакомый нам генерал-прокурор Сената А. А. Вяземский и избранный депутатами маршал Комиссии – А. И. Бибиков, с которым нам еще предстоит познакомиться; немалую роль играл также директор дневных записей А. П. Шувалов, от которого зависело качество протоколов. Вокруг руководящих лиц, каким был генерал-прокурор, или комиссий, какой была Дирекционная, группировался обширный секретариат. Сенат направил сюда свыше ста своих делопроизводителей, а в качестве писцов и младших секретарей в Уложенной Комиссии работали студенты Московского университета, а также младшие офицеры гвардейских полков.

Именно таким путем попали сюда люди, впоследствии ставшие знаменитостями, – тут и Михайло Илларионович Голенищев-Кутузов, будущий фельдмаршал, победитель Наполеона, и Николай Иванович Новиков, замечательный просветитель, и, наконец, великий поэт Гаврила Романович Державин.

Существовала общая канцелярия с секретариатом. Секретарями в ней были так называемые сочинители, в обязанности которых входило составлять планы и отчеты работ, а также тексты проектов и предположений, исходящих из частных комиссий.

Согласно предписанию Екатерины – привлекать к работе Комиссии «законоискусников», то есть профессионалов-юристов, в ней работали такие специалисты, как французский адвокат Шарль де Вильер или один из первых российских ученых-юристов, просветитель С. Е. Десницкий.

Таким образом, Комиссия Уложения являла собой обширное учреждение. Работа Комиссии была по тем временам максимально гласной, «Московские ведомости» подробно рассказывали о начальных заседаниях, информация о времени заседаний вывешивалась у Грановитой палаты, а также при полицейских «съезжих дворах».

Важно было решить, с чего начнется работа Комиссии, какие из многочисленных проблем, стоящих перед ней, она станет рассматривать первыми. В Наказе прямо говорилось, что начинать надо с самого важного и «обширного». Вряд ли можно сомневаться, что вопрос этот решала сама императрица.

Комиссия начала свою работу с рассмотрения крестьянских наказов. Изумленные историки поспешили объявить подобное решение императрицы ее очередным пропагандистским трюком, хотя совершенно непонятно, кого собралась она пропагандировать. Предложено простое объяснение: крестьянских наказов было очень много, и потому начали с них, но и это объяснение маловероятно, ведь впоследствии крестьянские, дворянские и городские указы рассматривались беспорядочно и вперемешку.

Куда логичней предположить, что Екатерина, для которой крестьянский вопрос был важнейшим, и тут настояла на своем.

Итак, 20 августа 1767 года Уложенная Комиссия начала свою работу с рассмотрения наказа черносотных крестьян Каргопольского уезда. Если прежде вельможи, критиковавшие екатерининский Наказ, утверждали, что крестьяне не должны участвовать в составе Комиссии хотя бы по одному тому, что стоят на очень низком уровне развития, не способны понять смысл государственных задач и участвовать в законодательстве страны (уж не говоря о том, что все они поголовно неграмотны), то теперь можно было убедиться в несправедливости подобных доводов. Каргопольский крестьянский наказ был весьма разумен, в нем говорилось об особо трудных условиях Севера, скудных почвах, скверном климате, содержалась просьба разрешить крестьянам переселяться на другие земли и рубить для этого лес. Крестьяне просили также уменьшить подати, разрешить им продавать землю. Была у них и другая забота: через их земли проходила дорога Петербург – Архангельск, они обязаны были содержать ее бесплатно. Пусть или их освободят от этой повинности, говорили крестьяне, или оплачивают их труд. Они просили о создании хлебных магазинов (складов), где хранилось бы зерно для посева.

Поднимали они и важнейший вопрос, который возникал едва ли не повсеместно, – о словесном суде. Неграмотность крестьян делала их совершенно беспомощными в суде с его письменным делопроизводством, они не могли прочесть бумаг, решавших судьбу их имущества и их самих, и легко становились жертвами разного рода проходимцев.

Если Екатерина, как она говорила, созвала депутатов страны, чтобы узнать, «где башмак жмет ногу», то это ее желание стало выполняться с первых же дней работы Комиссии.

Кстати, тут же произошел любопытный случай. Против наказа каргопольских крестьян выступило несколько дворянских депутатов, в частности депутат от верейских дворян И. Степанов. По-видимому, его выступление было весьма грубым; писец записал его таким образом: «Крестьяне Каргопольского уезда ленивы и отягощены, утороплены и упорны». В связи с этим в Комиссии взял слово Орлов (который, по-видимому, знакомился с этим эпизодом по протоколу); прежде всего он указал на явное противоречие — «ленивые» не согласуются с «отягощенными», а «уторопленные» — с «упорными». Но главное, говорил он, порицания, относящиеся к отдельным крестьянам, нельзя распространять на крестьян вообще (а депутат И. Степанов, по-видимому, именно это и делал). Вообще, нет ли тут ошибки писца, деликатно замечает Орлов, и не спросить ли об этом у самого верейского депутата?

Екатерина и Орлов давали Комиссии первый урок парламентской учтивости.

На пятнадцатом заседании произошел эпизод, который сильно взволновал, а может быть, даже и потряс Большое собрание и всех, кто составлял аппарат Комиссии («сочинителей», писцов, переводчиков).

В Большом собрании в тот день поднялся депутат от обоянского дворянства Михаил Глазов и стал возражать против мнений, высказанных депутатами от однодворцев и черносозных крестьян. Он читал по заранее написанному, речь его была столь яростна, сколь и сбивчива, и по мере того как он читал, в зале нарастал шум, и маршал собрания Александр Бибилов резко его остановил. Дневная запись заседания позволяет нам узнать, о чем говорил Глазов, почему поднялся шум и что этот шум означал, негодование или согласие.

«Хотя сие возражение (то есть выступление Глазова) состоит из 23 больших страниц, однако трудно найти в нем порядочный период: мысли спутаны и темны, каждое почти выражение неприлично; но его недостатки кажутся нечувствительными пред прочими непристойностями, которыми избыточествует оное сочинение. Депутат обоянский бранит без малейшего смягчения депутата елецкого, развратное ему приписывает мнение, поносит всех черносозных крестьян; наконец, ругает каргопольский наказ и говорит, что надлежит его сжечь, а депутата каргопольского от черносозных крестьян, который истину всему предпочел, доказал, что в последнем

чине можно думать благородно, желает он лишить депутатского знака и всех депутатских выгод».

В этом отрывке все замечательно. Образ депутата Глазова (судя по его другим выступлениям, происходившего из родового дворянства) с его бессвязной речью, смысл которой, однако, был ясен: ненависть и презрение к крестьянам, неистовое негодование по поводу того, что здесь, в Комиссии Уложения, его, дворянина, уравнивали в правах с крестьянскими депутатами (отсюда требование – отнять у них золотой депутатский знак – а знак висел у крестьян, как и у дворян, в петлице на золотой цепочке – и депутатскую неприкосновенность).

Замечательно и поведение Бибикова, который прервал речь Глазова, сочтя ее исполненной «непристойностями»; еще важнее то, что он не только осудил Глазова, но и защитил крестьянских депутатов, заявив, что они-то как раз «верны истине», то есть правы, и доказали тем самым, что люди, состоящие «в последнем чине», могут думать благородно (Бибиков сказал это задолго до Карамзина, поразившего дворянское общество своим «и крестьянки любить умеют»); противопоставляя Глазова крестьянским депутатам, маршал Комиссии показывал, что «неблагородные» могут быть благородны; и, наоборот, благородные могут вести себя неблагородно – позиция чисто просветительская.

Так отчего же, слушая Глазова, зашумело Большое собрание Комиссии? В дневной записи сказано, что его выступлению «свойственно было произвести смех, соблазн и негодование, что и совершилось; но маршал остановил чтение на 9 странице, зане в собрании надлежащее благочиние могло бы совсем быть нарушено». «Смех, соблазн и негодование» – это значит, что реакция депутатов была резко различной, смех мог выражать и возмущение, и поощрение – чего было тут больше? А «соблазн» и «негодование» противостоят друг другу, ясно, что кто-то был и на стороне Глазова – сколько было таких?

Бибиков напомнил депутатам, что столь оскорбительное выступление резко противоречит XV статье обряда: если один депутат оскорбит в собрании другого, он должен понести наказание в виде штрафа и может быть временно или навсегда исключен из числа депутатов. Маршал опрашивал, что думают по этому поводу депутаты.

Комиссия явно думала по-разному, но решение ее было едино. Если поведение Бибикова в ходе собрания выражало его собственную точку зрения, то решение Комиссии было несомненно согласовано с Екатериной. Вот оно:

«Комиссия о сочинении проекта нового Уложения, выслушав большую часть возражения (на самом деле не большую – в рукописи Глазова было 23 страницы, Бибиков прервал его на 9-й. – *О. Ч.*) депутата обоянского от дворянства Мих. Глазова на голос депутата елецкого от однодворцев Мих. Давыдова, рассудила, что сие возражение, язвительными словами и бранью преисполненное, нарушает все обществом принятые правила благочиния и справедливости, ибо не токмо в оном сказано; что депутат Давыдов имеет гордыню, что он мыслил превратно, но и то без малейшей причины упомянуто, что всем черносотным депутатам почаше подлежит вынимать из карманов зеркало, по которому вразумляется, что их поведение небеспорочно (из этого текста нетрудно заключить, что Глазов примерно так кричал крестьянам: «Да вы в зеркало на себя посмотрите, каковы рожи!» – *О. Ч.*); наконец депутат обоянский осмеливается предписывать строжайшее наказание, когда он судить не имеет права: каргопольский наказ предает огню (это значит, требует, чтобы его сожгли. – *О. Ч.*), того же уезда депутата (которого беспристрастный поступок вящей похвалы достоин) желает лишить депутатского знака и всех депутатских выгод». Постановлено: взять с него пять рублей пени да к тому же потребовать от него, чтобы он при всем собрании просил у обиженных прощения.

Если даже не знать, что за всем этим стояла Екатерина, участие ее тут несомненно: решение Комиссии вышло за пределы обряда, который не требует, чтобы депутат, оскорбивший другого депутата, публично просил у того прощения.

И вот представим себе эту минуту, когда родовитый дворянин Михаил Глазов поднимается, чтобы прилюдно просить прощения у крестьянина, – какое жгучее чувство унижения в его душе! А что чувствовали другие дворянские депутаты при виде такого унижения своего собрата, не вспыхнуло ли тут сословное негодование даже в сердцах просвещенных дворян? А какое чувство владело крестьянами, не только елецкими, но и депутатами других краев России, – не страх ли? Ведь здесь, рядом с императрицей, они чувствовали себя в

безопасности, в очерченном ею кругу, – но защитит ли их этот круг, когда они вернутся домой?

После наказов черносошных крестьян стали рассматривать наказания дворянские, потом купеческие. Споры разгорались все сильнее. Они впрямую и очень четко отражали те процессы, которые шли тогда в российском обществе. Борьба шла внутри самого дворянского сословия – между старинным родовым дворянством и теми, кто получил дворянское звание в силу табели о рангах Петра I. Согласно ей, любой, и военный и штатский, дослужившийся до известного чина, тем самым как бы автоматически становится дворянином. Среди реформаторских шагов Петра этот, по-видимому, являлся самым крупным и благотворным для страны: российское дворянское сословие не замкнулось наглухо, как это было, например, во Франции, оно становилось открытым для притока новых сил, которые, вливаясь в него, не давали ему загнивать и вырождаться. Но с тем самым в России возникла новая острая ситуация – борьба внутри дворянского сословия.

Однако в обществе назревал еще и другой конфликт: между дворянством в целом и «недворянством», то есть купцами и заводчиками, которые постепенно набирали силу. И вот теперь в Грановитой палате представители этих социальных групп, и новых, и старых, оказались лицом к лицу.

Тут явились сильные ораторы, и, может быть, самым ярким и горячим среди них был князь Михаил Михайлович Щербатов, историк, автор потайных и язвительных (в том числе и по отношению к Екатерине) записок. Он, представитель родовитого дворянства, был страстным защитником его интересов, а тем самым и самого крепостного строя. Он говорил о своем сословии горячо, в тонах возвышенных и романтических (о чем порой свидетельствуют не только слова, но даже самый ритм его выступлений).

«Известно, что первое различие между состояниями, – говорил он, – произошло от доблести некоторых лиц из народа. Потомки их равномерно отличались от других, оказывая услуги тем обществам, которых они были членами. Итак, первым объяснением имени дворянина будет то, что он такой гражданин, которого при самом его рождении отечество, как бы принимая его в объятья, ему говорит: ты родился от добродетельных предков; ты, не сделавший еще ничего мне

полезного, уже имеешь знатный чин дворянина, поэтому ты более, чем другие, должен показать мне и твою добродетель и твое усердие. Тебя обязывают к тому данные законами моими права, предшествовавшие твоим заслугам, тебя побуждают к тому дела твоих предков, подражай им в добродетели и будешь мне угоден. Рожденный в таком положении, воспитанный в таких мыслях, не будет ли употреблять сугубые усилия, дабы сделаться достойным имени своего и звания? Одно это имя и припоминание о славных делах своих предков довольно сильно, чтобы побудить благородных людей ко всяким великим подвигам». Страстность заносит порою князя на сомнительные пути, так, например, ссылаясь на римского писателя Варрона, который говорит, что полезно было, когда «знаменитые люди почитали себя происшедшими от героев, хотя это и неправда», Щербатов присоединился к этому мнению, полагая, что самая мысль о таком происхождении побуждает людей к «величайшим делам». Благородные юноши, которые растут в атмосфере поклонения героям-предкам, видят их портреты, слышат об их подвигах, не похожи на тех выскочек, которые даже имен своих предков не знают и выслужились, скорее всего, подобострастием и мздоимством.

Ну а что, если эти молодые люди узнают, что вовсе не от Геракла они происходили? – такая мысль ему в голову не приходила. Ее высказали другие.

Князя Щербатова поддержал восторженный хор депутатов от родовитого дворянства. Иные из них требовали не только отмены петровской табели о рангах, но и отнятия дворянского звания у тех, кто его уже получил.

Представители нового дворянства отвечали с достоинством. «Как многотрудно во флоте и как тяжела в сухопутной армии служба, – говорил депутат Зарудный, – я не стану объяснять, ибо предмет этот слишком обширен»; люди служившие «могут рассказать о тех невероятных трудах, которые они понесли в бывших турецких и прусских походах и сражениях. Из этих рассказов можно удостовериться, что полученные ими чины и дворянское достоинство нелегко им досталось. Что же касается до статской службы, то и она для исправления дел как внутри отечества, так и при сношениях с иностранными державами необходимо нужна, полезна и небеструдна. Следовательно, думать об отнятии дворянского достоинства,

заслуженного многотрудною и полезною отечеству военною службою, понесенными трудами, претерпенными ранами и даже лишением жизни, равным образом приобретенного ежечасными трудами и честностью по статской службе, думать, говорю, об отнятии достоинства у тех, кому оно уже пожаловано и утверждено, мне кажется, несовместно с общею дворянства пользою, ни с тем благоденствием, о котором всемилостивейшая наша государыня изволит прилагать попечение, ни с тем наставлением, которое ее величество преподало в своем Наказе, т. е. взаимно делать друг другу добро сколько возможно».

Депутаты от нового дворянства не только защищались, но и нападали, они говорили о высокомерии знати, ее «небрежении к ближнему», отчего в обществе только умножаются «ненависть и вражда».

Наконец один из «неродовитых» депутатов догадался высказать довод, столь же простой, сколь и убийственный: если старинное дворянство ведет род от тех, кто получил его за свое геройство и заслуги, то ведь сами-то эти предки, до того, как получили дворянство, были людьми незнатными? Стало быть, они тоже из выслужившихся?

Подобный ход рассуждений, как видно, потряс князя Щербатова и привел его дух в «крайнее движение».

«Что же получается? – говорил он дрожащим от негодования голосом, – получается, что все древние российские дворянские фамилии произошли от низких родов и что теперь эти древние дворяне по надменности своей не желают допустить в свое звание людей, того достойных. Весьма удивляюсь, что этот г. депутат укоряет подлым началом древние российские фамилии, тогда как не только одна Россия, но и вся вселенная может быть свидетелем противного». Выступление князя Щербатова привело в восторг его единомышленников, они были им заморожены, и вселенная, призванная в качестве свидетеля, по-видимому, показалась им вполне уместной. Со слезами на глазах слушали они князя.

«Как может собранная ныне в лице своих депутатов Россия, – продолжал он, – слышать нарекания подлости на такие роды, которые в непрерывное течение многих веков оказали ей услуги? Как не вспомнит она пролитую кровь сих достойнейших мужей! Будь мне свидетелем, дражайшее отечество, в услугах, тебе оказанных верными

твоими сынами – дворянами древних фамилий! Вы будете мне свидетелями, самые те места, где мы для нашего благополучия собраны! Не вы ли были во власти хищных рук? Вы, божественные храмы, не были ли посрамлены от иноверцев? Кто же в гибели твоей, Россия, подал тебе руку помощи? (Тут я предполагаю, была сделана пауза, чтобы пафос говорящего лучше дошел до слушателя. – О. Ч.). То верные твои чада, древние российские дворяне! Они, оставя все и жертвуя своею жизнью, они тебя освободили от чуждого ига, они приобрели тебе прежнюю вольность. Мне мнится, что зрю еще текущую кровь достойных сих мужей и напоминающую их потомкам то же исполнить и так же жертвовать своей жизнью отечеству, как они учинили». Картина былых геройских времен, воспламенившая оратора, не помешала ему, однако, помнить о его главной задаче: «Вот первое требование дворян древних родов, чтобы никто с ними без высочайшей власти не был сравнен».

Бедный князь! Не имея возможности опровергнуть довод своих оппонентов, он хотел выиграть дело декламацией (в основе своей вполне искренней). Но на противной стороне были спокойные дельные люди. Что же это за рассуждение, отвечали они, получается, что только древние фамилии являют собой сынов отечества, только они лили кровь за него, а остальные вроде бы и не сыны и крови не проливали? Наконец, был выдвинут еще один весомый довод. Если первые российские дворяне получили свое достоинство за свои высокие нравственные качества и подвиги, отсюда следует, что потомки их, если они ведут себя недостойно и совершают низкие поступки, должны быть лишены дворянства.

И нам предлагают поверить, будто Екатерина напрасно созывала Уложенную Комиссию!

Кстати, сама она на заседаниях не присутствовала, чтобы не смущать депутатов и не сдерживать их непосредственной реакции. Это, разумеется, не значит, что императрица пустила работу Комиссии на самотек, напротив, ее внимание было неусыпным, она читала дневные записи и, если нужно было, вмешивалась, но не сама, а через генерал-прокурора Вяземского, маршала Бибикова или директора дневной записи Шувалова.

Да она и сама видела, что происходит в зале: в верхнем ярусе Грановитой палаты еще в XVI веке была оборудована комната, куда русские царицы, которым запрещено было появляться на церемонии приема иностранных послов, приходили полюбоваться этим редким и диковинным спектаклем. Именно сюда приходила и Екатерина, чтобы самой увидеть и услышать, что происходит в Комиссии. Можно легко предположить, что декламация Щербатова не вызвала у нее ничего, кроме усмешки, зато довод депутатов нового дворянства о том, что дворянское достоинство неразрывно с нравственными качествами и потому дворянин, запятнавший себя недостойным поведением, должен быть этого достоинства лишен, был ей не нов, его высказывал и Сумароков.

Атмосфера в Большом собрании накалялась. Купцы заявили, что право торговать принадлежит только им, всем остальным это должно быть запрещено; что торговля, которую ведут крестьяне, привозя в город продукты своего труда (или работая перекупщиками), их, купцов, разоряет, да и для государства пагубна, потому что крестьяне, торгуя, пренебрегают своей главной обязанностью – хлебопашеством. А дворянам торговля вообще «по их званию несвойственна», их дело следить за тем, чтобы подвластные им крестьяне лучше обрабатывали землю. Дворянам следует разрешить продажу только того, что производится в их вотчинах, «по их хозяйству, не дозволяя ничего скупать у других». Словом, по мнению купцов, торговля отвлекает и помещика, и крестьян от их прямых обязанностей и ведет к упадку земледелия.

А дворянские депутаты требовали, чтобы купцам было запрещено иметь заводы и фабрики. «Эти господа депутаты домогаются, – говорил Алексей Попов, депутат от купечества Рыбной слободы, – чтобы купцам было запрещено иметь фабрики и минеральные заводы (заводы по переработке руды. – О. Ч.). В основании такого распоряжения они ставят, что будто содержание купцами фабрик и заводов не приносит пользу обществу и что гораздо полезнее будет, ежели владение оными предоставлено отставным и живущим в деревне дворянам».

Дворяне хотели сами владеть заводами. Купцы выступили против этого во всеоружии своего опыта, который подсказывал им сильные аргументы. Вот что говорил депутат от города Серпейска Глинков:

«Когда купец строит фабрику, то все окрестные крестьяне от нее довольствуются. Они продают лес, лубья, тес и т. п., нанимаются к постройкам, получая за то большую плату, и тут же продают произведения своей земли. Чрез это они делаются исправными в платеже государственных податей и господских оброков. Когда же фабрики выстроены, то крестьянам приносится еще большая выгода: они нанимаются для привоза на нее из дальних мест всякого рода материала, также и произведения фабрики развозят для продажи по разным местам. Другие фабрики строятся помещиками, которые для этого употребляют своих крестьян. Они начинают с того, что назначают с каждого двора привезти потребное количество леса, лубья, дров и теса; и всякий крестьянин, оставя хлебопашество, должен с плачем ехать и поставить то, что с него назначено. После того их принуждают строить безденежно и на своем хлебе. По постройке такой фабрики их же заставляют работать на ней тоже безденежно. Это особенно случается тогда, когда владелец фабрики войдет в долг, между тем как вести фабрику секрета не знает».

Желание Екатерины узнать, «где башмак жмет ногу», исполнилось с лихвой, каждый день работы Большого собрания давал горы жизненного материала.

В горячий спор о том, кому должны принадлежать фабрики, вмешался депутат от Коммерц-коллегии С. Меженинов, и тут мы уже слышим голос профессионала. Пусть бы фабрики и заводы держали и купцы, и дворяне, «только бы другому не делали помешательства» и знали суть самого этого дела, весьма непростого. Так, например, дворянам лучше заводить предприятия, каких до сих пор не было. «Назад тому с небольшим лет двадцать, – рассказывал Меженинов, – дворяне, узнав, что от парусных полотен получается большая прибыль, и не сообразив, что таких фабрик уже устроено было очень много, так что фабриканты почти не знали, куда им деваться со своими полотнами, стали также заводить такие фабрики и до тех пор не увидели своей ошибки, пока вконец от них не разорились. То же самое начали ныне делать с солдатскими сукнами. Едва только бедные суконные фабриканты после многолетних страданий и огромных затрат для устройства своих фабрик начали получать плоды трудов своих, как дворяне, позавидовав тому, такие же фабрики стали заводить и этим отняли у прежних фабрикантов всякую надежду на

прибыль. Поэтому-то, как кажется, и не надобно позволять дворянам устраивать фабрики и заводы, чтобы они из ревности один против другого и неумеренным производством не только старых фабрикантов, но и самих себя не разоряли, а чрез то и земледелие, которое нужно всякой фабрике, не оставили. Железных заводов уже заведено так много, что за расходом домашним и за отпуском в чужие края год от году залеживается значительное количество железа. На что бы, кажется, прибавлять еще худые заводы, когда и хороших весьма много? Разве для искоренения лесов, чтобы потомки наши вместо дров топили соломою».

Да, живая жизнь повсю плескалась в стенах Большого собрания, Екатерина правильно почувствовала: России нужно было не просто выговориться, но, главное, заявить о наболевших проблемах.

У сословий могли быть общие беды, даже у крестьян с дворянами такой общей бедой была неграмотность. В суде, например, она делала одинаково беспомощными как крестьянина, так и дворянина, причем не обязательно провинциального и мелкопоместного, неграмотна была и знать, которая могла говорить и писать по-французски, но по-русски читать и писать далеко не всегда умела.

Степень безграмотности русских дворянок в родном языке поразительна – она была причиной забавного недоразумения: одна из самых блестящих рокотовских картин долгое время считалась портретом какой-то глухой провинциалки, потому что на обороте его написано: «Портрет писан рокотовым... а мне от рождения 20 лет шесть месяцев и 23 дны», – оказалось, что это портрет знатной дамы.

И крестьянство, и дворянство неотступно просили, чтобы суд был словесный, где все можно было услышать и понять, и чтобы открыты были школы и для дворянских детей, и для крестьянских.

Но такое совпадение требований было редкостью, главным в Большом собрании был яростный спор, и конечно, по вопросу о крестьянстве он разгорелся с особой силой.

Старинное дворянство требовало, чтобы право владеть деревнями и крестьянами принадлежало исключительно ему. «Дворянское звание, – говорит тот же князь Щербатов, – обязывает дворян служить отечеству и государю с особливym усердием и для того воспитанием своим стараться приготовить себя быть способным к такой службе и к

управлению другими подданными своего монарха. Через это они приобретают, между прочим, право иметь деревни и рабов, дабы, научась с младенчества управлять своими деревнями, они были тем способнее к управлению частями империи и по своим обстоятельствам знали все нужды разных родов людей государства», а что касается мещан, к которым относятся и купцы, они должны выполнять положенную им работу «самолично, а не через невольных людей».

Между тем купечество было твердо убеждено, что без крепостных в его деле не обойтись, – и у него своя аргументация. Депутат от купечества города Яранска Антонов говорил: «По существующим законам купечество не имеет права покупать крепостных дворовых людей и владеть ими, тогда как купцам настоит крайняя надобность их иметь. Купечество нанимает крестьян за большие деньги; но таких вольнонаемных людей очень мало, и по большей части это такие люди, которые имеют крайнюю нужду в деньгах и отдаются в наем с тем, что им выдано было вперед нужное количество денег, которые они будут заживать; но многие из них, не заработав этих денег, убегают от хозяев. Да и когда живут у хозяев, зная, что они не крепостные, и потому не имея никакого страха, своевольничают и доставляют хозяевам много хлопот, ибо надо на них жаловаться в суде, что разорительно и ведет к потере времени».

(На это немедленно и очень остроумно отвечал князь Щербатов: «Мне удивительно, будто наемные люди не столь верны своим господам, как собственные, – недоумевал он. – Это похоже на то, как если бы кто сказал, что охотнее работает по неволе, чем по склонности».)

«На таких наемников, – продолжает Антонов, – купечество ни в чем не может положиться, и когда надобно отправить товары или переслать деньги, то наемников употребить на это дело нельзя, и хозяева бывают принуждены, оставя свои крайние надобности, ехать сами или отложить отправление товаров и денег под страхом потерять доверие». Никак не могли они понять, в чем состоит ловушка, в которую все они попали.

«К фабрикам непременно надо определить указанное число крепостных людей, – говорил депутат от купцов Глинков, – и в случае смерти одного из них надобно заблаговременно иметь на его место другого, ибо когда я обучу чужого и открою ему секрет, то он может

отойти к другому фабриканту или требовать таких больших денег, каких фабрика платить не в состоянии». Во всяком случае, крупным купцам надо предоставить право иметь «от трех до пяти душ», чтобы те служили приказчиками, хотя бы на них была опора, а то с вольнонаемными, когда они убегут, не рассчитавшись, опять придется судиться и терпеть от этого убытки. Когда купцы нанимают крестьян, принадлежащих каким-нибудь помещикам, эти чужие работники «оказываются ленивы, а многие из них приводят воров в дома своих хозяев». В каждом слове купца слышится глубокая убежденность, что промышленное заведение в принципе может работать только на принуждении, на насилии, никаких иных отношений между предпринимателем и его рабочим быть не может.

Ах, напрасно господа депутаты возносили к небу сочиненные Екатериной молитвы, прося Господа отвратить их сердца от корысти и «ненавистой зависти». С энергией необычайной кинулись они друг на друга – дворянство на купечество, купечество на дворянство, дворянство древних родов на дворянство новое.

Екатерина сидела в комнате русских цариц, смотрела вниз в зал – сколько дней таких слушает она, старается понять, что же происходит, а теперь это ей с каждым днем все яснее. Она хотела знать нужды страны? – она во многом их узнала. Хотела знать ее беды и спасения от них? – а узнала главную беду, свою беду. Эти депутаты, люди лучшие, выбранные, отобранные, не могут быть ей помощниками, на них нельзя опереться. Они говорят об отечестве, но равнодушны к его судьбе, они твердят о долге, но тут же забывают о нем ради самой грубой корысти.

Она прислушивается – говорит умнейший Меженинов, депутат от Коммерц-коллегии.

– ...А русский народ, – говорит он, – подобен птицам, которые, найдя кусок хлеба, до тех пор одна у другой его отнимают, пока, раскроша все самые мелкие крупинки, смешают их с песком или землею и совсем растеряют.

Да, они спорят и спорят целыми днями, но ведь есть вопрос, в котором все они едины, – все жаждут владеть крепостными крестьянами! Все требуют себе это право – не только дворянство, но и

купцы, но и духовенство, но и казачья старшина. Даже однодворцы, даже черносотенные крестьяне – и те не прочь купить своего крепостного собрата!

Какие же из них законодатели? И какие новые российские законы могут они создать, если им нужно лишь укрепить старые?

Вошел Орлов, взглянул вопросительно, она ему отвечает, но вот беда, я не слышу слов; так много надо бы у них спросить, но и они меня не услышат. Бывает это с историками, когда уже видишь, ну, почти, – ясно чувствуешь присутствие, – такой морок! Вот тут-то и возникает оно, желание выдумать за них их слова. Но нет у меня такого права – да это и невозможно, они живые, эти двое, каждое выдуманное за них слово будет выглядеть фальшиво и просто резать слух.

А внизу в зале разгорелся новый спор. О Боже, там спорят, можно ли считать крепостного персоною. Для темных, невежественных дворян тут нет сомнений – крепостной для них личностью не является, а для дворян благомыслящих тут возникает сложность: если крепостной – «персона», значит, одна «персона» может продавать и покупать другую?

Лица Орлова я не вижу, но вижу лицо Екатерины, оно разгорается гневом: наконец она хватает какой-то листок и что-то на нем пишет. Вот эту записку я могу вам показать, она сохранилась.

«Естьли крепостного нельзя назвать персоною, след. он не человек; но его скотом извольте признавать, что не к малой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет. Все, что следует о рабе, есть следствие сего богоугодного положения и совершенно для скотины и скотиною делано» (еще до Фонвизина назвала она Скотининых по имени). Сколько же стыда и бешенства в этих строках – и сказал ли кто в XVIII столетии более гневные и страстные слова против самой сути крепостничества?

* * *

А указ 1767 года, возразят мне, позорный антикрестьянский указ, который запретил крепостным жаловаться на своих помещиков? Может ли быть более позорный образец двуличия? – та, что

провозгласила равенство людей перед законом, та, что говорила о невыносимом положении крепостных, закрыла для них единственный путь спасения, отказала им в единственной защите и помощи, на какую они могли надеяться! Чего после этого стоят весь ее Наказ и вся Уложенная Комиссия!

Действительно, 22 августа (как раз в тот день, когда в Большом собрании рассматривались крестьянские указы) Екатерина подписала указ, согласно которому крестьянам запрещено было обращаться к императрице с жалобами на их помещиков. Указ весьма неприятный, недаром сама Екатерина сочла нужным в своих Записках специально объясниться по этому поводу. Она говорит, что к началу царствования у нее было три секретаря, на каждого из них приходилось триста прошений в год. «Я стараюсь, колико возможно, удовлетворить просителей (это правда, сохранились даже судебные дела, подробно ею исследованные. — О. Ч.), сама принимала прошения, но сие вскоре пресеклось; понеже один праздник, идучи со всем штатом к обедне, просители пресекли мне путь, став полукружием на колени с письмами». Тут приступили к ней старшие сенаторы, говоря, что она слишком милостива, что законы запрещают подавать прошения самому государю. Действительно, при Алексее Михайловиче и при Петре обращения с жалобами непосредственно к царю были строго запрещены.

Челобитчики, на коленях преградившие путь Екатерине, когда та шла к обедне, были, конечно, всего лишь предлогом, у нее были куда более глубокие причины подписать подобный указ: она была в тисках. Ее работа над Наказом и в связи с Уложенной Комиссией, ее бурная энергия — все это отозвалось по всей стране. Дворянство было в тревоге: царица вела себя странно — то ставила коварные вопросы (нужна ли крестьянам собственность — какая может быть у них собственность, если вся земля дворянская?), то упоминала в Наказе о крестьянской свободе, то вдруг создала какой-то остров равенства, посадила дворянина рядом с мужиком. Уже раздавались вопли: нас хотят разорить! У нас хотят отнять наши деревни! Над ней, «незаконнорожденной» императрицей, нависла с этой стороны грозная опасность.

Но надвигалась на нее и другая: до крепостных крестьян дошли слухи о Наказе, о свободе, депутатские выборы всколыхнули всю

крепостную крестьянскую массу, тут и там возникали волнения, доходившие до стычек с властями, до убийства помещиков. Ей не оставалось ничего другого, как заявить на всю страну (и чтобы хорошенько расслышали оба лагеря), что она – дворянская царица, идущая след в след за Петром I. Конечно, указ был для нее унижением – недаром говорят, что она плакала, его подписывая, – но другого пути у нее не было.

И все-таки – как она могла? – этот вопрос не давал мне покоя. Неужели не жалела несчастных челобитчиков? К тому же она всегда придавала огромное значение тому, что будет о ней говорить «весь свет», – неужели не подумала, какое пятно ложится на ее имя в связи с этим указом?

И вдруг мне подумалось, что все мы совершенно не понимаем, в каком положении оказалась царица (мне даже опять как бы послышался ее голос: «Вас бы на мое место»). В самом деле, ведь она была в опасности, может быть, и смертельной. Самодержавная правительница России, она совершенно не принимала ее социально-политического строя, крепостнической его основы; может быть, и старалась это скрыть, но все время себя выдавала – то выходкой в Вольном экономическом обществе, то Наказом в его первой редакции, о котором, конечно, шли слухи, – можно ли себе представить, что Сумароков и другие, кому она давала читать Наказ, никому не рассказывали о своих разногласиях с императрицей? Быть этого не может.

А сама Уложенная Комиссия, где она усадила рядом вельможу с мужиком?

А Глазов? Глазов, которого она заставила публично просить прощения у оскорбленных им крестьян! Он ушел взбешенный, а между тем на его стороне тогда, возможно, было даже большинство дворянских депутатов.

А если взять по всей России – всех этих темных помещиков и помещиц, насквозь пропитанных сословной спесью, корыстью и насилием. И всю, эту буйную, переменчивую, непредсказуемую гвардию. Да прибавить сюда могущественную знать.

Против нее могучее дворянское сословие – все целиком! Да что она, в самом деле, о двух головах?

Однажды у них с Орловым был такой разговор.

– Освободятся крестьяне – и что будет? – спросил Орлов.

– А будет то, – ответила она, – что помещики успеют повесить меня прежде, чем освобожденные мною мужички прибегут меня спасать.

Веселая была шутка.

Ей нужно было быть предельно осторожной хотя бы до времени: тогда еще она верила, что в Уложенной Комиссии найдет среди дворянства единомышленников по отношению к крепостным крестьянам, а дворяне спорили, есть ли у них право продавать крепостных поодиночке, и нашелся депутат (Алфимов), который отстаивал это право, говорил: если дворянин беден, а продажа одного из крестьян может поправить его дела, он вполне вправе продать.

Не дразнить гусей. Хотя бы время от времени являться традиционной царицей, подтверждающей порядки, которые и без нее существовали.

Все эти рассуждения тем более убедительны, что указ, по поводу которого был поднят такой шум, повторю, вовсе не значил, что вообще крестьянам запрещалось жаловаться властям на их помещиков. Крестьянские жалобы принимали местные чиновники разных рангов; шли они и в канцелярии екатерининских фаворитов. Запрещалось подавать их непосредственно государю.

* * *

Нашему времени еще и потому так трудно понять Екатерину, что ее царствование совсем не исследовано серьезными историками, а до широкого читателя по большей части доходят общие оценки, которые более или менее подтверждены разрозненными примерами и, как правило, доведены до штампа, мало что общего имеющего с реальной жизнью.

Именно так произошло и с оценкой Наказа, равно как и самой Комиссии по созданию новых законов Российской империи. Нам предложена примерно такая схема: Екатерина начиталась писателей западноевропейского Просвещения, голова ее пошла кругом, ей показалось, что она в состоянии воплотить в жизнь великие идеи, но, быстро загоревшись, она еще быстрее остыла, а созданная ею

Комиссия, не создав ничего путного, пошумела и тут же умерла своей смертью.

Нам предлагают поверить, будто Наказ, провозгласивший принципы Просвещения и разработавший основы законодательства, выборы, прошедшие по всей России, депутатские наказы, которые по всей стране писали люди, заседания Большой комиссии с ее жаркими дебатами, работа частных комиссий и всего подсобного аппарата, груды документов, – что все это растаяло в воздухе, как и не было? Уже исходя из априорных соображений, можно сказать – так не бывает. Но у нас есть возможность на реальном историческом материале убедиться – такого и не было. Из трудов специалиста по екатерининскому времени О. А. Омельченко, подробно рассмотревшего историю Уложенной Комиссии на основании первоисточников, видно, что реальность не имеет ровным счетом ничего общего с предложенной нам картиной.

Как мы помним, работа в Уложенной Комиссии шла двумя путями – в Большом собрании (столь шумном) и в частных комиссиях (работающих тихо и незаметно); пока существовало Большое собрание, их роль была в основном подсобной. Ошибка историков, которые не вникли в проблему (не читали протоколов Комиссии – ни тех, что опубликованы в сборниках Российского исторического общества, ни тем более тех, что лежат в архивах, – и не знают специальной литературы вопроса), заключалась в том, что они занимались только Большим собранием, а когда оно было распущено, решили, будто с тем пришел конец и самой Уложенной Комиссии.

На самом деле работу по составлению проекта законов Российской империи целиком взяли на себя частные комиссии, которыми по-прежнему неустанно руководила императрица. И то была огромная работа.

В апреле 1768 года Екатерина написала «Начертание о проведении к окончанию Комиссии проекта нового Уложения», которое предписывало создать 12 новых частных комиссий, причем каждая из этих комиссий должна была подготовить соответствующую главу будущего свода законов.

«Правовые разработки частных комиссий, – пишет О. Омельченко (из работ которого и взят весь приведенный материал), – должны были

охватить все сферы законодательного регулирования государственной и общественной организаций и отвечали не только чисто прагматическому замыслу правовой практики, но и теоретической схеме будущего свода законов, как он виделся Екатерине II».

Начинался второй период Уложенной Комиссии – и ее новая жизнь. Вслед за екатерининским «Начертанием» тогда же, в 1768 году, Дирекционная комиссия составила «Наставление», где перед частными комиссиями ставились уже конкретные задачи. Некоторые комиссии получали указания от самой Екатерины, были «под собственным ее ведением», как, например, Комиссия о порядке государства, которая должна была законодательно утвердить принципы государственной организации и структуру государственного аппарата. Екатерина сама написала для нее план работы, названный «Три урока» (первый – выяснить «нынешнее состояние государства во всех одного частях», проанализировать систему государственных учреждений; второй – разработка нового административного деления; третий – разработка схемы государственного управления: определить полномочия и компетенцию правительственных учреждений, указать возможности реорганизации правительственного аппарата). Эта частная комиссия работала около четырех лет (1768–1771) и провела 248 заседаний.

Частная комиссия «о разделении разных жителей на роды», иначе говоря, занимающаяся сословным делением России, работала около пяти лет (1767–1771) – в ее обязанность входило определить сословия империи и законодательно оформить права каждого из них; то была совершенно новая задача для российского законодательства. Членам комиссии тут не на что было опереться, им пришлось углубиться в общие правовые проблемы, изучать иностранное законодательство, а также указы депутатов, выискивая в их требованиях и предложениях материал для составления соответствующего законодательства; предметом изучения депутатов, входящих в комиссию, были также проекты по правам сословий, представленные в Комиссию Уложения.

Был подготовлен проект, определяющий права дворянства, основными авторами его были Я. Брюс и Ф. Орлов (младший брат Григория). Проект этот был, так сказать, яростно дворянским, сюда был включен изданный Петром III указ о вольности дворянства (так до тех пор Екатериной и не подтвержденный), которому предоставлялось исключительное право владеть деревнями с крепостными

крестьянами. В числе судебных привилегий дворянства значился суд равных, освобождение под залог (взятое из английского законодательства).

Членами комиссии, которые занимались правами «среднего рода людей», были граф Э. Миних, князь И. Вяземский, С. Нарышкин, князь М. Щербатов, М. Степанов, все, кроме последнего, – высшая знать. Проект был окончен и представлен Дирекционной комиссии в феврале 1769 года. Впервые «сословие среднего рода людей» было определено, разделено на несколько категорий, а главное, впервые был определен его правовой статус – надо ли говорить, какую важность представлял этот законопроект для Екатерины, крайне заинтересованной в создании «третьего сословия», и как важен он был для социально-экономического развития России.

Проект этот обширен, в нем 13 глав и свыше 100 статей. «Средний род» российских жителей разделялся на следующие категории: I – «упражняющиеся в науках и службах»; сюда относились ученые, приказные, художники и, как ни странно, белое духовенство (поразительно: сословие, в европейских странах занимающее первенствующее положение, у Екатерины вовсе перестало быть самостоятельным и стало частью мещанства, что, впрочем, в правовом отношении было логично, поскольку священники, как и чиновничество, получали от государства жалованье); II – «торгующие» (купцы, заводчики и фабриканты, судовладельцы и мореплаватели); III – прочие (ремесленники, просто мещане). Права этих трех категорий были более или менее одинаковы.

Жители империи, принадлежащие к «среднему роду», пользовались всей полнотой государственных прав; жизнь, безопасность и имение их охранялись законом, они имели право на судебную охрану личности, на неприкосновенность до судебного разбирательства, на защиту в суде и на свой внутрисословный суд; запрещено было переводить их в крепостное состояние. У них было также право неограниченной наследственной собственности, право владеть промышленными заведениями, банками и т. д. Вожде ленного права владеть крепостными «средний род» не получил.

Проект был весьма существенным новшеством в российском праве. Он резко выделял третье сословие из остальной недворянской

массы, обеспечивал ему не только точно очерченный статус, но и весьма существенные привилегии.

Все авторы, писавшие о Екатерине, относят ее к представителям просвещенного абсолютизма. Но екатерининский абсолютизм был особым: обычно при этом политическом строе у центральной власти двойная опора – дворянство и третье сословие (горожане, ремесленники, предприниматели и торговцы). Наличие этих двух опор и дает монарху возможность некой устойчивой независимости. Екатерининский абсолютизм стоял на одной ноге (не было у него опоры на третьем сословии), она отлично это понимала и старалась всеми силами, чтобы он обрел вторую. Создание «среднего рода людей» было ее вечной заботой (об этом она говорит не раз, в частности в переписке с зарубежными корреспондентами), ее ясно осознанной целью.

Когда в 80-х годах Екатерина начала составление «Жалованной грамоты городам» – следующий важный шаг в процессе оформления третьего сословия, – она пользовалась огромным подсобным материалом: тут и предшествующие российские законы, цеховые уставы, указы о правах купцов, иностранное законодательство (шведский цеховой устав, прусский ремесленный устав, Магдебургское право и т. д.). В эту ее работу влился огромный труд Уложенной Комиссии, проекты и разработки частных комиссий, депутатские наказы; по требованию императрицы частные комиссии представляли ей те или иные из них целиком или экстракты из группы наказов.

Кипа ее собственноручных черновиков свидетельствует, что всю основную работу по составлению этих важнейших документов вела она сама.

Разумеется, в своем законотворчестве Комиссия Уложения не могла не заняться созданием новой единой судебной системы. «Комиссия о правосудии вообще» работала над этой проблемой в 1768–1769 годах и создала «Проект о судебных местах», соответствующий не только общим принципам Наказа, но и тем вопросам, которые Екатерина поставила в своем «Начертании»; в большой степени были тут учтены и требования депутатов. Проект предлагал установить: духовный суд (дела веры и церкви); уголовный, гражданский и полицейский (все три суда должны были существовать

в двух вариантах – земском и городском); а также «отраслевые» суды (торговый, цеховой и т. д.); земские и городские суды должны были быть выборными.

Все эти судебные учреждения были объединены в единую систему инстанций от местного суда до Сената как высшей апелляционной инстанции – эта разработка будет иметь большое значение для губернской реформы 1775 года.

«Комиссия о правосудии вообще» разработала основы уголовного права, во многом новые, – и это обновленное уголовное право будет использовано не только в законодательстве Екатерины 80-х годов, но и в кодексах начала XIX века.

Система полицейской деятельности была разработана Комиссией благочиния, которая работала в 1768–1769 годах и собиралась 327 раз. Согласно ее проекту, обязанности хранителей общественного порядка были весьма разнообразны – от тушения пожаров и борьбы с разбоем до контроля за качеством съестных продуктов на рынке; от чистоты города, его реки, его воды до содержания трактиров. Этот проект лег в основу полицейского законодательства Екатерины в 80-х годах.

В настоящей книге нет возможности рассмотреть все те области, в которых работали частные комиссии после того, как было распущено Большое собрание, и все же необходимо остановиться еще на одной области права – той самой; которая непосредственно регулирует живую повседневную жизнь. Проблемы брака, семьи, опеки и прочих личных отношений занималась «Комиссия о разных установлениях, касающихся до лиц», созданная согласно екатерининскому «Начертанию». Проект Комиссии был явным вторжением нового времени в древний семейный уклад, более или менее близкий Домострою. Если до тех пор брак рассматривался только как церковное таинство и тем самым входил в область церковного права, то в проекте, составленном частной комиссией, он трактовался еще и как союз двоих, построенный на основе гражданского обязательства, – это действительно было новостью! Вмешательство церкви и даже самого государства было тут сильно ограничено. «Комиссия отказалась вторгаться в регулирование неправовых внутрисемейных отношений морального свойства, – пишет О. Омельченко, – максимально исключила применение мер

государственного принуждения за неисполнение семейных или родительских обязанностей».

Если раньше родительская власть практически была безгранична, то теперь ей были положены пределы; раньше существовали только родительские права, теперь возникли и родительские обязанности. Родители имели право лишить детей наследства, но лишь в случаях, предусмотренных законом; они сохранили права телесных наказаний, но «не преступая человечности». Был разрешен развод, причем судьбу детей – с кем они остаются и как обеспечиваются – решал суд.

Крепостному, чтобы вступить в брак, по-прежнему требовалось разрешение помещика, но зато запрещались принудительные браки.

Важное значение приобрел вопрос об опеке. Предполагалось создать специальные органы опеки, они должны были устанавливать опеку над несовершеннолетними, над умалишенными. Но и тут было существенное новшество: опеке подлежали помещики, уличенные в жестоком обращении с им «подвластными». «Проект представлял собой едва ли не самое большое новшество в истории кодификации за весь период абсолютной монархии», – полагает О. Омельченко.

Он вообще дает чрезвычайно высокую оценку деятельности Уложенной Комиссии, которая, по его мнению, сыграла в становлении российского законодательства исключительно важную роль; она выполнила свою основную задачу, «разработав структуру будущего государственного свода законов и большинство конкретных законопроектов, которые предполагалось в него включить. Содержание этих законопроектов оказало прямое влияние на последующие законодательные мероприятия правительства Екатерины II и заложило фундамент последующего развития права в России, вплоть до первой четверти XIX века». В крайне сухой тон изложения вдруг прокрадывается даже некий оттенок восхищения, когда автор говорит, что по ряду моментов («по характеру обобщенности изложения правовой нормы, по сочетанию в законе традиционного права и реформаторского правотворчества, по уровню систематизации норм и разработке отдельных областей права») кодификационная работа, проделанная Екатериной, осталась непревзойденной на протяжении всей первой половины XIX века. Автор полагает, что акты, созданные юристами екатерининской поры, «сохранили свою силу надолго», став

основой всего правового здания – вплоть до великих реформ середины XIX века.

И даже саму Екатерину он хоть сквозь зубы, но все же хвалит, называя «крупнейшим идеологом и практиком российского «просвещенного абсолютизма» (который, как всегда, у автора в кавычках). Правда, в ходе изложения все-таки порой создается впечатление, будто это не Екатерина работала, а через нее действовали некие безликие законы все того же «просвещенного абсолютизма», но все же истинную роль Екатерины во всей этой правовой деятельности он показывает честно.

Так почему же эта работа ее никому не известна? Почему историки так нагло обобрали Екатерину II – этот вопрос встает едва ли не на каждом шагу.

О. Омельченко считает программу Екатерины, какой она рисуется в ее законопроектах и законах, консервативной, позднефеодальной, но не надо забывать, что со времен Уложения царя Алексея Михайловича ни один правитель законодательством не занимался. Петр I, прекрасно знавший, в каком состоянии находятся российские законы, не смог их даже просто как-то систематизировать, согласовать их со старым Уложением, Екатерине приходилось кодифицировать то, что давным-давно должно было быть кодифицировано, иначе говоря, она работала и за Петра, и за его преемников.

Значение Уложенной Комиссии, начиная с подготовительной работы (выбор депутатов, депутатские наказы и т. д., а также заседания Большого собрания), невозможно переоценить: движение, шедшее по всей стране, – да еще от трона! – должно было ее всколыхнуть. Когда пятьсот депутатов разъехались по России – независимые, у каждого в петлице на цепочке золотой жетон, – они, не раз слышавшие Наказ царицы, видевшие ее самоё, слышавшие выступления и вельмож, и крестьян, не могли не рассказывать об этом десятки раз тем, кто их окружал.

То был не только общественный шум, но и некий очищающий ветер. Не следует забывать и тех, кто, как Н. Новиков, работал в Комиссии секретарем, «сочинителем», переводчиком или писцом, – они тоже вдыхали воздух перемен.

Работа Уложенной Комиссии после закрытия Большого собрания важна для нас еще в одном отношении: ведь, по существу, мы присутствуем при рождении того профессионализма, который был совершенно чужд чиновникам старого административного аппарата (об этом мы еще будем говорить). Можно предположить с уверенностью, что депутаты, работавшие в частных комиссиях, екатерининские статс-секретари И. Елагин или С. Козицкий, родовитые князья А. Вяземский, М. Щербатов, новые дворяне, такие, как Ф. Орлов, – что любой из них, начиная работать в Комиссии Уложения, ничего не знал о законотворчестве, равно как и о предметах, которыми им предстояло заниматься. Но члены Комиссии работали вместе, были сплочены и возглавлены самой императрицей. И впряглись они, потащили воз, перелопатили гору юридических материалов, будь то Уложение Алексея Михайловича, петровские законы или иностранное законодательство разных времен. В их обязанности входило изучение депутатских наказов – они их изучали. Им помогали консультанты? Да, но их было очень мало, приходилось самообразовываться в ходе работы. Во всяком случае, им удалось из огромного и разношерстного материала создать правовую материю, которая стала необходимой прочностью для будущих законов Российской империи. С какой беззаветной преданностью готовы были работать эти дворяне (которых мы считали бездельниками и тунеядцами) на благо страны – ведь никакого другого мотива, если не считать честолюбия (которое они тогда все еще производили от слова «честь»), у них не было. Они вовсе нам незнакомы, эти наши предки.

Уложенная Комиссия как огромный университет! – разве это для нас не новость? Но ведь и сама Екатерина в ходе этой огромной работы стала профессионалом, законодателем европейского уровня.

* * *

Поздняя осень 1768 года. Красная площадь, на ней эшафот, на эшафоте столб, к столбу прикована женщина; она молода, но сейчас этого не видно – годы тюрьмы состарили ее. Она как в пламени горит, но пламени нет, только эшафот и столб. На шее ее висит бумага, где

огромными буквами написано: «Мучительница и душегубица». Вокруг нее толпа, которая смотрит на нее во все глаза.

Это Салтычиха.

Дарья Николаевна, Салтыкова по мужу, овдовела в 25 лет и стала полной хозяйкой владений (расположенных в нынешнем Теплом Стане и Конькове). Дурная слава шла о ней, страшные дела происходили в ее имениях. Говорили, уродует она своих людей, особенно женщин, иные из них и вовсе пропадают, где-то в земле закопанные. Не раз крестьяне подавали на нее жалобы, бывали возбуждены дела, но следствие прекращалось, а Салтыкова, смеясь, говорила, что у нее всюду заплачено, что «ей всегда поверят», а жалобщики все равно становятся ей известны, — и в самом деле, тех, кто жаловался, ждала страшная судьба. Была ли Салтыкова психически больна или просто одичала от вседозволенности, но оказалась она сущим зверем, охочим до мучительства и крови. Шесть лет пытались ее крестьяне найти защиту, и только с восшествием на престол Екатерины были наконец услышаны (лучшее доказательство того, что при ней крестьяне могли жаловаться на своих помещиков). Она поручила это дело Юстиц-коллегии, которая заявила: подозрения против этой помещицы столь основательны, что ее необходимо пытаться.

Вот был случай Екатерине проверить крепость своих юридических принципов, и нельзя сказать, чтобы она была тут вполне последовательна — поскольку велела объявить Дарье: если не признается, ее будут пытаться (угроза ведь тоже форма пытки). Но далее все пошло именно по тому пути, о котором говорено в Наказе: был проведен ряд обысков, крестьяне показывали места, там копали землю, находили мертвых. Подняты были дела, возбужденные по крестьянским жалобам и закрытые с помощью взяток. Крестьяне говорили, что их помещица убила 75 человек. Юстиц-коллегия предъявила обвинение в убийстве тридцати восьми (пытка, как и говорила в Наказе Екатерина, не понадобилась). И последовал указ императрицы, в котором предписывалось лишить Салтыкову не только дворянского звания, но также и принадлежности к обоим родам, и по отцу и по мужу (может быть, это было сделано в угоду сильным Салтыковым, чтобы их фамилия не прозвучала на площади у позорного столба?). Любопытно, что на кладбище Донского монастыря, где хоронили дворян этого рода, есть могила, которая

официально названа могилой Салтычихи. Если тут нет ошибки, значит, дворянский род этот, несмотря на то, что Дарья была сущим зверем, и также на то, что царица лишила ее дворянства и даже фамилии с отчеством, все-таки считал ее своей?

И вот теперь она стояла у позорного столба с надписью, которую могли видеть собравшиеся, а народу должно было собраться немало, потому что день ее публичного позора был заранее объявлен жителям города. А если учесть, что весть о злодействах Салтычихи разошлась широко, нетрудно предположить, что и окрестные крестьяне пришли посмотреть на изверга. После того как она выстоит на этом «поносительном зрелище», ее предписывалось, «заклуча в железа», отправить в один из близстоящих монастырей (им оказался Ивановский, его заново отстроенные в 1860-е годы здания и сейчас можно видеть) и там «посадить в нарочно сделанную подземельную тюрьму, в которой по смерти ее содержать таким образом, чтобы она ниоткуда света не имела. Пищу ей обыкновенную старческую (то есть монашескую) подавать туда со свечою, которую опять у ней гасить, как скоро наестся». Помещица, выставленная к позорному столбу! – Екатерина еще раз напоминала Глазовым, что они не безнаказанны.

Итак, Большое собрание было распущено, значит ли это, что с тех пор императрица работала в тишине и больше шума не поднимала? Подняла, да еще какой!

* * *

Екатерина открыла новую область общественной жизни – журналистику с ее дебатами. Началось это так: в 1769 году она основала свой журнал «Всякая всячина», который начинался мажорным, ликующим поздравлением с Новым годом:

«О год, которому прошедшее и будущее завидовать будут, если чувства имеют! Каждая неделя увидит лист; каждый день приготовит оный. Но что я говорю? Мой дух восхищен до третьего неба: я вижу будущее».

Вот в каком состоянии духа пребывает императрица и объясняет почему: «Я вижу бесконечное племя Всякой всячины. И вижу, что за

нею последуют законные и незаконные дети».

Вот откуда ликование – она открывает новую эру, эру журналистики. Племя действительно тотчас принялось расти, появились печатные дети, внуки и правнуки «Всякой всячины», и самое любопытное в том, что все они кинулись на свою прародительницу, редактируемую Екатериной. Началась острая полемика, оживленная перебранка между ней и довольно большой группой русской интеллигенции.

Полемика журналов с царицей удивительна прежде всего по форме. Поскольку «Всякая всячина» неосторожно назвала себя родоначальницей и бабушкой остальных журналов, эти последние воспользовались образом, и притом весьма бесцеремонно. «Что же до бабушки принадлежит, – пишет журнал «Ни то, ни се», – то она извинительна потому, что выжила уже из лет и много забывается». Образ бестолковой старухи (кстати, не очень учтивый: хотя бабушка и метафорическая, но Екатерине все же сорок, по тем временам действительно немолода, а если учесть, что выдавали замуж и в 13 лет, – действительно бабушка) то и дело возникает на журнальных страницах, новиковский «Трутень» дошел до такой дерзости, что заявил, будто «госпожа Всякая всячина на русском языке изъясняться не может» (если Новиков действительно метил в Екатерину, немку, то насмешка его несправедлива – она понимала и любила русскую культуру, русский язык, русскую историю).

Русские просветители хорошо знали, с кем спорят, знали, что за Екатериной стояли, в конце концов, и Тайная экспедиция, и крепость, и Сибирь, – но выступали с отвагой. Так, например, «Смесь» задается вопросом, почему «Всякая всячина» так хвалима, и отвечает: «Во-первых, потому, что многие похвалы она сама себе сплетает, потом по причине той, что разгласила, что в ее собрании многие знатные господа находятся... Но правда ли то или нет, нам того знать не нужно, и мы судить должны то, что видим. Если и Великий Могол напишет, что снег черен, а уголь бел, то я ему не поверю». Ясно, что журналисты не помнят ни про крепость, ни про Сибирь – и в этом, конечно, огромная заслуга нашего «Великого Могола» и ею созданной атмосферы веселой свободы. Кстати, в развернувшейся ожесточенной полемике обе стороны то и дело апеллируют к публике, то есть к общественному мнению. Но нам, разумеется, всего важнее суть спора

Екатерины с интеллигенцией. Увидев, что вызванные ею к жизни журналы сразу же пошли по линии социальной критики, она принялась выступать против резкостей вообще, призывая отложить «все домашние распри» и быть помягче. Так, в одном из номеров «Всякой всячины» царица говорит о некоем А., приславшем в журнал желчное письмо, и советует автору быть снисходительней к человеческим слабостям, потому что «кто только видит пороки, не имея любви, тот не способен подавать наставления другому». Согласитесь, мысль дельная.

«Мы и того умолчать не можем, – продолжает она, – что большая часть материй, в его длинном письме включенных, не есть нашего департамента. Итак, просим господина А. впредь подобными присылками не трудиться; наш полет по земле, а не по воздуху; сверх того мы не любим меланхолических писем».

Уж автором этих слов наверняка была Екатерина, и Новиков славно ответил ей в своем «Трутне»: «Многие слабой совести люди никогда не упоминают имя порока, не прибавив к оному человеколюбия. Они говорят, что слабости человекам обыкновенны и что должно оные прикрывать человеколюбием; следовательно, они порокам сшили из человеколюбия кафтан... По моему мнению, больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки, нежели тот, который оным нисходит или (сказать по-русски) потакает. Я хотел бы сие письмо послать госпоже вашей прабабке, но она меланхолических писем читать не любит, а в сем письме, я думаю, она ничего такого не найдет, от чего бы у нее от смеха три дня бока болеть могли».

Как было Екатерине стерпеть такое? Нет, конечно, она тотчас откликнулась: «На ругательства, напечатанные в Трутне под пятым отделением, мы ответствовать не хотим, уничтожая (то есть презирая. – *О. Ч.*) оные; а только наскоро дадим приметить, что господин Правдумыслов (от имени этого выдуманного персонажа писал Новиков. – *О. Ч.*) нас называет криводушниками и потатчиками пороков для того, что мы сказали, что имеем человеколюбие и снисхождение к человеческим слабостям и что есть разница между пороками и слабостями. Господин Правдумыслов не догадался, что, исключая снисхождение, он истребляет милосердие. Думать надобно, что ему бы хотелось за все да про все кнутом сечь. Как бы то ни было, отдавая его публике на суд, мы советуем ему лечиться, дабы черные

пары и желчь не оказывались даже на бумаге, до коей он дотрагивается. Нам его меланхолия не досадна; но ему несносно и то, что мы лучше любим смеяться, нежели плакать».

Конечно, разговор шел о важном.

Мы видим: Екатерина призывает к терпимости (не обязательно «за все да про все кнутом сечь») и высказывает серьезную мысль: «кто только видит пороки, не имея любви, тот неспособен подавать наставления другому». Она прямо ставит вопрос о личной ответственности. «Причина неправоудия, – говорит она, – может быть и в плохих законах и в неправедных судьях, но главное – в нас самих». «Не замай всяк спросить сам у себя, более ли он вчерась или сегодня сделал справедливых или несправедливых заключений? Из всего сказанного выходит, что нигде больше несправедливости и неправоудия нет, как в нас самих».

Нравственное исправление невозможно осуществить, не начав с самого себя, – это мысль глубокая. Отвечала ли сама Екатерина требованиям, которые выдвигала, начинала ли она с себя? Это очень сложный вопрос. Не рожден ли ее призыв к терпимости (любопытно, что она учит терпимости одного из самых мягких и сострадательных людей своего времени) стремлением, чтобы оставили в покое, не трогали, не обличали людей, с которыми ей работать, на которых ей опираться? А тут уж стали возможны и казенно-равнодушное «не есть нашего департамента», и совсем уж неприятное: «мы не любим меланхолических писем». Дурной знак: с годами все больше развивался в ней этот оптимизм, эта бодрость, основанная на стремлении не видеть беды, на легком самоуспокоении, – мол, делаю, что могу.

Но ведь она, кстати сказать, действительно делала, что могла.

Новиков имел право отчитать царицу с ее концепцией – его собственная позиция глубока, полна любви и сострадания к народу, отсюда и его сатира, полная горечи, отсюда и его высокий гнев. Но прав ли он, когда говорит о Екатерине «слабой совести люди»? «Душа слабая и гибкая» – разве это о ней? У Екатерины была сильная душа, но действительно – гибкая, только была ли это гибкость приспособления или гибкость понимания?

Екатерина тоже бичевала пороки, из которых главными для нее были корысть и дух властвования. «Наравне быть не умеют, и от того

уже родиться может зависть, угнетение, когда есть возможность, несправедливости всякие, насильствие и, наконец, мучительства». «Наравне быть не умеют», тут она всего вернее имеет в виду неумение людей делать то дело, которому они назначены их положением в обществе. Она бичевала пороки вообще, Новиков хотел их персонифицировать – и сделал это в личности самой императрицы, утверждая, например, что «Всякую всячину» только потому и читают, что людям хочется посмеяться над ее издателем».

Эту замечательную перебранку царицы с интеллигенцией (откуда она вдруг взялась такая смелая?) можно цитировать страницами – не соскучишься. Разумеется, в связи с этой журнальной полемикой в исторической литературе нагромождено немало передержек и прямой лжи. Тут вы найдете утверждение, будто Екатерина закрыла новорожденные журналы за их критику – на самом деле, когда прекратила существование задорная «Всякая всячина», как-то сами собой угасли и журналы, но на их месте возникли другие. Создана была легенда о том, будто преследования Новикова (о них речь впереди) начались в связи с этой журнальной полемикой, что именно общественная позиция просветителя привела его в крепость (это уже 90-е годы). На самом деле Новиков (напомним, он работал в подсобном штате Уложенной Комиссии) пользовался поддержкой императрицы; когда он создавал свою знаменитую тогда многотомную «Вифлиотеку», Екатерина дала ему возможность работать в своем архиве, пользоваться ее собственным собранием рукописей (а у нее оно было богатейшее, годами собиравшееся) и оказала немалую денежную помощь.

Именно в то самое время, когда Екатерина подняла этот новый шум, ее скульптурный портрет сделала замечательная художница Мари-Анн Колло, известная нам тем, что была автором головы фальконетовского Медного всадника, но заслуживающая, конечно, куда большей славы: художница замечательная.

Мраморный барельеф Екатерины (он висит сейчас в одной из комнат Екатерининского дворца в Царском Селе), оправленный в круг из темно-синего лазурита, являет собой удивительно пластичную и артистическую вещь. Екатерина тут не приукрашена, тот же знакомый нам небольшой, чуть вдавленный рот, та же сильная челюсть, и лицо

уже чуть отяжелевшее. Но сколько энергии и взлета в движении головы, сколько жизненной силы и веселья! – кажется, что сама художница покорена воспроизведенным ею обаянием.

Такой была Екатерина в первое – великолепное – десятилетие своего царствования.

Глава шестая

Глухая чащоба. Темнеет. Слышен рев водопада. На лодках не спустишься, его спутники и без водопада опрокинулись, их било о камни, их еле спасли. Теперь все они на конях, продираются сквозь кустарник, обходят стволы и коряги; его люди тащат лодки волоком. А потом они опять поплывут по крутой воде, опять станут объезжать верхом стремнины, тянуть волоком лодки.

Это новгородский губернатор Сиверс впервые осматривает свою губернию. Ему тридцать три, он человек огромной власти, его губерния самая большая в империи, граничит с Польшей, Финляндией, Швецией, достигает до Белого моря.

Он отправился сюда от государыни, прямо из дворца.

Назначение на столь высокую должность было для Сиверса неожиданным, к ней рвались многие (статс-секретарь сказал ему, было более тридцати кандидатов), но государыня выбрала его. До тех пор он ее только изредка видел, а теперь к ней уже привык: ему было дано двадцать аудиенций, которые и аудиенциями-то не назовешь, каждая была по несколько часов, они сидели за двумя столиками лицом друг к другу. Первое дело – составить карту губернии, говорила Екатерина, второе – статистика губернии. Он-то все это хорошо понимал, прошел хорошую выучку за время своей службы в Англии, а вот откуда все это так хорошо знает она, никогда никуда не выезжавшая?

Они говорили о земле, о населении, о лесах, о строительстве городов. Но самое главное сейчас, говорила царица, – водные пути. Сиверс и сам это отлично понимал: через его губернию проходит главный водный путь, по которому на север идут товары, он, как доносят, в худом состоянии, надо его поправлять.

И вот он здесь. Недавно шел анфиладой дворцовых покоев по сверкающему паркету – а тут кони еле тянут копыта из болотной грязи.

Чтобы понять, что такое Яков Сиверс, знаменитый новгородский губернатор, нужно представить себе тот чиновный мир, что достался Екатерине в наследство, не столько его структуру, сколько самосознание – каким ощущал себя его представитель и как понимал свои обязанности. Мы можем заглянуть в этот мир, в нашем

распоряжении замечательный исторический источник – свидетельство мемуариста, который был в самой глубине чиновничьего аппарата, осознавал его смысл, потому что был не только умнейшим человеком, но еще и поэтом. Это князь И. М. Долгоруков; его род был одним из самых знатных и могущественных в России и самых разветвленных; одна его ветвь была сломлена при императрице Анне (казнь князей Долгоруковых под Новгородом была одной из самых лютых), их земли были конфискованы. Юноша, чрезвычайно даровитый (и, как мы увидим, очень привлекательный), должен был служить.

Молодой князь Долгоруков (его за толстую нижнюю губу в свете прозвали «балконом»); он сам говорил о своей внешности, одновременно и жалуясь и посмеиваясь: «Натура маску мне прескверну отпустила, а нижнюю челюсть так запасно отпустила, что можно из нее, по нужде, так сказать, в убыток не входя, другому две стачать») жил в Москве. Сперва он получил место секретаря в канцелярии своего однофамильца и покровителя В. М. Долгорукова-Крымского. «Разумеется, что я был секретарем только по названию, – пишет И. М. Долгоруков, – и продолжал числиться при канцелярии».

Любопытно, что подобное положение дел молодого князя уже не устраивало, он хотел служить и приносить пользу отечеству. «Я не хотел просто носить звание и не исправлять его; стыдился упреков своей братии, что или я ленив и ничего не делаю, или не имею к назначению своему способности. – Однажды я решительно доложил князю, что я хочу трудиться и чтобы он приказал на меня возложить всю тяжесть секретарской должности. – Князь улыбнулся моему рьяному приступу, позвал Попова (управителя канцелярии. – О. Ч.) и приказал употребить меня по способности. Попов из насмешки княжой угадал, что он хочет сыграть со мной шутку и самолюбивый порыв мой понизить, тотчас позвал меня в канцелярию, и, положив передо мной до сту пакетов в разные полки и места, приказал надписать на них адреса. Стыд мой увеличился. Я увидел, что я осмеян, и, исполнив сквозь слезы поручение Попова, за счастье счел и милость, что более уж меня к такому пустому труду не призывали, и остался спокоен дома на прежней ноге. Т. е. надевал по воскресеньям шарф, являлся к князю, и от него по праздникам ежжол с поздравлениями к знатнейшим старушкам в городе, а по табельным дням у кареты его Сиятельства на смирной лошадке сопровождал его в

собор к молебну; хоть не пышна была моя служба, но зато как бывал я рад и доволен собою, когда рыженький мой клепер станет прыгать в полкурбета, и я на Красной площади, под барабанный бой, задорю его шпорами и гляжу по сторонам на чернь, изумленную моей храбростью, – Аннибал не так был горд под стенами Рима».

Юного дворянина сознательно отвадили от полезного дела, его живой порыв – работать – был беспощадно высмеян, а пустопорожнее препровождение времени признано не только естественным, но и похвальным.

Здесь столкнулись два чиновничьих мировоззрения: новое, связанное с сознанием некоего гражданского долга, уже распространенное (юный князь стыдится возможных «упреков своей братии», значит, сознание того, что работать надо и что это похвально, уже вкоренилось в юные дворянские головы), и старое, связанное с идеей «кормления», когда для должностного лица главным был доход, получаемый от занимаемой должности путем поборов, – «боярская» точка зрения на государственную службу, поскольку Долгоруков-Крымский, по свидетельству того же И. Долгорукова, «из редкого числа тех столпов бояр, коими славится доныне век Петра I и его предшественников».

Но приглядимся поближе к самому князю Ивану Долгорукову, тем более что он был моделью Левицкого. В то время, когда его писал Левицкий, юный князь Иван уже расстался с Москвой, расстался, кстати, горько плача («Отъезд был решителен, и слезы мои отвести его не могли – я плакал, – а меня сажали в повозку, и матушка не имела сил со мной проститься») – не один молодой дворянин так уезжал из родного гнезда), и прибыл в новую столицу. «Петербург очаровал мою голову, – пишет Долгоруков, – но не пленил моего сердца. – На другой день моего приезда я смотрел с изумлением, но все жалел о Москве... Батюшка повез меня с собой во дворец. – Тут у меня глаза разбрелись так, что я не мог сладить с моими мыслями. Все мне было в диковинку, все казалось бесподобным. – Батюшка представил меня моим родным петербургским и знатным тамошним господам. Все на меня глядели, как на мальчишку, и мне досадно было, для чего все не дивятся мне, как и я всему?.. Между молодежью я был неловок, да и застенчив, и мало получил успеха в большом свете. Скромность уже переставала становиться добродетелью в молодом человеке, и хотя не почиталась

наглость за достоинство, однако такой робкий мальчик, как я, был похож на красную девушку, нежели на существо другого пола. Батюшка, желая мне доставить всякие удовольствия, тотчас снабдить меня изволил модною гардеробой. – Появились на мне фраки, шитые славным тогдашним портным Векером; купили мне лорнет, ибо он был отличительным знаком лучшего тона; дали мне карету, кошелек с деньгами и начали меня брить. – Позволено нюхать табак». Но самое главное заключалось в том, что юного князя впихнули в гвардию – удалось это потому, что его двоюродный брат граф Скавронский женился на Екатерине Энгельгардт, «племяннице и любовнице князя Потемкина», которая «несла в приданое за собой жениху милости дяди», именно благодаря этим милостям и наш князь Иван попал в гвардейский Семеновский полк.

«Мундир с галуном, шарф через плечо и знак на голубой ленте были такие для меня обновы, что никакие детские игрушки с ними соперничества выдержать не могли» – именно в этом мундире гвардейского Семеновского полка он и изображен на портрете Левицкого.

Пребывание в гвардии означало близость ко двору, а с тем возможность самой заманчивой карьеры, и отец повез Ивана в Царское Село, где жила Екатерина и с ней Потемкин, – благодарить. Они были представлены князю и его племяннице, «и перед ними, как перед святыми иконами земного Бога, клали униженные поклоны за исходатайственную милость».

Портрет юного князя Ивана замечателен своей свежестью, художник разглядел душевное состояние своей модели. Молодой Долгоруков полон любопытства к жизни и некоторой растерянности перед ней; в нем застенчивость и мягкость домашнего мальчика, недавно (с плачем) увезенного из родного гнезда, и готовность вступить в жизнь. Неустойчивость душевного состояния, колеблющегося между робостью и отвагой, точно передана художником (кстати, долгоруковский «балкон» художник несколько «вдвинул обратно»).

Но и служба в гвардии работой не была. «Обязанности службы обычные состояли в том, чтобы ходить на караул в одни только Императорские дома и держать дежурство по полку. – Прочее время все оставалось нам на наше удовольствие и забавы».

Долгоруков и позднее рвался к государственной службе и, как и другие дворяне его времени, на любую очистившуюся «вакацию». Сперва он претендует на место директора Московского университета, потом — члена земского суда; когда и это не вышло, он написал Екатерине возвышенно-слезное письмо, которое подействовало незамедлительно, и он, к своему восторгу, получил вдруг место пензенского вице-губернатора.

Со всех сторон князю летят поздравления, и никому из поздравляющих не приходит в голову, сможет ли этот молодой человек (ему двадцать семь), занятый до сих пор главным образом «благородными» спектаклями и бесчисленными романами, занять административную должность, тем более сложную, что в ведении вице-губернаторов находились финансы губернии (в распоряжении Долгорукова должно было быть «миллион с лишком казенного дохода»).

Сам Долгоруков «ревновал оправдать» милость императрицы, однако не знал, как приняться за дело, «не имея о нем никакого понятия»; между тем он уже нажил себе «тяжеловесных злодеев», тех, кто метил на это доходное и почетное место.

И вот мы присутствуем при том, как князь Иван вступал в должность. «В назначенный час, — пишет он, — выехал я в палату и сел в Президентские кресла. После старика почтенного, который занимал их, все служители глядели на меня, как на дитя в колясочке: живость моя, тонкий стан и молодость лица не соответствовали ни покрою, ни величине, ни убранству этих старинных кресел, на которых подагрик с отвислым зобом гораздо бы казался меня величавее, но я перекрестился, сел, и пред мной выложили столь много тетрадей, что из-за них не видать было ничего, кроме широкой моей губы, которая придавала мне несколько сановитости».

Тем не менее молодой князь энергично взялся за дело. Он решил «блюсти целостность царских доходов» во что бы то ни стало, «щадить и миловать подчиненных ему казенных крестьян» и главное — управлять самому, «без наушников и секретарей, сих нежных соблазнитель всякой власти», и не попасть, таким образом, в зависимость от правителей канцелярий. «Всех сих пропастей я тщательно избегал, — пишет он, — слушал много, верил мало и делал то, что сам на свой безмен находил справедливым». Между тем Казенная палата, которую

он возглавлял, являла собой всякую смесь: «морские офицеры, поповичи, камер-лакеи, немцы и даже один в шестьдесят лет надворный советник, не учившийся грамоте; подьячий водил его руку по бумаге, которую по форме доводилось ему подписывать... Тяжелы для меня были первые месяцы; едва не ослеп я за бумагою, не мал подлежал мне и подвиг, оправдать монаршую милость и показать свету, что я умею не одни комедии играть».

Но, конечно, в своих благородных намерениях он тут же столкнулся с чиновничьей массой, всеми этими секретарями и правителями кацеляций, да вскоре затем и с самим губернатором. В конце концов мы начинаем замечать, что в воспоминаниях Долгорукова труды его описываются как-то отвлеченно, в то время как «бумажные раздоры» и «письменные добрые битвы» изложены на удивление подробно и конкретно. Скоро он занялся любимым делом: стали они «рубить театр, писать кулисы, сводить труппу актеров и ну играть комедии». Но, увы, молодого Долгорукова тянуло не только к театру – женщины, вот что было его второй и не менее сильной страстью. Она-то и привела его к «пропасти».

А пропасть означала, что на четвертом году службы Долгорукова в Пензе муж женщины, за которой тот ухаживал, будучи взбешен и нетрезв, настиг на улице нашего вице-губернатора и ударил его палкой по затылку. С карьерой князя Долгорукова было покончено.

Надо ли доказывать, что в той чиновничьей иерархии, которую представил нам И. М. Долгоруков, Екатерине не нужен был никто. Ей были надобны люди совсем иного толка.

«Разумовский был из певчих, Сиверс был из лакеев», – сказала она однажды своему статс-секретарю. Полагаю, что в этом ее замечании не было осуждения – лишь простая констатация. Разумовскому она симпатизировала (помните, как они, обнявшись, в голос завывали в день смерти Елизаветы) и уважала его. Карл Сиверс, которого она упоминает, – это тот самый, под чьими юбками она однажды барахталась на елизаветинском балу.

Он был выходец из Эстляндии и действительно служил камердинером у барона Тизенгаузена, но, попав в Петербург, сделал огромную карьеру, тем более что был красив (число красавцев в нашей книге, равно как и в российской истории XVIII века, объясняется,

конечно, тем, что почти весь этот век на престоле были женщины). Своего племянника Якова Сиверса, будущего губернатора, он взял к себе в Петербург, а потом послал его в Англию, где тот работал в российском посольстве целых семь лет. Англия очень много дала Якову Сиверсу, он изучал экономику, другие науки, а главное – он жил в стране «свободнорожденных бриттов», видел английский парламент, был знаком с английским правом. В Семилетнюю войну он был участником многих сражений и дослужился до полковника. Потом побывал в Италии, где в него, кстати, без памяти влюбилась некая итальянская маркиза. На обратном пути в Россию Сиверс узнал о екатерининском перевороте.

И вот теперь он, «хозяин губернии», сплавляется по бурным рекам, вязнет в болотах, продирается чащобой и снова плывет в лодке – осматривает водные пути, идущие через его владения.

Ужасный вид: реки и каналы завалены камнями и практически несудоходны, барки с товарами еле по ним проползают, то и дело скапливаясь в огромные заторы; поломанные шлюзы, сгнившие причалы, обвалившиеся берега – водную систему надо едва ли не строить заново.

А вторая беда – дороги.

Российские дороги! Сколько было о них сказано в литературе, но самое сильное описание дороги – реальной, а не литературной – дал XVIII век. Молодой офицер Александр Пишчевич едет в свою деревню, везет туда молодую жену (которую, добавим, только что с великим трудом отвоевал у ее предыдущего мужа).

«Выехав из Витебска, дня через два, в дремучем лесу увидели плотину, в середине разнесенную водою, и каскада нам представлялась самая страшная. Казалось, что до нас тут ездили, спросить не у кого было, остановиться негде, мороз давал себя чувствовать, что ночью лютость свою умножит; надлежало решиться, проехать каскаду настоящую. Ямщик спросил у меня: «Что, барин, как быть, а дело худо». Я ему отвечал: «Ударь по лошадям; Бог милостив». Извозчик выполнил мою волю. Доехав до пропасти, лошади так углубились в воду, что одни головы были видны, в кибитку вода вошла, и доставало одной несчастной минуты, чтобы сильная волна опрокинула кибитчонку, тогда прощай я, жена и дитя, которое в ее утробе было и

которое после вышло, милая Любовь, старшая наша дочь. Но извозчик, при столь очевидной опасности не потеряв бодрости, ударил, крикнул на лошадей, и они, сделав усилие, выхватили нас из пропасти. Извозчик, перекрестившись, сказал: «Родясь такого страха не видел».

Но была в его губернии одна беда, еще пущая, – пожары! Едва приехав, Сиверс узнал, что город Каргополь только что сгорел едва ли не дотла. Не успел он вернуться в Новгород, ему доложили: горит Торжок.

Он ринулся туда – и «с горестью застал одни дымящиеся развалины».

«С горестью», – замечательно, что едва ли не главное чувство, которое владеет молодым губернатором, это жалость к новому для него краю. Он жалеет леса, которые вырубает на вывоз, а также для нужд Петербурга, не умея насаждать новые. Он жалеет города, деревянные, беспомощные перед огнем. Горожан и крестьян, бессильных перед властью. Он видел: богатый край обобран и разорен.

В Новгородской губернии тоже все «на боку лежало».

«Город Псков, – доносил Сиверс Сенату, – по своему красивому и очень удобному для торговли положению мог бы быть в другом состоянии и не возбуждать такой жалости. У меня нет слов для выражения моих чувств о разорении этого города: скажу одно, что он так же несчастлив, как и Великий Новгород, и страдает той же чахоткою... Каменный дом провинциальной канцелярии в Пскове развалился, и уже третьего года я приказал канцелярию из него вывести в обывательский. Воеводского двора совсем нет, и воевода живет в таком же ветхом обывательском доме, что мне стыдно и не без страха в него войти. Город Остров – сущая деревня, имеет около 120 душ купечества; в воеводском доме только сороки да вороны живут, ни площади, ни лавок не нашел...» Торопец – самый богатый во всей губернии, но и здесь непорядок. «Едва один купец успел построить каменный дом, как полковник вступившего в город полка занял его, как лучший в городе, а хозяин остался жить в старом деревянном, после чего никто уже другого каменного дома не заложил... Купцы как сами без воспитания были, так и детей своих теперь не воспитывают. Торговля их производится без всякого порядка, редко с записью, без книг и почти без счетов. Между ними нет доверия, которое составляет

дух коммерции. О крестьянстве я должен вообще заметить, что оно еще больше заслуживает жалости по незнанию грамоте, ибо это незнание подвергает его множеству обид».

Да, жалость – вот чувство, которое он испытывает, объезжая свой край. И ощущение: надо его спасать.

Как отстроить сгоревшие города? Губернатор прибыл в Каргополь, созвал погорельцев, представил им новый план города, где были не только указаны улицы, но и проставлены номера предполагаемых домов, – и предложил людям выбирать номера, строить новые каменные дома. Не всем это по средствам? – он идет на уступки, предлагая строить дома на каменных фундаментах. И обращается в письме к Екатерине с горячей просьбой: дать денег Каргополю, чтобы помочь ему в строительстве, – и она дает. И в Торжке то же: собираются жители, выбирают по плану номера, – а Екатерина дает деньги на строительство (на этот раз заимообразно). Кстати, тема Торжка и его новой застройки будет то и дело всплывать в переписке губернатора с императрицей. Екатерина: жители Торжка «хотя и не очень спешат постройками, однако уже взяли сорок нумеров. Читая это известие, я сказал себе: вот уже почти половина Нарвы, остальное придет со временем».

Сиверс прокладывает новые дороги, чинит старые, осушает топи и болота, чинит старые мосты и воздвигает новые. И строит города.

В том его радость – строить новые города! Найти село, для этого наиболее подходящее как по местоположению, так и по состоянию, в частности, по степени трудолюбия населяющих его крестьян; добиться разрешения превратить его в город – в письме Екатерине он выражает надежду, что «одним росчерком высочайшего пера» село Осташково станет городом.

Значение этого перехода населенного пункта из одного состояния в другое невозможно переоценить: не только создавалась база для возникновения нового центра ремесла и торговли: жители села из крестьян превращались в граждан! – иной статус, иные жизненные возможности.

Придворные получали, особенно в связи с каким-нибудь торжественным событием, юбилеями или праздниками, всевозможные награды: ордена (они в XVIII веке были в бешеной цене, ради них сражались, их выпрашивали, из-за них дворяне готовы были идти на

унижения), огромные денежные суммы, подарки – от бриллиантовой табакерки до деревень, населенных крестьянскими душами. И Сиверс к празднику получил драгоценный подарок: разрешение основать четыре новых города (Валдай, Боровичи, Вышний Волочек и тот же Осташков).

И губернатор тотчас принимается за работу, составляет план построек и улиц (в каждом городе главная – Екатерининская), разрабатывает структуру административных учреждений, добывает деньги (иногда и из императорского кабинета), строит – и торжественно празднует открытие.

У него уже есть победы. «Тверь хорошеет с каждым днем», – пишет он Екатерине. В Торжке построены две больницы, каменные лавки, уже можно подумать о строительстве водопровода.

Особая любовь Сиверса – Осташков. «Я должен сознаться, – пишет он, – что во всех моих путешествиях не видел более красивого места. Если бы удалось посредством реки Полы соединить Селигер с Ильменем, то Осташков по своему положению сделался бы второй Венецией».

Что такое Венеция, он знает не понаслышке, видал собственными глазами, и первое его желание – принести в свой край все лучшее, что есть на земле.

Их переписка становится все более живой и дружеской. Она радуется его успехам, желает ему удачи «в картофеле». Просит обратить особое внимание на состояние лесов, мол, берегите, «казенному лесу всякий родня». Вникает в его проекты, желает «здоровья и спокойствия». «Смотрите, не забудьте жениться», – прибавляет она (это июль 1767 года). Поддержка императрицы неоценима для Сиверса, «подобные письма и ленивому дают крылья». А он не ленив.

Ему есть о чем доложить императрице. Он знает нужды горожан, знает, в чем их беды: их душат налогами, особый вред приносит подушный оклад. «Вместо подушных денег, – считает он, – можно положить каждый город в особый оклад одной круглой суммой, а сей оклад собирать с имения и с торгу каждого гражданина» (своего рода подоходный налог?).

Настоящим бедствием народа были военные постой – войсковое начальство без стеснения занимало любой приглянувшийся ему дом, солдаты размещались в домах жителей, не очень церемонясь ни с живностью, ни с садами и огородами.

Сиверс разработал проект, согласно которому государство должно построить для солдат специальные дома. Он настаивал, что для населения городов это было бы огромным облегчением – казармы вместо постоя.

Его работа по восстановлению водных путей была осложнена тем, что они состояли в ведении Сената, который, как пишет Сиверс, думает, «что издалека видит лучше, чем я своими собственными глазами». Но Екатерина изъяла водные пути Новгородской губернии из ведения Сената, к восторгу Сиверса, которому удалось пригласить для проведения работ австрийского инженера Гергарда, и развернулось огромное строительство. Губернатор то и дело на шлюзах, присутствует в самых опасных местах, когда там проводят караваны барж, наблюдает за ходом строительства: самих шлюзовых построек (он строит их с двойной обшивкой, и все равно бурные реки их ломают).

Письма Сиверса императрице заменяют нам его дневники, столько в них живых картин и живых мыслей. Вот он верхом скачет по дороге, «не выдавшей никогда ни единого колеса», и с удовольствием слушает «рокот стремнины, несущейся рядом». Вот он сидит на берегу, ждет, когда отдохнут люди, тянувшие лодки волоком, – а кругом благодать, заросли малины, диких роз, стоят березы и лиственницы, из одной он вырезал себе трость и тут же принялся размышлять о том, как хорошо было бы в России развести эти прекрасные деревья. Но ему не до отдыха и не до мечтаний. Он в лесу, и это напоминает ему о том, что разумное требование императрицы – вырубая, сажать новые леса – не исполняется.

Разумеется, предметом особой заботы Сиверса было сельское хозяйство. Его поражает невежество русских помещиков в их отношении к земле, они не имеют ни малейшего понятия об удобрениях, о том, как осушать болота и ухаживать за лесом. Все то, чего требовала Екатерина в своем наставлении губернатору – изучать характер почвы, с тем чтобы знать, какие культуры ей подходят, – все

это было для них за семью печатями. А он, Сиверс, видел поля английских лендлордов, знает уровень западноевропейской агрокультуры, в России тоже необходимо создать общество (он видел в Англии), которое занялось бы просветительством в области сельскохозяйственных проблем, изучением трудов иностранных специалистов, с тем чтобы эти сведения можно было печатать в журнале общества. Это Сиверсу принадлежала идея Вольного экономического общества.

Особой заботой Сиверса был картофель. Нам странно сегодня представить себе, что всего двести лет назад Россию нужно было уговаривать сажать картофель, между тем правительство Екатерины прилагало тут немало усилий. Медицинская коллегия издала особое наставление, как его сажать, выращивать и как употреблять в пищу (такие инструкции были необходимы: когда наши войска вошли в Пруссию, рассказывает Болотов, и увидели поля, засаженные картошкой, они приняли за ее съедобные плоды те зеленые шарики, что висят на ее стеблях, в результате чего были массовые заболевания и смертные случаи).

«По той великой пользе сих яблок, — так оканчивалось наставление, — и что они при разводе весьма мало труда требуют, а оный непомерно награждают и не токмо людям к приятной и здоровой пище, но и к корму всякой домашней животине служат, должно их почестъ за лучший в домостроительстве овощ и к разводу его приложить всемерное старание, особливо для того, чтобы оному большого неурожая не бывает и тем в недостатке и дороговизне прочего хлеба великую замену делать можно».

Заслуга Сиверса в разведении картофеля сомнения не вызывает, он пишет о нем в Сенат, закупает лучшие сорта в Англии и Ирландии. В этом тоже их общее дело с Екатериной, она отпускает крупную сумму в поддержку новой культуры, не раз спрашивает в своих письмах Сиверса, как идут дела с картофелем.

В главном для судеб России вопросе — о положении крестьянства — новгородский губернатор стоял, разумеется, на самых передовых позициях и, более того, был исполнен живого участия к российскому крестьянину. Он доказал это, когда отстаивал позицию Беарде де л'Абея в Экономическом обществе.

Он доказал это и на практике, причем в весьма острой ситуации, когда началось «неповиновение» на Олонецких казенных заводах, крестьяне которых отказались выйти на работу, и Сенат предложил новгородскому губернатору усмирить это их «непокорство».

А губернатор считал, что усмирять не надо, и послал в Петербург свой план, где показывал, как можно все уладить мирным путем. Но Сенат направил на заводы генерала Лыкошина, который и начал кровавую расправу. Вот как рассказывает обо всех этих событиях сам Сиверс в письме к императрице. «Главным предметом волнений, – говорит он, – была работа, которую мраморная комиссия налагала на них (крестьян. – *О. Ч.*) произвольно. Едва эта последняя образумилась, как другая комиссия, литейная, обременила их еще более произвольным образом, и бедствия крестьян достигли высшей степени. Вначале нельзя было обвинить их в неповиновении; в короткое время они выполнили очень большую работу. Но тяжести, вместо того, чтобы облегчаться, возрастали».

Любопытно (и для того времени не так уж и обычно), что губернатор говорит не только о невыносимом физическом напряжении работающих крестьян, но выдвигает доводы психологического порядка, входит в ужасное положение людей, которых заставляют переливать из пустого в порожнее. «Когда, между прочим, от крестьян потребовали 7000 куч угля, хотя они знали, что только треть этого количества может быть потреблена в будущем году, когда их стали принуждать к постройке еще четырех заводов, хотя на этот год для них не было никакой руды, тогда рвение сменилось отчаянием», – не только сочувствие к крестьянам, но и уважение к ним, к их труду слышится в этих словах. И уж конечно, как всегда, видно знание дела.

Сиверс не только вечный генератор идей, но и источник непрестанных социальных забот и тревоги – он бомбит императрицу предложениями, проектами и планами, в частности и по крестьянскому вопросу.

Сиверс резко выступает против права помещиков налагать на крестьян неограниченный оброк и требовать неограниченных повинностей (помните, на тех же позициях была и Екатерина, когда в Лифляндии требовала от ландтага ограничения крестьянских повинностей), губернатор говорит не только об алчности дворян, но и

о дремучем их невежестве: они не понимают, что богатство господина основывается на богатстве его крепостных. Крестьяне и бегут потому, что повинности их непосильны. «Я сам нашел, – пишет Сиверс, – что один помещик брал по пяти рублей оброка с крестьян, живущих на песке и не имеющих пашни». Если нельзя уничтожить крепостное право, необходимо по крайней мере ограничить помещичий произвол.

Сиверс заговорил о положении крестьян и в связи с пугачевщиной.

Крестьянскую войну Екатерина восприняла так, как и было свойственно ее характеру, – как стыд, как всесветный позор. «Два года назад, – писала она Сиверсу, – у меня в самом сердце империи была чума, теперь на границах Казанского царства у меня чума политическая; она задает нам трудную задачу. Ваш любезный и достойный брат Рейнсдорп (губернатор Оренбурга. – *О. Ч.*) уже два месяца как осажден шайкою разбойников, производящею страшные жестокости и опустошения. Генерал Бибилов отправляется туда с войсками через вашу губернию, чтобы усмирить этот ужас XVIII столетия, который не принесет России ни чести, ни славы, ни пользы... По всей вероятности, дело кончится виселицами – но какова перспектива для меня, господин губернатор, для меня, столь ненавидящей виселицы! Европа отнесет нас ко времени царя Ивана Васильевича: вот какая честь ожидает империю от этого несчастного события».

Сиверс организует проход Бибилова через свою губернию, внимательно следит за настроением людей. «Народ толкует, дворянство смущено, – пишет он, – я стараюсь принуждать к молчанию одних и успокаивать других». Самому ему столкнуться с восстанием не пришлось – новгородские крестьяне на борьбу не поднялись, но над самими событиями, потрясшими страну, он, конечно, не мог не размышлять. Позднее он пишет царице, что причиной великого мятежа было само крепостное право (и в том существенное его отличие от большинства наших мемуаристов и от того же Болотова, для которых крестьянское движение – результат невежества и злонравия «подлого» народа). Единственный способ предотвратить новые беды – улучшить положение крестьян.

У новгородского губернатора была ясная голова, он понимал, как труден тут каждый шаг. «Я знаю, – писал он, – что мнением своим

затрагиваю почтенное сословие, которое на основании государственных законов утверждает, что крепостные должны быть в его полном подчинении (какова точность формулировки: не «имеет права», а «на основании государственных законов утверждает». — *О. Ч.*). Не оспариваю этого права, но нет права без границ». Нет, каждым своим словом Сиверс оспаривает это «право без границ», которое и юридически и практически является бесправием одних и произволом других. Правда, он пишет всего лишь о размерах повинностей, которыми крестьяне обязаны помещику (эти повинности должны быть строго фиксированы, говорит Сиверс), и о праве барина наказывать своих крестьян (это право тоже должно быть строго ограничено), но для тех времен — наглое, ничем не стесненного произвола — представление Сиверса было и передовым, и смелым. Не меньшей смелостью было в те времена и требование свободы крестьянских браков — помещики так привыкли женить кого хотят и на ком хотят (в воспоминаниях Болотова есть трогательный рассказ о том, как он решил устроить счастье своего верного камердинера и где-то купил ему в невесты девку), что подобное требование казалось им вторжением в их законные права.

Наконец, главное: новгородский губернатор предлагал назначить сумму, за которую каждый крестьянин, накопивший деньги, мог бы выкупиться на свободу.

И тут, в вопросе о выкупе, о самой возможности его, позиции Екатерины и Сиверса совпадают.

Стемнело, но он садится за письмо. Весть об открытии Уложенной Комиссии застала его в пути. Он не может ждать до утра, ему нужно тотчас сказать Екатерине о своей неизреченной радости. Свеча стоит прямо на пне, он пишет на другом.

Сколько говорили они с государыней о необходимости новых законов, более мягких, более соответствующих гуманности просвещенного века, — и вот сбывается. Новые законы преобразуют страну. Он и сам теперь уже не тот. «Рука моя, — пишет он, — теперь уже будет дрожать при подписании приговора сильнее, чем прежде».

Как жаль, что он не был тогда ни в Успенском соборе, ни в Грановитой палате, не видел государыни в столь счастливую для нее минуту. Но ничего, он непременно приедет в Москву на заседание

Комиссии – он как губернатор входит в нее уже по самой своей должности.

Начинается совсем новая жизнь.

Мы знаем, что любил молодой губернатор – насаждать, строить, беспорядок приводить в порядок. Мы знаем, что он ненавидел – войну. Он, полковник, видевший войну, ненавидел ее всем сердцем.

Рекрутские наборы были его мукой. Он как губернатор обязан был их проводить. «Каких слез, каких стонов, – пишет он, – не приходилось мне слышать при слове: «Лоб!» (рекрутам брили лбы для того, чтобы их легче было поймать, если они убегут). Слезы и стоны, которые поднимались при слове «Лоб!», означали, что сейчас на глазах родных произойдет действие, которое уже явно и бесповоротно будет означать, что человека, бывшего рабом, но все-таки жившего в родной избе, в родной семье, сейчас заклемят и погонят на убой.

В своих письмах Екатерине Сиверс горько жалуется на войну, в которой страна теряет лучших своих людей, самых сильных, самых здоровых. В своей полемике с теми, кто защищает войну, он прибегал к аргументации, для нашего слуха странной: еще в начале своего губернаторства Сиверс предлагал брать рекрутов из людей, для государства бесполезных (как бесполезна и даже вредна война), – бродяг, цыган, дворовых, поскольку они дурно влияют на окружающих и развращают нравы. В число ненужных государству людей попали у него и «лишние», то есть сверх комплекта находящиеся в приходах, духовные лица. Любыми способами старается защитить он трудолюбивое, нужное государству крестьянство, уважаемое («почтенное») и необходимое.

Сиверсу не удалось, разумеется, остановить войны, уменьшить рекрутские наборы, с возрастом Екатерина все больше увлекалась победами своих генералов.

Наверно, никто из подданных Екатерины не поддерживал так ее борьбу против пытки, как новгородский губернатор.

Еще Елизавета пыталась ограничить применение пытки и в иных случаях вовсе ее отменить – но каковы эти случаи! Царица отменила пытку при расследовании дел по обвинению «в списке титула» (то есть при ошибке при написании огромного, сложного, непосильного для человеческой памяти титула русского царя), а также для детей до

двенадцати лет. При решении этого вопроса между Сенатом и Синодом шла борьба, уровень общественного сознания был таков, что Синод, то есть духовные лица, не постыдились требовать пытки для малых ребят, и хотя Сенат предлагал отменить пытку для детей до семнадцати лет, Синод настоял на том, чтобы пытали с двенадцати (поскольку в библейские времена совершеннолетие считалось с двенадцати лет).

Екатерина не раз – и не только в Наказе, но и в своих указах – выступала против пытки, но в конце концов практически дело сводилось к ее ограничению, к применению как крайнего средства. В 1765 году Сенат издал указ, стоявший на уровне проекта елизаветинских времен, – детей до семнадцати лет не пытать. Екатерина сама должна была стыдиться подобных полумер, вовсе уж неэффективных в обществе, которое считало пытку естественной и необходимой.

Для Сиверса пытка была врагом номер один, он вел с ней борьбу неустанно, планомерно осаждая Екатерину, и, наконец, прибег к весьма остроумному приему. Поскольку до него новгородским губернатором был отец Григория Орлова, Сиверс вытащил на свет божий стародавнее дело, где его предшественник запретил пытать обвиняемого, несмотря на то что суд и прокурор требовали применения пытки. Екатерина и Орлов были тронуты этим рассказом (Орлов со слезами на глазах обнял Сиверса) – и вопрос был решен.

Любопытно, что опять, как и в истории со статьей Беарде де л'Абея, Екатерина пустилась на хитрость: она не стала издавать открытого указа (явный знак того, что понимала, сколь непопулярным будет он в среде дворянства), а издала закрытую инструкцию, весьма замысловатую: запрещено было производить пытку, не доложив об этом губернатору. А губернатор должен был при решении вопроса о ее применении руководствоваться главой X Наказа «Об обряде уголовного суда», где содержалось уже известное нам рассуждение (юридически основанное на принципе презумпции невиновности) о бессмысленности, бесчеловечности и прямом общественном вреде пытки.

По сути дела, все это значило, что пытка запрещена, и Сиверс благоговейно (с колена) принял из рук Екатерины драгоценную бумагу

с еще не просохшими чернилами 11 ноября 1767 года. Сиверсу тридцать шесть.

Губернатор, как всегда, в пути, на этот раз едет в Каргополь. Он хорошо помнит, как приехал сюда шесть лет назад, в город дымящихся развалин, привез план, где уже были нарисованы новые улицы, проставлены номера домов, и предложено жителям выбирать, где кто будет строиться.

И вот теперь, подъезжая, видит – стоят новые дома. Едет по улицам, которые некогда сам на плане нарисовал. Как и договорились, дома каменные или на каменном фундаменте. Интересно, помнят ли здесь о нем?

Сиверс выходит из кареты – конечно, бегут! Сбегаются толпою, приветствуют, благодарят – какие лица, какие глаза! В ту минуту он позабыл все свои заботы и трудности, все беды и, как сам он пишет, злобу завистников (которых было немало). Он был счастлив.

Может быть, эта его способность быть счастливым счастьем других (и переживать как свои их несчастья) и привлекала к нему сердца, делала его авторитет столь высоким? Он стал знаменит.

Профессионализм государственного должностного лица, энергия и хватка крупного чиновника плюс горячность, плюс сердечность, плюс сострадание – вот что такое Сиверс. Романтический и героический новгородский губернатор.

В конце концов он влюбился, женился, у него родилась дочь – и как раз в разгар семейного счастья к нему в Петербург примчался нарочный сказать, что в Новгороде началась «моровая язва».

Какое может тут быть семейное счастье! – губернатор целует жену, обещает тотчас вернуться, она ждет его с нетерпением, но его нет: из Новгорода он скачет не домой, а в Великие Луки, потому что эпидемия перекинулась туда. «Так-то, дорогой губернатор, вы поступаете со мной, – жалуется молодая жена, – таковы-то ваши обещания сохранить себя единственно ради другой половины вашего существа, которая, по словам вашим, так вам дорога». Она подозревает: уж не додумался он сам подносить лекарство заразным больным? – с него станет. Впрочем, ее родители полагают, что ему при его характере вообще не следовало жениться.

Молодая жена не скрывает своего раздражения. Она больше не может слышать слова «барка» – и вообще эти «вечные пороги, болота,

вечная работа, всегда. Никогда покоя, никогда денег».

А Екатерина трудится над своей административной реформой, ей предстоит заменить хаос старого устройства, с его нескладным и случайным административным делением, новым – логичным и продуманным; вместо путаницы старых государственных учреждений создать их стройную систему. Работая, Екатерина тонет в этой неразберихе. «Вот статья, самая глупая из всех, – пишет она Сиверсу, – у меня от нее болит голова. Это бесконечное пережевывание очень сухо и скучно. Право, я уже в конце моей латыни, а не знаю, что делать – как уладить нижний суд, приказ общественного призрения и суд совестный. Одно слово вашего превосходительства о названных предметах было бы лучом света, и из глубин хаоса каждая вещь стала бы на свое место, как при сотворении мира». Но советов издали императрице не хватает, и она срочно вызывает Сиверса к себе.

Он необходим ей и как генератор идей, и как реставратор всего, что «на боку лежит», и как неутомимый строитель нового. Ей необходимы его энергия, ум, профессиональная хватка – и его благородство.

К какой национальности отнести нам Сиверса? Можем мы назвать его «немцем на русской службе»? Немыслимо! Его любовь к стране, в которой он живет, и к ее народу доказана на деле. У нас вообще преобладает неверное отношение к роли иностранцев в историческом развитии нашей страны. Мы хорошо помним свирепое засилье немцев времен Бирона – один из самых мрачных периодов в истории России; запомнились нам также и «тупицы-ученые», в конфликте с которыми был Ломоносов; мы немало слышали об итальянской музыке, мешавшей развиваться национальной, русской; о французском театре, который забивал русский, – но мы мало знаем о том, что внесли в нашу культуру и западноевропейская музыка, и живопись, и театр, и те же иностранные ученые.

Благодаря Фонвизину (он в том ничуть не виноват, ему и в голову не могло прийти, что те самые «потомки», к которым непрестанно обращается просветительская мысль, целыми поколениями станут проходить в школе его «Недоросля» в качестве едва ли не единственного источника по российской истории XVIII века, в том числе и культурной) все молодые провинциальные дворяне в нашем

воображении превратились в Митрофанушек, все провинциальные помещики – в Скотининых, а помещицы – в Простаковых. Тем не менее такое – чудовищное по неправде и несправедливости – представление существует и поныне, нам его тоже приходится преодолевать. Мы запомнили разного рода Вральманов, гувернеров, которые у себя на родине были лакеями и конюхами, и забыли об иностранцах, устремившихся в Россию с намерением тут работать. Для них, как и для Екатерины (немецкой принцессы, которая говорила, что она создана для России, и, похоже, в том не ошиблась), Россия стала землей, где они могли применить свои способности, найти поле приложения своей энергии.

Это обстоятельство, кстати, чрезвычайно лестно для нашего национального самолюбия, поскольку обнаруживает одно из замечательных свойств России (соответственно и русского правительства): умение учиться у тех, кто умен и профессионален, независимо от того, английский ли это инженер, немецкий торговец или французский художник. Это умение было особенно важным для страны, по ряду тяжких причин отставшей в своем развитии от западноевропейских стран и оказавшейся перед необходимостью поспешно их догонять. Насколько освоение западной культуры было творческим, показывает именно искусство: русская живопись стала светской (и сменила парсуну на портрет) именно под влиянием западной; поначалу это ученичество сильно заметно в работах наших живописцев, но во второй половине XVIII века возникает русская портретная живопись, конечно, немало взявшая от западноевропейской и в то же время ни с чем не сравнимая по очарованию и глубине. То же видим мы и в архитектуре, и в музыке, и в инженерии; полагаю, что и Болотов, много взявший у зарубежных экономистов, был оригинален в своей экономической деятельности и в ее теории и практике.

Немцы, о которых у нас идет речь, не замыкались в Немецкой слободе, они с энергией, присущей переселенцам и всем, жаждущим перемены мест, ринулись в жизнь. Может быть, самый замечательный тому пример – доктор Гааз, который, приехав в Россию, стал было модным врачом, лечил знать, купил дом и выезд, а углубившись в жизнь страны и поняв всю меру народных страданий, стал лечить бедноту, а потом и вовсе превратился в «тюремного доктора». Все свои

деньги он потратил, чтобы построить тюремную больницу на Воробьевых горах – отсюда отправлялись каторжные этапы. Все силы отдавал он этим «несчастливым» (в те времена так народ называл арестантов); кого-то укрывал, сколько мог, в своей больнице, кого-то снабжал лекарствами и провиантом (каре́та доктора следовала за этапом). Люди тогда шли на каторгу, прикованные к железному пруту, и доктор Гааз боролся за индивидуальные кандалы, требуя, чтобы их обшивали тканью, – иначе они жглись и в жару и в мороз, протирали руки и ноги до костей; и он добился того, что прут был запрещен. В «Комитете попечительного о тюрьмах общества» (членом которого состоял) он, Фридрих Иозеф Гааз, уроженец Пруссии, заспорил с московским митрополитом Филаретом, когда тот сказал: «Не может того быть, чтобы осудили невиновного». «Вы забыли Христа», – возразил ему Гааз. Нужно отдать должное и митрополиту, он встал, поклонился и сказал: «Нет, это Христос забыл меня». Митрополит мог забыть, а доктор Гааз отлично помнил об указе (уже николаевском), который позволял помещикам отдавать на каторгу крестьян, власти обязаны были это делать, «не входя в рассуждения о причинах негодования помещика». Всеми силами боролся против этого указа «святой доктор» – в народе ходила икона, где он был изображен с нимбом вокруг головы, хотя никогда, разумеется, православной церковью канонизирован не был, его канонизировал народ.

Перед нами странный феномен – смена корней, которая благотворно действует на рост и ведет к расцвету, его условно можно было бы назвать американским, с той, однако, разницей, что американские переселенцы все же теряли свои корни, чтобы потом постепенно создать свою общую новую культуру, а переселенцы в Россию очень быстро их находили, создавая весьма ценный гибрид.

Мы видели одного из соратников Екатерины, теперь взглянем на другого. Кстати, они были друзьями, Яков Сиверс и Александр Строганов.

Александр Сергеевич Строганов родился в 1733 году – наследный принц гигантской строгановской империи. Ему было девятнадцать, когда отец отправил его за границу, и явление его здесь стало триумфальным, круг знакомств был огромен и блистателен, послы

представляли его царствующим монархам, его принимал сам папа Бенедикт XIV, который много сделал для науки и, как видно, любопытствовал взглянуть на юного русского богача, тоже приверженного наукам.

У этого вельможи были все возможности весело и горячо прожить в любой западноевропейской столице, где его носили на руках, но Строганов возможностями веселой заграничной жизни не воспользовался. Он повиновался некоему долгу, непрестанно был занят серьезной работой, изучал химию, механику, металлургию, все то, что должно было ему пригодиться, когда он наследует отцу; прилежно навещал встречающиеся ему фабрики и заводы; посещал лекции знаменитейших профессоров – словом, не терял зря времени. Но все это не было его призванием, его властно влекло к себе искусство. Где бы он ни был: во Франции, Германии или Италии (особенно), он не пропускал ни одного музея – конечно, его увлекала мысль создать собственный. Было ему двадцать два, когда он положил начало своей будущей коллекции, купив подлинного Корреджо (можно себе представить, как был он горд!), после чего в Россию уже шли ящики, где были тщательно упакованы картины, скульптуры, гравюры, камеи. Все эти произведения искусства скапливались в строгановском дворце на Мойке (его еще при жизни отца построил Растрелли). Обладавший, по-видимому, от природы тонким вкусом, молодой вельможа развил его в процессе своего бурного коллекционирования; впоследствии он сам составил и издал каталог своей галереи.

Когда Александр вернулся в Россию, Елизавета Петровна пожелала, чтобы он женился на Анне Воронцовой (двоюродной сестре Елизаветы Воронцовой, фаворитки Петра III). Российская императрица сделала его камер-юнкером, австрийская Мария-Терезия – графом Римской империи. События 1762 года разделили супругов: он был ярым сторонником Екатерины, Анна (как она говорила, бывшая «по несчастью Строгановой») – столь же яркой приверженницей Петра III: несчастный брак этот, ставший, по существу, длительным разводом, кончился с ее смертью.

При Екатерине награды и чины так и сыпались на молодого графа, но, по отзывам современников, он был к ним равнодушен. Искусство было его богом, и свой долг он видел в том, чтобы помогать развитию отечественного искусства, растить и оберегать русские

таланты. Как велика была его помощь, знали не только Левицкий, Щукин и другие художники, но и поэты – Державин, Богданович и молодой тогда Крылов, – и композитор Бортнянский. Но главным его любимцем был Андрей Воронихин. Крепостной мальчик Строгановых, родившийся в далекой пермской деревне, благодаря своему помещику получил великолепное образование, окончил Академию художеств, путешествовал за границу. Влюбленный в его талант, Строганов дал ему возможность строить и в Петергофе, и в Павловске, и в Петербурге.

Семейная жизнь Александра Строганова нам интересна, поскольку проясняет многое в нем и его судьбе. В 1771 году он женился – уже по любви – на Екатерине Трубецкой, в 1772 году родился его сын Павел. Но и этот брак не принес ему счастья – когда супруги вернулись в Петербург, в высшем свете произошло событие, принесшее много волнений и вызвавшее много толков при дворе: графиня Строганова, красавица, встретила с красавцем Корсаковым, фаворитом Екатерины. Их внезапно вспыхнувшая любовь сломала все на своем пути – и супружество Строганова, и роман императрицы. Строганов показал, что у него действительно рыцарский характер, он отпустил жену, одарив ее богатыми поместьями (влюбленные уехали в Москву, где жили невенчаные в счастливом содружестве, имея множество детей, которые получили дворянство, выдуманную фамилию и стали родоначальниками нового дворянского рода Людомирских).

Потеряв жену, Строганов не потерял ни энергии, ни даже веселости. Но было бы глубокой ошибкой считать его легкомысленным или легковесным: с особым рвением занялся он воспитанием любимого сына, поручил это дело французу-гувернеру, зато сам гувернер в этот раз был необычен.

Еще за границей встретив ученого – Жильбера Ромма, Строганов увлекся его глубокой оригинальной натурой и, пригласив в Россию, отдал сына целиком его попечению и воспитанию. Влияние француза на мальчика было беспредельным. Ромм с юным графом (и архитектором Воронихиным) отправились в путешествие по России – в ходе которого, кстати, оба изучали русский язык, – а потом (опять же с Воронихиным) уехали за границу. Это знаменитая тогда и хорошо известная теперь история. Ромм был не только ученым, в нем жил

страстный политик республиканского толка. Он ринулся в гущу революционных событий (стал членом Конвента) и увлек за собой юного графа Павла Строганова.

Немалая широта взглядов требовалась от русского вельможи, чтобы отпустить любимого сына в революционно бурлящую Францию. Юный республиканец был так увлечен этими событиями, что категорически не хотел возвращаться домой, и вернулся не по настоянию отца, а по гневному требованию Екатерины. Строганов, таким образом, воспитал человека необыкновенного, дал монархической России активного республиканца, в будущем видного политического деятеля, оказавшего немалое влияние на политику Александра I в первый (и такой важный) период деятельности этого царя.

Портрет Строганова шведский художник Рослин писал в Париже (на портрете рядом с графом мраморный бюст его жены) – то были годы его недолгого семейного счастья. Отсвет такого счастья лежит и на портрете, на его колорите (великолепный брусничный бархат кафтана, шитого серебром), на облике самого Строганова, кажется, он сейчас рассмеется и на щеках его появятся ямочки. Он как будто куда-то шел, остановился, присел на минуту, чтобы дать художнику на себя посмотреть, и теперь ему не терпится встать, чтобы идти по каким-то своим веселым делам.

У него и в самом деле был легкий характер, он был весел и остроумен и недаром стал одним из самых любимых придворных Екатерины, непременным участником всех ее поездок, увеселений и неизменным партнером в картах.

Но Строганов был также и участником всех ее предприятий, имеющих общественное значение, – член Комиссии по составлению нового Уложения, он тут активно выступал (в частности, отстаивая необходимость создания школ для крестьянских детей). Когда был задуман Московский воспитательный дом (о его значении мы еще будем говорить), Строганов давал деньги на его строительство (соперничая тут с другим сказочным богачом Прокофием Демидовым).

Была еще одна область общественно полезной деятельности, в которой он также видел свой долг: веселить людей. Не просто острить в кругу придворных и не только устраивать пышные балы – нет,

Строганов считал своим долгом веселить народ, всех, и благородных и неблагородных.

Восемнадцатый век вообще любил веселиться и умел это делать (особенно дворянство, но и не только оно). Сама Екатерина, как мы видели, включила веселье в свою жизненную – и личную, и общественную – программу, и не только потому, что видела в нем способ сопротивляться трудностям жизни (да к тому же еще была весела от природы), но и потому, что считала полезным и обязательным «мешать дело с бездельем» – с условием необходимой разумной дозировки по пословице «делу время, потехе час». Тем ее веселье и отличается от елизаветинского: у Елизаветы Петровны все время проходило в сплошном веселье, без какого бы то ни было дела, а Екатерина позволяла себе веселье как награду – после рабочего дня.

Но дело тут не только в «веселостях» и развлечениях, Екатерина намеренно создавала атмосферу, в которой легко было дышать, это вполне соответствовало программе, высказанной ею в Наказе: правление должно быть умеренным и мягким, ни в коем случае не следует создавать систему гнетущего страха или излишнюю строгость режима. Екатерина поощряла развлечения.

XVIII век без памяти любил всякого рода спектакли, он жаждал развлечений для глаз, ушей, для воображения, его тянуло к себе все веселое и неожиданное. Деревья в парке вдруг оказывались странной формы – их подстригали то зонтами, то пирамидами, а то и вовсе медведями. В густых зарослях возникали таинственные гроты, и в них ждали какие-нибудь неожиданности (так, например, Болотов, большой любитель устраивать у себя диковины, придумал облицевать изнутри свой грот зеркалами: эффект при входе был поразителен): или возвышались романтические развалины, или вдруг вы попадали в премудрый лабиринт и, чтобы выйти из него, спрашивали встречную женщину с лукошком, но она оказывалась «обманкой», то есть была очень живо и натурально писана на холсте, наклеенном на доску, а у реки в кустах такая же обманная купальщица расчесывала волосы.

Спектакли, которые устраивали вельможи, бывали грандиозны. Однажды в своем доме на Царицынском лугу около Летнего сада Бецкой устроил праздник по случаю заключения Кючук-Кайнарджийского мира. «По наступлению ночи, на Неве издалека приплыл к его дому остров, на котором представлена была мыза с

пахотной землей и с разными сельскими жилищами. На передних острова сторонах видна была развалина прошедшей войны – а в дальнем острова проекте – лесом окруженный храм, над которым стояла статуя, изображающая милосердие с прочими видами почтения за воспитание. Во время ходу острова играла наиприятнейшая сельская музыка, а жители упражнялись в сельских работах (мы с вами читаем отчет «Санкт-Петербургских ведомостей» и, стало быть, можем представить, каков был тогдашний газетный язык. – О. У.). По остановлению же острова на левом бастионе развалин выступившая Слава с трубою, предъявляя масличную ветвь и раздвинув российский штандарт, объявляла островным жителям известие о заключенном мире, от чего восхищенные пастухи, земледельцы и сельские жители, с восторгом собравшись и разведав у Славы о происшествии, поспешно сообщали благополучное известие оставшимся в жилищах обитателям, а другие с игранием благоглаголюющей музыки хором воспевали похвалу Монархине Всероссийской...»

Уже самый выезд вельможи был спектаклем. Золотые кареты с гербом, выложенные изнутри бархатом, цуг вороных коней в султанских перьях, на запятках – «букет» (пудренные лакеи в треуголках, арап в шароварах). Бывали выезды диковинные, специально срежиссированные, даже комические, мастером которых был Прокофий Демидов.

Вельможи, давая грандиозные праздники, как бы соревновались в этом друг с другом, и Строганов играл тут особую роль.

На праздниках для дворянства устраивались пиры и балы, для простолюдинов – гулянья с жареными быками (у них, бывало, золотили рога) и фонтанами вина, с лавками, торговавшими даром. В мемуарах И. М. Долгорукова рассказано, как граф Строганов как бы заманивал к себе народное гулянье. Ему «хотелось отворить свой сад для прогулки простому народу по воскресным дням. Сначала ходили немногие; но вскоре вошли во вкус, стали приезжать и в каретах. Кучки сделались толпами. Граф радовался, что гулянье у него входит в моду, наместить велел полы в шатрах, будто для одной защиты от ненастья. Потом приводить стали туда по три скрипки, среднего сословия гуляки привыкли помаленьку в этой зале плясать сперва по русски, по цыгански, а потом мастеровые немцы и французы образовали свои

кружками разные светские танцы. Дошло дело до контретанцев. К ремесленникам присоединились люди всех сословий и дамы и мужчины большого света полюбили съезжаться на графские прогулки».

Возникла идея давать настоящие балы. «На все лето нанята наша Семеновская роговая музыка (оркестр Семена Нарышкина, создателя роговой музыки, – *О. Ч.*), лучшая во всем городе, и оркестр скрипачей. В зале начались балы по форме, а для народа в других местах цыганки, плясуны, песенники и обыкновенные их устроились забавы. Итак, воскресные дни нечувствительно обратились в великолепные праздники. Весь город стекался в сад гр. Строганова. Дом и аллеи – все было наполнено народом. Нева покрывалась шлюбками и ботиками около пристани... Хозяину каждое воскресенье стоило до пяти сот рублей: и скоро славная дача Нарышкина, в которой воскресные гулянья от самых давних пор учреждены были, уже не смела выдержать совместничества с дачею гр. Строганова»: Таким образом, часть своих огромных богатств вельможи считали нужным потратить на развлечение городских людей. Кстати, каждый из них держал открытый стол, куда мог прийти любой, лишь бы был «прилично одет».

Сами столы с их кушаньями являли собой целые кулинарные спектакли; обед состоял из нескольких «подач»: так, например, первая подача – 12 разных супов и похлебок, вторая – 12 разных салатов, 12 разных соусов, закуски – к примеру, «селедочные щеки» (на порцию их приходилось 24 тысячи), или, говорят, было ужасное блюдо – соловьиные языки (!); а еще рулады из кроликов, окуни с ветчиной, голубята с раками, а после этого уже следовала третья подача, жаркое – дикая коза, куропатки с трюфелями, фазаны с фисташками, да мало ли что еще. Съесть все это было невозможно, многие блюда уносились нетронутыми – то была демонстрация радушия хозяина, а главное – его богатства, его изысканного вкуса.

Екатерина всего этого изыска терпеть не могла – ее любимым блюдом была говядина с соленым огурцом.

В условиях жизни, бедной впечатлениями, всякое зрелище, всякое развлечение ценилось высоко. Праздники давали пищу воображению. Простым людям – на площадках и улицах, где по ночам гремели

замысловатые фейерверки, рисуя огнями в ночном небе аллегорические сюжеты; дворянам – в залах, где столы после обеда уходили под пол, где раздвигались стены, открывая сады, где грудой (как на празднике А. Безбородко) лежали драгоценные сосуды, вазы и кубки. Все это поражало умы (и бывало описано даже в специально изданных книжках). Столичным вельможам подчас не уступали владельцы провинциальных резиденций – какими были Шклов Зорина или Глухов Разумовских.

Такова была потребность общества. Дворянские пиры шли по всей стране. В воспоминаниях Г. Добрынина колоритно изображено, как пировало высшее духовенство. Обязательная «веселость» пронизывала все дворянское сословие. Балы давали и губернаторы, и городничие, и полковники стоящих на квартирах полков; где бы ни возникал центр притяжения, военный или административный, к нему немедленно начинало стекаться местное дворянство.

Впрочем, и предоставленное самому себе, оно как-то организовывается, объединяется – эти бесконечные празднества именин, смотрин, сговоров и свадеб, церковных праздников, даже сам обязательный обычай дворян наносить друг другу визиты, – все это та же тяга к объединению. Но есть тут и еще одна причина: при отсутствии газет и книг человек был единственным источником информации; умный, образованный, бывалый собеседник, разумный советчик ценились высоко (и действительно выполняли важные функции). Всякий новоприезжий означал надежду на новость и развлечение. Недаром харьковский губернатор, как рассказывает мемуарист Пишчевич, никому не давал лошадей, пока приезжий к нему не явится. «Сие делалось не ради какой-нибудь предосторожности, а потому, что он был великий охотник знать происходившее в других местах, и потому желал всякого приезжего видеть и изведать от его что ни есть». Конечно, дворяне собирались и для того, чтобы выпить-закусить, но все же могучее провинциальное гостеприимство, жажда ухватиться за гостя и обязательно «унять» его к обеду была во многом продиктована жаждой общения со всеми вытекающими из него выгодами.

Отметим попутно, что придворные балы екатерининской поры сильно отличались от балов времени Елизаветы Петровны – вспомним ее затею переодевать мужчин в женскую одежду, а женщин в мужскую,

как ненавидели эти балы и те, и другие. Еще менее екатерининские балы и куртаги напоминают чудовищные ассамблеи петровского двора, когда ни один из участников не мог быть уверен, что не станет жертвой какой-нибудь издевательской царской шутки, что не поднесут ему «кубок Большого Орла», от которого он, ко всеобщей радости, свалится под стол (мы уж не говорим о той опасности, которой подвергались дамы на подобных царских увеселениях).

Екатерининское время веселилось красиво и благопристойно.

В своем наставлении сыну Павлу Строганов просит его помнить, что есть Бог на небе и что он, Павел, должен быть «добрым русским, подчиняться требованиям страны», где родились его предки. Сам же он не только «подчинялся требованиям страны» – всеми силами служил он ее культуре. Просветитель, привезший из-за границы огромные ценности мировой культуры, организатор строительства зданий, которые стали гордостью русского искусства, меценат, давший возможность работать многим художникам, архитекторам, писателям, музыкантам, открывший для них двери своего дворца-музея. И, наконец, «веселитель народа». Когда Демидов выезжал цугом, в карету его были запряжены рядом огромные кони и крошечные пони, и при этом все в очках, более всего он тешил этим свое тщеславие. Когда же Строганов открывал для публики свои сады, он веселил людей, учитывая вкусы разных сословий и групп.

Последние десять лет жизни Строганов был занят строительством Казанского собора (тут работала бригада во главе с Воронихиным). Все мысли, все силы его были заняты строительством, он, уже очень старый, проверяя работу, сам лазил по лесам; на освящении собора (была ужасная погода) простудился, в том же соборе его и отпевали. Говорят, последними его словами были: «Ныне отпускаише раба своего, Господи». Он действительно сделал для России все, что мог сделать, не уступая в том своему другу Сиверсу.

«Был русский вельможа, остряк, чудака, – писал о Строганове К. Батюшков, – но все это было приправлено редкой вещью – добрым сердцем». Эта сердечная доброта соединялась с огромным общественным темпераментом.

Екатерина умела выбирать себе помощников.

Александр Бибилов – тоже одного поколения с Екатериной – потомственный военный инженер (его отец – инженер-генерал-поручик), участвовал в Семилетней войне, прославился своим подвигом – разбил и взял в плен прусского генерала. При Елизавете вышел в отставку, при Екатерине снова призван на службу и получил два поручения – оба отличались крайней сложностью и свидетельствовали о полном доверии императрицы.

Первое, уже нам известное: подавление волнений на заводах Казани. По свидетельству современников, Бибилов это задание выполнил с честью – вступил в переговоры с мятежными работниками заводов, разбирался с их жалобами, старался успокоить и примирить. У нас, видевших, как выполнял подобное поручение и общую для них инструкцию Екатерины Вяземский, посланный на Урал, есть основания верить этим сведениям (тем более что по характеру своему, сколько могу судить, Бибилов и глубже и мягче Вяземского). Нас будет интересовать второе поручение, данное Бибилову Екатериной, – оно было особого рода, требовало быстрого ума, дипломатического таланта, а главное, душевных качеств самой высокой пробы.

Речь идет о Брауншвейгском семействе, трагическая судьба которого волновала современников и была предметом острого любопытства историков; многие из них, и Пушкин в том числе, пытались получить документы, связанные с этой семьей, но бумаги эти были за семью печатями.

Мы помним, что Елизавета, ворвавшись ночью в покои правительницы Анны Леопольдовны, сама вынула из колыбели императора Ивана VI, со слезами на глазах поцеловала его и отдала солдатам. Нетрудно представить себе, что делалось в ту ночь во дворце, когда вся семья правительницы была арестована (и в сумятице, в панике младшую дочь брауншвейгской четы уронили на лестнице).

Правительницу мы можем видеть на портрете, который написан Вишняковым. Это странный портрет: Анна Леопольдовна в какой-то непонятной одежде, не очень ясно, что у нее на голове, почему так неловко перекрещены ее руки, – по идее, они должны были бы лежать на коленях, а они как-то неуклюже висят в воздухе перед животом. Но

нынешние искусствоведы с помощью рентгена разъяснили, в чем тут дело. Вишняков писал Анну в те дни, когда правительница была у власти: она в богатом платье, в дорогом уборе, и левая рука ее вовсе не лежит на животе, но обнимает сына. После падения Анны Леопольдовны портрет почему-то не был уничтожен, его переписали, она на нем уже не правительница, и сына у нее уже нет. Но рентген позволяет хорошо рассмотреть Ивана VI – совсем не таков, каков он на официальных портретах (недвижной куколкой в царских одеждах), это милый скуластый мальчик, очень живой. Несчастный ребенок путешествовал теми же путями, что и его родители (к нему был приставлен майор), несколько лет (как и родители, но отдельно от них) жил в Холмогорах, а потом его перевезли в Шлиссельбург в такой тайне, что сам комендант крепости не знал, кто такой сей узник; инструкция, данная начальником Тайной канцелярии А. И. Шуваловым (тем самым, кто был приставлен к Екатерине, когда та ждала ребенка), предписывала в случае неповиновения сажать арестанта на цепь и даже бить его плетью. В своем указе Петр III предписывал: если арестанта попытаются освободить, «живого его в руки не давать». Инструкция, данная уже при Екатерине Н. И. Паниным, предписывала в случае подобной попытки «арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать» – историю с Мировичем мы знаем. О судьбе Брауншвейгской семьи почти ничего известно не было, кроме того, что жили они на Севере, в Холмогорах (близ Архангельска, недалеко от Белого моря), сама Анна Леопольдовна умерла, оставались ее муж герцог Антон-Ульрих и четверо детей.

Между тем судьба их поразительна, и мы ничего бы о ней не узнали, если бы не историк Натан Эйдельман.

Вот о ком надо было бы написать книгу, так это о Натане Эйдельмане – по энергии таланта он словно бы принадлежал когда-то эпохе Великих географических открытий, или Ренессанса, или – чтобы быть ближе к нашей теме – к тому же веку Екатерины, словом, к эпохам, рождавшим людей бешено активных, творчески одаренных, да к тому же еще жаждущих новых познаний и новых свершений. Он был знаменит своими розысками в архивах, сенсационными находками, еще большее значение имело его свойство раскрывать глубины

исторических проблем. Он был мощным фактором нашей культуры, теперь, когда его нет, это ощущается особенно остро.

Однажды, работая в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина (Петербург), Эйдельман обнаружил огромную рукопись, черновую, всю перечеркнутую, перемаранную, трудно читаемую. То был труд известного критика В. В. Стасова, который по поручению Александра II занялся историей Брауншвейгского семейства и получил, таким образом, доступ к запретным документам. Он написал целое исследование, представил царю перебеленную рукопись, впоследствии утраченную. Сохранился черновик, который так бы и пролежал не востребуемым, если бы не любопытство Эйдельмана. Рукопись эта имеет тем большую ценность, что Стасов пользовался документами, во многом тоже до нас не дошедшими.

Оставшись один с детьми, Антон-Ульрих написал Елизавете униженное письмо, в котором просил смягчить их участь или по крайней мере сделать так, чтобы дети могли «чему-нибудь учиться». Ответа не последовало. Елизавету такие слабые претенденты на престол, как Брауншвейгское семейство, теперь, когда Ивана Антоновича как бы уже и не было на свете, больше не тревожили.

После переворота Антон-Ульрих написал столь же униженное письмо Екатерине. Ее эта семья интересовала: на Севере, в Холмогорах, жили две девушки и два мальчика, все четверо царской крови, родные внуки царя Ивана V, двоюродные – самому Петру. Если учесть, что сама Екатерина ни в каком родстве с царской династией не была, а трон, который она захватила силами гвардии, под ней еще сильно шатался, эта семья не могла не тревожить ее. Она запросила Холмогоры, что представляет собой эта молодежь и «каким образом о себе рассуждают», и получила разъяснение, что принцы и принцессы знают, кто они такие, их так и называют принцами и принцессами.

Именно в черновой рукописи В. В. Стасова сохранилось письмо, которое Екатерина послала в ответ Антону-Ульриху. Вот оно:

«Вашей светлости письмо, мне поданное на сих днях, напомняло ту жалость, которую я всегда о вас и вашей фамилии имела. Я знаю, что Бог нас наипаче определил страдание человеческое не токмо облегчить, но и благополучно способствовать, к чему я особливо (не похвалившись перед всем светом) природною мою склонность имею.

Но избавление ваше соединено еще с некоторыми трудностями, которые вашему благоразумию понятны быть могут. Дайте мне время рассмотреть оные, а между тем я буду стараться облегчить ваше заключение моим об вас попечением и помогать детям вашим, оставшимся на свете, в познании закона Божия, от которого им и настоящее их бедствие сноснее будет. Не отчаивайтесь о моей к вам милости, с которой я пребываю. Екатерина».

Ей мало было официальных донесений, мало и писем Антона-Ульриха, ей нужно было, чтобы кто-нибудь живой, умный, дельный, приметливый и дипломатичный приехал в Холмогоры и увидел все собственными (и как бы ее) глазами. Для этой-то миссии и выбрала она Бибикова. Она дала ему инструкцию, где говорилось, что он может пробыть в Холмогорах столько, сколько ему понадобится, чтобы внимательно изучить быт семьи, их «все нынешнее состояние, то есть: дом, пищу и чем они время провождают, и ежели придумаете к их лучшему житию и безнужному в чем-нибудь содержанию, то нам объявить, возвратясь, имеете». Думаю, что намерения Екатерины улучшить положение семьи были искренни, она встречалась с Иваном Антоновичем, нашла его психически больным человеком, полагала, что и его сестры и братья, тоже выросшие в неволе, если от него и отличаются, то, во всяком случае, малоразвиты. Отпускать их за границу, что было бы милосердней всего, она тем не менее не решалась и придумала – надо сказать, весьма неудачно – предложить Антону-Ульриху уехать из России одному, «а детей его для тех же государственных резонов, которые он, по благоразумию своему, сам понимать может, до тех пор освободить не можем, пока дела наши государственные не укрепятся в том порядке, в каком они благополучию империи нашей новое свое положение теперь приняли». Ход мысли тоже для нее характерный: отцовские чувства сильно уступают в цене государственным соображениям, которые, как ей кажется, герцог Брауншвейгский вполне должен понять. Она же со своей стороны была совершенно откровенна.

Конечно, Бибикова она послала на разведку, но все же тот факт, что в Холмогоры был послан не хитрый лазутчик – а мало ли было у нее таких, и весьма исполнительных! – но человек чести, да еще известный своим умом и обаянием, говорит о том, что намерения

Екатерины отнюдь не были враждебными. Она действительно хотела знать, как идут дела в Холмогорах и каковы их обитатели.

Сугробы и сугробы. И двор и сад завалены снегом. Дом каменный, старый, во втором его этаже вся семья. Маленькие окошки, в них один и тот же вид – на метель и вьюгу. Недолгим северным летом они еще гуляют в саду, а бесконечной северной зимой «за великими снегами и пройти никому нельзя, да и нужды нет» (так докладывает комендант). Что делается в мире, им неизвестно, все, что они видят, – те же комнатухи, из года в год, каждый день; спертый воздух, которым они дышат, вреден им, они бледны, они недомогают, у отца их уже цинга. Они не знают мира, и мир о них позабыл.

Как подъезжал Бибиков к частоколу, к воротам? Услышали ли они его колокольчик? Сразу ли поняли, кто он и что означает его приезд?

Как бы то ни было, в этом крошечном душном больном мирке появился – с мороза, как с воли! – молодой генерал, да к тому же еще веселый и обаятельный. Мы знаем, с каким заданием он приехал, – что мог он им сказать? Что на свободу выйдет только отец, а дети, все четверо, останутся за частоколом?

Из книги о Бибикове, написанной его сыном, мы кое-что знаем об этом визите. «Главнейшая цель сделанного Александру Ильичу препоручения состояла в том, чтоб, вошед в доверенность принца и детей его, узнал способности, мнения каждого, о чем при начале еще не утвержденного ее (Екатерины. – *О. Ч.*) правления нужно было иметь сведения. Откровенность, веселый нрав и ловкость (это слово в тот век имело совсем иное значение, оно означало вовсе не «изворотливость», а скорее всего «находчивость». – *О. Ч.*) обращения уполномоченного доставили ему в сем совершенный успех. Но все усилия его склонить принца Антона разлучиться с детьми были напрасны, а потому Александр Ильич старался по крайней мере смягчить, даже некоторым образом усладить его состояние. Хотя все сие действительно предписано в данной ему от человеколюбивой государыни инструкции, но особенная ревность в исполнении сей статьи была такова, что отправился в путь благословляем и осыпан живейшими знаками уважения и самой приязни от всех принцев и принцесс».

Бибикову разрешено быть в Холмогорах столько, сколько ему понадобится, он пробыл тут несколько недель. Можно предположить, что и ему, и его хозяевам не хотелось расставаться.

Пушкин, который многое знал об этой давней истории, свидетельствует: «Бибиков возвратился, влюбленный без памяти в принцессу Екатерину». Эйдельман основательно полагает, что тут произошла ошибка – и семейного предания, и Пушкина, который за ним следовал: Екатерина была нелюдима, глуха (это ее, маленькую, уронили тогда на лестнице), косноязычна, в то время как принцесса Елизавета была очень хороша собой, «нраву несколько горячего» и «наиболее понятлива» (донесение администрации).

Да, им вряд ли хотелось расставаться, но Бибиков торопился с отчетом. Не будем и пытаться представить себе, каково было расставание.

«Приехав в столицу, – рассказывает Бибиков-сын, – Александр Ильич изъявил к состоянию их искреннее участие: он подал императрице донесение о добрых свойствах, а особенно о свойствах и дарованиях принцессы Екатерины, достоинства коей описал так, что государыня холодностью приема дала почувствовать Александру Ильичу, что сие его к ним усердие было, по ее мнению, излишнее и ей неприятное».

Ну а теперь представим себе, как все это выглядело с точки зрения Екатерины. Она посылала Бибикова разузнать, что там за узники, несчастные, неграмотные, косноязычные, – немощное семейство. И вот, оказывается, среди них есть принцесса, едва ли не сказочная, хороша собой, исполнена ума и дарований. Готовая наследница, способная выступить с блеском, способная очаровать! Бибиков был, видно, и впрямь влюблен без памяти, если не подумал о впечатлении, какое мог произвести его рассказ. Он был поражен холодностью императрицы, а «холодность свою изъяснила она столько, что он испросил позволения употребить неблагоприятствующее для него время на исправление домашних его обстоятельств и уехал с семьей своею в небольшую свою вотчину в Рязанской губернии».

Этот разговор Екатерины с Бибиковым, когда тот вернулся из Холмогор, для нас важен.

Прежде всего – по последствиям. Сношения Екатерины с узниками были прерваны. Антон-Ульрих заклинал Екатерину

«кровавыми ранами и милосердием Христа» отпустить их за границу, напоминал, что она сама обещала помочь им в их беде и что генерал Бибииков подтверждал эти обещания, – ответа он не получил. Режим их содержания едва ли не ужесточился, во всяком случае, стала строже секретность, пришла, например, инструкция, как хоронить «любого умершего из семьи» – пастора не звать, отпевать ночью, покойного называть просто по имени, не упоминая, что он принц. Надо думать, по этим правилам хоронили и Антона-Ульриха – «во 2-м часу ночи со всякими предосторожностями». Принцесса Елизавета горько жаловалась на то, что они, «в неволе рожденные», только тем и виноваты, что родились на свет, умоляла об одном, чтобы им дали хотя бы «малые свободы», – все было напрасно. Самое страшное преступление Екатерины, справедливо говорит Эйдельман, заключалось в том, что она подала несчастным людям большие надежды и нагло их обманула.

Но как нам, знающим, что она вовсе не злодейка, объяснить подобную бесчеловечность по отношению к людям, которые действительно виновны лишь в том, что они родились на свет? Вспомним, как была она незлобива по отношению к своим врагам, когда пришла к власти, – ко всем, даже к «Лизке» Воронцовой.

Рассмотрим ситуацию. Не Екатерина завязала этот узел, не она расставляла эти ловушки – с Иванушкой в Шлиссельбурге, с его родными в Холмогорах, – все это она получила в наследство от Елизаветы. А тут ладно бы четыре претендента, но главное – среди них принцесса, красавица и умница, которая, кстати, на коне впереди войска будет выглядеть эффектней, чем она, сама Екатерина, на своем Бриллианте. Еще не явилась миру «княжна Тараканова», но Екатерина знала, как опасны самозванцы, а тут – законная наследница, требующая своего права на престол у нее, узурпатора. Могла ли Екатерина в то время их отпустить? Я не знаю. Но вот что она, вне всяких сомнений, могла, так это изменить их жизнь за частоколом, ведь именно это она и обещала, когда писала: дайте мне время преодолеть трудности, «буду стараться облегчить ваше заключение». Ведь она сама испытала нечто вроде заточения и знала, что в подобном случае спасает: книги, накопление знаний, мысли, что приходят в голову, – тогда-то и раздвигаются стены темницы.

Вот тут-то и было совершено настоящее злодейство – детей Брауншвейгской семьи намеренно оставляли неграмотными, так было при Елизавете, так было и при Екатерине. Страшно читать письмо Н. И. Панина (а он ведал не только заключением Ивана Антоновича, но и всей семьи), где он выговаривает губернатору Голицыну: письмо принцессы Елизаветы написано умно и хорошим слогом, – он, Панин, до сих пор был уверен и надеялся, «что все они безграмотны и никакого о том понятия не имеют, чтобы сии дети свободу, а паче способности имели куда-либо писать своею рукою письма». Не писали ли они кому-нибудь и откуда у них такое умение? Антон-Ульрих ответил, что дети учились по церковным книгам, а также «по указам, челобитным и ордерам», то есть по документам канцелярии (это сомнительно, Елизавета пишет языком культурной женщины). Что поделать, – завершает эту тему Панин, – если «дети известные обучились сами собою грамоте, тому уже быть так, когда прежде оное не предусмотрено» (иначе говоря, если уж не догадались раньше перекрыть все каналы, по которым к этим несчастным шла простая грамота...). В самом деле, не разучивать же их обратно! – мрачно шутит Эйдельман.

И пошла дальше жизнь в доме-тюрьме, стали потихоньку умственно слабеть, угасать его узники. Они ничего не делают, играют в карты, говорят с поморским выговором («окают» или «цокают?»), выходят в свой сад недолгим северным летом, сидят на своем втором этаже долгими зимами, все больше болеют; становятся странными. Им по-прежнему привозят недурной провиант, венгерское вино, дорогие ткани. «Из Петербурга присылают нам корсеты, чепчики и токи, но ни мы, ни девки наши не знаем, как их надевать и носить», – пишет принцесса Елизавета и просит прислать кого-нибудь, который помог бы им «наряжаться». Ей, конечно, хотелось бы видеть какое-нибудь новое лицо, но никто к ним, разумеется, не приезжает. Мелькнул в донесениях коменданта полудетский роман принцессы Елизаветы с веселым сержантом из караула, кривым на один глаз и игравшим на скрипке (они валяли дурака, бросали друг в друга калеными орехами); чем этот роман кончился, нетрудно представить. Когда сержанта убрали, «младшая дочь известной персоны была точно помешанная, а при этом необыкновенно задумчивая. Глаза у ней совсем остановились во лбу, щеки совсем ввалились, при том она почернела в лице, на

голове у ней был черный платок, и из-под него висели волосы, совершенно распущенные по щекам» (видел бы сейчас Бибиков ту, в которую влюбился без памяти). Юные принцы, по донесению начальства, выросли робкими, застенчивыми, и у них «приемы, одним ребятам приличные». И губернатор Голицын им сочувствует, и сам генерал-губернатор Мельгунов (тоже из екатерининской команды) за них ходатайствует. Все глухо.

«Белой ночью с 29 на 30 июня, – пишет Н. Эйдельман, – в два часа пополудни из Новодвинской крепости выходит корабль «Полярная звезда». Тайна столь велика, что даже местный губернатор не посвящен, куда везут его бывших подопечных. Со всех свидетелей взята подписка. «И я, – заключает ответственный за всю операцию генерал-губернатор огромного края Алексей Мельгунов, – провожал их глазами до тех пор, пока судно самое из зрения скрылось».

Это в 1780 году Екатерина выпустила на свободу холмогорских узников. Каков был шок для принцев и принцесс, когда они – впервые в жизни – вышли за ограду крепости! Но самое страшное заключалось в том, что они были уверены, будто их везут на смерть. Они не верили Мельгунову – даже когда тот привел на фрегат свою жену, чтобы их успокоить, – и успокоиться не могли. Корабль шел мимо крепости, где в соборе шла служба – четверо «холмогорцев», дрожа, прижались друг к другу, они решили, что это их отпевают. На свободу, за рубеж, о чем они так мечтали, Россия вывозила людей, уже совершенно разрушенных.

Все-таки история эта немыслима и так оставить ее невозможно. Она ставит нас перед проблемой – политика и нравственность – и дает возможность рассмотреть эту проблему в разных ее гранях.

В начале 1774 года в Европе появилась претендентка на российский престол, которая называла себя Елизаветой Владимирской, княжной Таракановой, дочерью Елизаветы Петровны, предъявляла ее подложное завещание. Была она выдвинута польской аристократией, в частности, могущественными Радзивиллами, отправилась было в Константинополь, чтобы установить связи с турецким султаном, называла «маркиза Пугачева» своим кузеном и утверждала, что придет к власти с его помощью, – вот эта действительно была опасна. Она

пыталась объединить три огромные политические силы: Польшу и Турцию, которые в то время вели войну с Россией, и грозное крестьянское движение. Авантюристка была весьма энергична, отличалась умом и красотой, имела в Европе большие связи. Если бы ей удалось осуществить хотя бы часть своего плана, это принесло бы России неисчислимые беды. С ней можно было вести себя по законам войны, то есть по законам насилия и коварных ловушек. Екатерина велела Алексею Орлову, который был тогда за границей, «схватить бродяжку», и он приказание исполнил. Он объявил себя сторонником претендентки, прикинулся страстно влюбленным, предложил руку и сердце, а потом заманил на русский корабль. Княжну Тарakanову привезли прямо в Петербург. В мае 1775 года она была доставлена в Петропавловскую крепость, где и умерла от чахотки через несколько месяцев.

Вряд ли кто-нибудь в то время сомневался, что «авантюрьеру», как называла ее Екатерина, необходимо было обезвредить, поскольку та могла принести стране многие невзгоды. И все же методы, которыми это было сделано, были отвратительны многим, и славный адмирал Грейг был оскорблен тем, что предательский захват претендентки был совершен на его корабле и как бы его запятнал. Было высказано предположение, что звезда Алексея Орлова закатилась именно в связи с «княжной», которую он коварно заманил, пользуясь своим мужским обаянием и ее женской доверчивостью, что именно с этим связаны были его отставка и отъезд в Москву. Даже по законам военного времени история с «княжной Таракановой» показалась неприличной.

Ни по каким законам, однако, ни божеским, ни человеческим, нельзя было помещать в вечную тюрьму родных Ивана Антоновича. Но ведь правительство, еще при Елизавете, на подобное беззаконие пошло, а Екатерина, повторим, получила его от Елизаветы по наследству; и тогдашнее российское сознание против подобного хода дел не возражало. А в 70-е годы, когда разворачивались события, связанные с «княжной Таракановой», Екатерина тем более была не в состоянии выпускать на свободу тех, кто мог увеличить число претендентов на российский престол. Словом, если императрица из политических соображений считала неизбежным пребывание Брауншвейгского семейства в Холмогорах, то она обязана была

сохранить им жизнь. А она эти жизни разрушала, и надо полагать, сознательно. Ничего бы ей не стоило сделать их плен сносным, чтобы им присылали не только венгерское вино и корсеты, а чтобы у них были книги, и клавесин с нотами, и чтобы прекрасные картины висели по стенам; и чтобы ходили к ним (или жили с ними, как и их слуги) учителя, как о том умолял Антон-Ульрих; чтоб была расширена территория их сада, – хотя бы так! Иными словами, императрица, лишив их свободы, обязана была сделать все, чтобы они сохранились как личности и, когда бы настал час свободы, вышли из тюрьмы людьми.

И тогда на имени Екатерины не было бы столь отвратительного пятна.

Все дело в том, что при необходимости жесткого политического решения нравственные проблемы не исчезают и не становятся проще, наоборот, они только обостряются и требуют особой этической осторожности. В смутные времена, когда правители начинают лукавить и даже просто лгать, через день отпираясь от только что сказанного, когда политическая борьба действительно уже идет по законам войны, с ее насилием и коварством, начинается возникать некая «доктрина», которую сперва повторяют осторожно, а потом все чаще, чаще, и наконец, она нагло заявляет о себе как о непреложной истине: «Политика – дело грязное». На самом деле это только у грязных политиков политика грязная. И уж конечно, политический расчет не смеет перерасти в злодейство.

Мы не можем заподозрить Екатерину в лицемерии, когда она, еще великой княгиней, сделала запись – наедине с собой, без свидетелей, – о том, как ненавидит она тайные судилища, – помните? «Всю мою жизнь я буду чувствовать отвращение к чрезвычайным судным комиссиям, особенно секретным». А тут целая семья жила в условиях сверхсекретности – и без всякого суда. Царица была искренна, когда провозгласила и разрабатывала в своем Наказе принцип презумпции невиновности, а тут налицо были и невиновность, и бесчеловечное наказание. И вот, когда дело дошло до политической целесообразности (даже и не очень необходимой), она, опередившая свой век, пошла по пути обычного самодержавного произвола. Секретные узники, в маске или без нее, были делом обычным, такие гнили и в Бастилии, и в государственных тюрьмах других европейских стран (хотя

цивилизованные монархи уже выработали иную практику: они призывали опасного соперника к своему двору, осыпали его дарами и почестями – и не спускали с него глаз). Но когда Екатерина предала собственные принципы, ради которых работала и боролась, когда, воспользовавшись своей самодержавной властью, сгноила в тюрьме заведомо ни в чем не повинных, горький стыд за нее охватывает нас.

А принцы Брауншвейгского семейства, отпущенные на свободу и пребывающие в полном довольстве (Екатерина посылала деньги, достаточные для содержания приличного штата, а также дорогие подарки), жить обычной жизнью уже не могли. Впрочем, маленький датский городок Горсенс, куда их поместили, для них тоже был своего рода тюрьмой. Уже через четыре месяца королева Дании (их родная тетка, сестра Антона-Ульриха) пишет Екатерине, что принцы скучают по своим холмогорским лугам и лошадкам (королева, как видно, считала, что Брауншвейгская семья под властью Екатерины жила в богатом поместье) и говорят, что им тут еще хуже.

В 1782 году в очередном припадке безумия умирает принцесса Елизавета, чью красоту и ум отмечали даже присланные с ревизией чиновники и в которую был без памяти влюблен молодой столичный генерал. Потом один за другим умерли принцы. Осталась Екатерина, ей было уже 63, когда она написала своему духовнику: «Преподобнейший духовный отец Феофан! Што мне было в тысячу раз лучше жить в Холмогорах, нежели в Горсенсе... И я теперь горькие слезы проливаю, проклиная себя, что я давно не умерла».

Так благодаря Натану Эйдельману мы знаем о доподлинном, не выдуманном преступлении Екатерины. И в который раз видим: она была беспощадна, когда речь шла о ее власти.

«Императрица уважала Бибикова и уверена была в его усердии, – пишет Пушкин, – но никогда его не любила», и далее прямо связывает эту ее нелюбовь с холмогорским делом. Между тем источники этого ее отношения не подтверждают. Когда собралась Уложенная Комиссия, Екатерина, у которой был большой выбор среди тех, кто мог бы эту Комиссию возглавить, выбрала Бибикова. А ведь это предприятие было в то время главным делом ее жизни, тут простого уважения было бы мало, и даже одного единомыслия не хватило бы; тут требовалась

личная симпатия, без которой они вряд ли могли бы работать так, постоянно и ежедневно, как они в те дни работали.

Между тем есть основания утверждать, что Бибиков принадлежал к тем избранным, которые были неременными участниками важнейших предприятий Екатерины, – во всяком случае, именно его, вместе с другими приближенными, она взяла с собой в знаменитое путешествие по Волге. Во время этого путешествия, в котором принимало участие много народу, Бибиков оказался в узком кругу приближенных (где были Елагин, братья Орловы – Григорий и Владимир, Захар Чернышев и другие), вместе с Екатериной занимавшихся в пути переводом знаменитой в то время книги Манмортеля «Велизарий», причем Бибиков переводил одну из самых важных глав книги, трактующую об обязанностях государя. И тут близость и полное доверие.

Симпатия Екатерины к Бибикову сказала и еще в одном эпизоде этого путешествия: Екатерина посетила дом Бибикова, стоящий на берегу Волги, – приезд государыни к кому-то в гости считался великой честью и знаком симпатии. Сын Бибикова сообщает об этом визите с полной достоверностью, потому что Екатерина его, тогда ребенка, взяла на руки и тут же произвела в прапорщики Измайловского гвардейского полка (это значит, что карьера Бибикова-младшего была обеспечена, и это должно было доставить его отцу живейшее удовольствие). «С тех пор щедроты ее не иссякали», – пишет Бибиков-младший. Александр Ильич вообще очень дорожил семейными связями, был предан родным, и когда Екатерина объявила ему, что за его деятельность в Казани она награждает его орденом Александра Невского (а надо знать, повторим, в какой цене были тогда ордена!), Бибиков просил, чтобы орден этот дан был его отцу, – Екатерина поняла его и согласилась.

Говоря о холодности Екатерины к Бибикову, Пушкин объясняет это тем, что генерала подозревали в приверженности к партии, которая хотела возвести на престол Павла. Но дальнейший пушкинский текст свидетельствует о том, что Бибиков был отнюдь не на стороне придворных, которые «беспрестанно отравляли отношения между матерью и сыном», напротив, он «не раз бывал посредником между императрицей и великим князем». В доказательство Пушкин приводит пример, весьма, кстати, примечательный для понимания того, сколь

напряженной и едва ли не взрывоопасной бывала ситуация. Однажды Павел спросил полковника Бибикова, брата Александра Ильича, сколько времени понадобится полку в случае тревоги, чтобы прийти в Гатчину (резиденцию Павла). На другой день Бибиков-старший узнал, что об этом вопросе донесли императрице и что у брата отнимают полк. Он кинулся к Екатерине, объяснил, что речь шла о делах военных, а не о заговоре. Екатерина успокоилась, но все же велела передать брату (как полагаю, в виде мрачной шутки), «что в случае тревоги полк его должен идти в Петербург, а не в Гатчину».

При всей напряженности отношений Екатерина – несмотря на Холмогоры и на независимость своего генерала – все же верила Бибикову и именно к нему обратилась, когда пришла беда. «Она подошла к нему на придворном бале с прежней ласковой улыбкой и, милостиво с ним разговаривая, объявила ему его новое назначение» – он должен был ехать гасить пожар пугачевщины. Генерал, выразив готовность служить отечеству, все-таки ответил насмешливо – словами песенки о сарафане, который «везде пригождается, а не надо, сарафан и под лавкой лежит». Но это могло означать также, что, по его мнению, ему можно было поручать больше работы, чем поручали.

Он тотчас отправился в Казань, нашел состояние дел ужасным. «Наведавшись о всех обстоятельствах, – пишет он жене вскоре после приезда, – дела нашел прескверны, так что и описать, буде б хотел, не могу; вдруг себя увидел гораздо в худших обстоятельствах и заботе, нежели как сначала в Польше со мной было... Зло таково, что похоже (помнишь) на петербургский пожар, как в разных местах вдруг горело и как было поспевать всюду трудно». И тут уже пылало, местами уже выгорело, повсюду бродили мятежники, а дворяне в панике бежали под защиту властей, которые не умели их спасти. Правительственные войска терпели одно поражение за другим. Трудно было сколотить боеспособную армию, еще труднее было ее прокормить в разоренном крае, с ненавидящими жителями. «Зло велико. Преужасно. Батюшку, милостивого государя, прошу о родительских молитвах, а праведную Евпраксию (бабушка, воспитавшая Александра Ильича. – О. Ч.) нередко поминаю. Ух! дурно». Его письмо графу З. Г. Чернышеву: «Терпение мое час от часу становится короче в ожидании полков, ибо ежечасно получаю страшные известия... Воеводы и начальники отовсюду бегут с утрашением... Не могу тебе, мой друг, подробно

описать бедствия и разорения здешнего края, следовательно, суди и о моем по тому положении. Скареды и срамцы здешние гарнизоны всего боятся, никуда носа не смеют показать, сидят по местам, как сурки, и только что рапорты страшные посылают. Пугачевские дерзости и его сообщников из всех пределов вышли; всюду посылают манифесты, указы. День и ночь работаю, как каторжный, рвусь, назаседаюсь и горю как в огне адском; но варварству предательств и злодейству не вижу еще перемены, не устает злость и свирепость, а можно ли от домашнего врага довольно охраниться...»

Бешеная энергия Бибикова стала приносить результаты. «Дела мои, Богу благодарение! идут час от часу лучше; войска продвигаются к гнезду злодеев. Что мной довольны (в Петербурге), то я изо всех писем вижу, только спросили бы у гуся: не зябнут ли ноги?»

Начались победы правительственных войск, одна из них, кровавое сражение под Татищевой, решила многое, были освобождены от осады и Оренбург, и Яицкий городок, и Уфа. Генерал Бибиков добился перелома, но для него самого война была окончена. Было ли то перенапряжение организма, не имевшего сил бороться с «горячкой», или яд, как говорили в народе, – он умер в Бугульме на сорок четвертом году жизни. «Тело его несколько дней стояло на берегу Камы, – пишет Пушкин, – через которую в то время не было возможности переправиться». Казань хотела, чтобы он был похоронен в ее соборе, и готова была соорудить ему памятник, но родные увезли тело Бибикова в его деревню. Посланные Екатериной награды – высшие: орден Андрея Первозванного, звание сенатора и чин полковника гвардии – в живых его не застали. Смерть его тяжело отозвалась в обществе, и Державин написал:

Блюститель веры, правды друг;
Екатериной чтим за службу,
За здравый ум, за добродетель,
За искренность души его.
Он умер, трон обороняя.
Стой, путник! Стой благоговейно.
Здесь Бибикова прах сокрыт.

А мы не можем не отметить, что «здравый ум» Александра Бибикова позволил ему понять (а у него к тому же была возможность и самому разглядеть в краю, охваченном восстанием), что такое пугачевщина. Мало кто тогда понимал ее суть, все больше толковали о злодее-самозванце и злодеях, его сообщниках. А умный Бибиков понял: «Ведь не Пугачев важен, да важно всеобщее негодование» (письмо Д. Фонвизину).

Ни разу этот человек не отступал от правил чести и независимости – ни тогда, когда оценивал великое и страшное по своему злодейству народное движение, ни тогда, когда послан был в занесенные снегом Холмогоры и ничуть не покривил душой, донося императрице о безвинно страдающих «государственных преступниках».

Мы говорили о сподвижниках Екатерины, по праву занимающих место рядом с ней, – пока только о троих. Нам предстоит еще Бецкой (хотя и тут мы с ним повременим ввиду его особого значения), предстоят фавориты. Но есть человек, который занимает место рядом с ней не по праву, во всяком случае, когда речь идет о первом и главном десятилетии ее царствования, – это Е. Р. Дашкова. Необходимо разрушить легенду, которую создала прежде всего она сама. Ее записки умышлены с начала до конца: их главная цель – самовосхваление и самооправдание (а княгине было в чем оправдываться), и потому полны преувеличений, искажений и, наконец, простого вымысла. Любому непредвзятому читателю, например, покажется неправдоподобным ее рассказ о перевороте 1762 года, о том, будто бы это она руководила заговором, она возвела Екатерину на престол – это к ней бегают Орловы за советом, это ее распоряжения они беспрекословно выполняют и т. д. Всеми этими историями она, по-видимому, сильно надоела при дворе, и Екатерина сочла нужным разъяснить, что Дашкова действительно была рядом с ней в дни переворота, но знала лишь ничтожную часть заговора: ей, восемнадцатилетней, императрица не могла доверить столь важное дело, тем более что Екатерина Романовна Дашкова была родной сестрой Елизаветы Романовны Воронцовой, любовницы Петра III, и могла быть неосторожной в родственном кругу. Рассказы Дашковой о перевороте – там, где речь идет о ее участии, – порою выдуманы целиком вместе с ситуациями и словами, которые произносят

действующие лица, – вроде признаний самой Екатерины: «Кто бы мог сказать, что я буду обязана царским венцом молодой дочери графа Романа Воронцова». Тем самым записки Дашковой занимают особое место в ряду русской мемуаристики второй половины XVIII века, которая замечательна своим простодушием и правдивостью; мемуары зачастую были серьезным внутренним делом человека, он вспоминал свою жизнь и рассказывал о ней, как правило, своим близким, особенно «любезным детям». Конечно, не обо всем писал он в своих мемуарах, но то, что говорил, говорил честно (потому эти воспоминания и являются столь ценными историческими источниками). Записки Дашковой только условно можно назвать воспоминаниями, это сочинение, где по хронологической канве нередко расшит чистый вымысел.

Есть в записках нечто прямо маниакальное, такова ее ненависть к Орловым, тут она уже просто теряет рассудок (заходит, например, речь о Мировиче, и Дашкова говорит, что он «точный слепок Григория Орлова по самонадеянности и скудости ума»). Однажды ночью она проснулась от пьяных криков под окном – то были ткачи, которых Орловы будто бы «вызывали к себе, заставляли петь и плясать, затем напивали их и отпускали домой». Эти идущие от Орловых ткачи произвели на княгиню потрясающее впечатление. «Я почувствовала сильные внутренние боли, – пишет она, – и судороги в руке и ноге»; послала за хирургом, который, увидев, в каком она ужасном состоянии, «совершенно растерялся», спасал ее придворный врач, она долго еще лечилась от потрясения, принимала ванны, но силы ее все никак не могли восстановиться.

В рассказах Дашковой чувствуется какое-то нелепое преувеличение, аффектация, истерический надрыв.

Морозный день, у нее начались родовые схватки, и туг она узнает, что ее муж, который простудился в Петербурге, приехал в Москву, схватил ангину и, как видно, чтобы не заразить ее и родных, остановился в доме тетки, которая послала за доктором. И Дашкова идет на подвиг: говорит окружающим, что схваток нет, что то была ложная тревога, выходит на мороз и пешком идет к тому дому, где лежит муж. По дороге боли усилились, но и это ее не остановило. «Не понимаю, как я могла подняться по лестнице... Очевидно, Господу Богу было угодно, чтобы я вынесла эти муки»; а в комнате больного

она упала в обморок, ее вынесли, положили в сани и доставили домой. Всякое может выкинуть полусумасшедшая девчонка, я говорю не о ней, но о той уже немолодой женщине, которая описывает все это в тонах героико-романтической поэмы. Некая неадекватность, помноженная на бурный темперамент. А молодой князь Дашков был в ужасе от ее прихода, вскочил с постели – нетрудно представить себе его раздражение (особенно если предположить, что уже тогда он любил не жену, а другую женщину). Впрочем, он рано умер (1764 г.), оставив Екатерину Романовну с двумя детьми; она долго не могла прийти в себя от горя, а потом занялась семейными делами. 1765 год – она хотела поселиться в деревне, «но узнала, что дом там совсем развалился». «Тогда, – пишет она, – я велела выбрать крепкие балки и выстроить из них маленький деревянный дом и следующей весной поселилась в нем на восемь месяцев». Это, стало быть, 1766-й. Тут на нее обрушилась одна неприятность: ее свекровь подарила свой городской дом внучке, вследствие чего у княгини не стало больше пристанища в городе. Мы узнаем, что три года спустя (это, значит, 1768-1769-й) свекровь стала жить в доме, «очень выгодно купленном» Дашковой в предыдущем (то есть 1767-1768-м?).

Среди множества таких вот подробностей мы не слышим ни единого слова об общественном подъеме той поры. Уже создалось Вольное экономическое общество, уже шла бурная полемика по поводу статьи Беарде де л'Абея вокруг вопроса о крестьянской собственности и крестьянской свободе – Дашкова об этом ничего не знает. Екатерина уже написала свой «Наказ», уже дала его читать окружающим, уже вокруг него шли горячие споры – Дашкова понятия об этом не имеет. Наконец, уже был издан манифест о созыве Уложенной Комиссии, по всей стране уже шли выборы; торжественное шествие в Москве, служба в Успенском соборе, собрание в Грановитой палате, громовые речи депутатов в Большом собрании – и об этом ни слова.

Трудно поверить, но в воспоминаниях Дашковой этих лет (как и всех прочих) нет ни единого упоминания ни о Наказе, ни о выборах депутатов, ни о дебатах в Большом собрании, вся бурная жизнь общества прошла мимо просвещенной княгини, словно не в России она жила. Только хозяйственные заботы, весьма подробно изложенные, и желание поскорее уехать. Дашкова тщетно просила Екатерину

отпустить ее за границу (как статс-дама без разрешения императрицы она уехать не могла), Екатерина на эти просьбы не отвечала. В 1769 году Дашкова все-таки получила разрешение и уехала, громко объявляя, что целью ее поездки было воспитание детей, и особенно сына.

И вот она за границей. Нет сомнений, что замечательная история о том, как она возвела на престол Екатерину, сопровождает ее и даже предшествует ей – создан образ отважной княгини, готовой отдать жизнь за свою государыню. Есть у нее и другой образ – нежной матери. Она сама говорит о себе так, и другие твердят о том же. При дворе Георга III королева говорит ей: «Я уже знаю, и своими словами вы подтверждаете, что вы редкая мать». Только и слышно: «О, какая нежная, какая редкая мать!»

Надо ли говорить о том, что все восхищены ее умом – например, знаменитый Дидро. Дашкова встретила с ним в Париже и тут замечательно высказалась по поводу освобождения крестьян: «Мне представляется слепорожденный, которого поместили на вершину крутой скалы, окруженной со всех сторон глубокой пропастью; лишенный зрения, он не знал опасности своего положения и беспечно ел, спал спокойно, слушал пение птиц и иногда пел вместе с ними. Приходит несчастный глазной врач и возвращает ему зрение, не имея, однако, возможности вывести его из его ужасного положения. И вот – наш бедняк прозрел, но он страшно несчастен; не спит, не ест и не поет больше; его пугают окружающие его пропасти и доселе неведомое отчаяние». То есть как это так – только ел и спал – не работал и не знал, что он раб, что жену, любого из детей и его самого могут послать на конюшню или продать в дальние края? «Иногда поет вместе с птицами»? – что за бред. Можно представить себе, как изумился философ, – что же, она своей страны совсем не знает, эта княгиня, что может сочинять подобные аллегии?

Настолько равнодушна к судьбе народа? Однако, если верить Дашковой, Дидро от ее аллегии будто бы пришел в бурный восторг, воскликнул: «Какая вы удивительная женщина!» – и заявил, что она опрокинула идеи, которыми он жил двадцать лет.

Так путешествует она из страны в страну, от двора ко двору, всюду вызывая удивленное восхищение. В Париже открыла глаза Дидро, в Дюссельдорфе указала директору музея, что у него висит

подлинный Рафаэль, чего он не знал. Похвалила римского папу за строительство дороги, в Помпее указала неаполитанскому королю, что надо утроить количество рабочих на раскопках. И когда мы читаем письмо англичанки, жившей с нею в ее поместье, – «я не только не видывала никогда такого существа, но и не слыхивала о таком. Она учит каменщиков класть стены, знает до конца церковный чин и поправляет священника, если он не так молится, знает до конца театр и поправляет своих домашних актеров, когда они сбиваются с роли; она доктор, аптекарь, фельдшер, кузнец, плотник, судья, законник» и т. д., – то понимаешь, что княгиня совсем не умела видеть себя со стороны и что основной чертой ее стала нелепость.

Дашкова была очень умна, об этом все говорят, в том числе и Екатерина, – «с большим умом соединила и большой смысл, много прилежания», очень много читала, была образованна, разумеется, знала языки; по-видимому, разговор ее был интересен и жив. У нее была несомненная деловая хватка; когда она (только в 1782 году) вернулась в Россию и Екатерина уговорила ее стать директором Академии наук, Дашкова энергично взялась за дело; потом ею была организована Российская Академия (1783 год), издавшая «Словарь» – первый толковый и нормативный русский словарь, о котором с таким уважением отзывался Пушкин. В составлении этого словаря участвовали и Фонвизин, и Державин, и другие крупнейшие деятели, которых Дашкова смогла привлечь и объединить. Она основала два периодических издания, где печатались труды видных писателей и ее собственные сочинения. Однако попытка нынешних биографов представить Дашкову прогрессивным деятелем, гонимым реакционной Екатериной II, смехотворна – Екатерина не только не преследовала Дашкову, но неизменно упрашивала ее принять участие в общем просветительском движении, отпустила за границу только после многолетних просьб, а по возвращении княгини из-за границы немедленно сделала ее директором Академии и всячески помогала ей в работе. Екатерине нужны были образованные головы. Но она не могла не видеть одного из главных пороков княгини – непомерное тщеславие, которое делало ее нелепой.

Но нелепость – это бы еще полбеды: Дашкова была бессердечна. «Нежная, редкая мать», она портила жизнь своим детям, как только умела. Резче всего это обнаружилось в истории с сыном, который

женился по любви на неровне, а Дашкова отказалась признать его женитьбу и фактически с ним порвала.

Ее поступок вызвал возмущение в широком кругу просвещенных людей, отозвался на него и Державин – и притом самым неожиданным образом. В 1788 году умерла Мария Александровна Румянцева, статс-дама, пережившая восемь самодержцев, любившая в разговоре намекать на то, что у нее был роман с Петром I: мол, недаром ее сына зовут Петром и у него такой яркий талант полководца. Ода на ее смерть, написанная Державиным, по существу, едва ли не целиком посвящена Дашковой, тогда живой и здоровой, – именно ее поступку по отношению к сыну. Главная мысль оды примерно такова: Румянцева «зрела в торжестве и в славе и в лаврах сына своего», фельдмаршала, – а она, княгиня, что со своим сыном делает? Эту тему Державин разрабатывает очень подробно.

«Терпи!» – говорит он Дашковой, все еще образуется. «Пожди! – и сын твой с страшна бою» (молодой Дашков был в это время на турецкой войне)

Иль на щите, иль со щитом,
С победой, славою, женою,
С трофеями приедет в дом.
И если знатности и злата
Невестка в дар не принесет,
Благими нравами богата,
Прекрасных внучат приведет.
Утешься, – и в объятьи нежном
Облобызай своих ты чад;
В семействе тихом, безмятежном
Фессальский насаждая сад,
Живи и распложай науки...

Далее – кажется, не без некоторого яда, – выразив надежду, что княгиня подавила в себе страсти, и прежде всего желание «первою в вельможах быть», Державин старается внушить ей мысль – главную, заветную мысль XVIII века:

Одно лишь в нас добро прямое,
А прочее все в свете тлен;
Почиет чья душа в покое,
Поистине тот есть блажен.

Но Дашкова «распложила науки», а все остальные советы великого поэта – отбросить сословные предрассудки и понять, что дело не в знатности, а в душевных качествах, в сердечном тепле, – все это было ей недоступно. Значение же главной мысли XVIII века – о «покое души» – княгиня вообще не в состоянии была понять. Она была раздражительна, крайне конфликтна, у нее повсюду были враги – ее вражда со Львом Нарышкиным была знаменита; и когда в ее поместье вторглись две нарышкинские свиньи, княгиня велела зарубить их топором (убеждена, что при известии об этом Екатерина не преминула отметить грубое нарушение презумпции невиновности, поскольку свиньям наверняка не дали возможности объяснить свое поведение). Зарубленные топором свиньи – какое уж тут Просвещение.

Душа узкая, стянутая эгоизмом, не умеющая любить. И ее декламации по поводу любви к мужу тоже доверия не вызывают, тем более что князь Михаил Дашков был влюблен не в жену, а в Екатерину (как сообщает Пушкин со слов его дочери).

Дашкова не только не принимала ни малейшего участия в огромной просветительской работе, которую вела Екатерина 60-х годов, она была совершенно лишена духовной энергии и душевной широты, которые отличали императрицу и ее сподвижников.

Тем больше внимание должны мы уделить тем, кто действительно был рядом с Екатериной. И тут прежде всего – Орлов.

Глава седьмая

Семилетняя война, и Кенигсберг уже нами взят. По улице города идут четверо офицеров, один прусский и трое русских; встречаются старичка, прусского отставного полковника, весьма чопорного, напудренного, в старинном мундире. Прусский офицер, увидев старичка, страшно обрадовался и стал просить, чтобы тот показал им все свои «упражнения» и «хитрости»; старичок полковник привел их к себе, в комнату, загроможденную «множеством всякого рода машин, орудий и инструментов», принялся суесться, показывая свои последние работы, а русский офицер, описавший все это в своих мемуарах, стал осматриваться. «Не могу изобразить, с каким ненасытно-любопытным оком перебегал я с одного предмета на другой и с какой жадностью пожирал все своими глазами. Превеликое множество находилось тут таких вещей, каких я еще отроду не видывал и о которых не имел еще никакого понятия. Были тут токарные разных манеров станки, были полированные машины, было множество разных физических, оптических, математических и механических инструментов и орудий. Была огромная библиотека, множество всякого рода зрительных труб, зажигательных зеркалов, микроскопов, глобусов, карт, эстампов, разложенных книг и развешанных по стенам железных пил, долот, резцов и всякого рода рабочих орудиев и инструментов». Офицер глядел на все это, не мог наглядеться, готов был провести тут весь день, «все перебирать и пересматривать».

Но спутники его торопились в гости, старичок не успел показать и сотой доли того, что имел, да к тому же обо всем этом «говорено было в такую скользь», что наш любитель редкостей почти ничего не смог понять. Он надеялся, что, отстав от товарищей, вернется к старичку, но тот вышел вместе с ними и запер дверь. Трое офицеров отправились в гости, а четвертый в великой досаде – к себе домой.

Компания эта для нас любопытна. Прусский офицер – граф Шверин, флигель-адъютант самого Фридриха II, недавно взятый в плен русскими. «Как был весьма знатного рода, а потом малый молодой, свежий, ловкий, проворный и сущий красавец и разумница, а

притом до того находился у короля в милости, то не только не содержан был он у нас взаперти, но оказываемо ему было от всех наивозможнейшее уважение. Он жил у нас совсем на свободе и имел только у себя для имени двух приставов, таких же ребят молодых, таких же ловких, проворных и красавцев». Одним из них был Григорий Орлов, другим его двоюродный брат Зиновьев, оба тогда поручики; А четвертый был Болотов (так красочно рассказавший нам, как развлекался со своими приятелями новоявленный император Петр III).

«Сии три молодца были тогда у нас первые и наилучшие танцовщики на балах, и как красотою своею, так щегольством и хорошим поведением своим привлекали к себе всех зрение. Ласковое и, в особенности, приятное обхождение их приобрело им от всех нас искреннее почтение и любовь, но никто так тем не отличался, как помянутый господин Орлов. Он и тогда имел во всем характере своем столь много хорошего и привлекательного, что нельзя было его никому не любить». Они подружились, Орлов и Болотов, Орлов называл друга Болотенко, опекал, помог ему, провинциальному дворянину, войти в круг светской молодежи. Андрею очень хотелось танцевать на балах, но он был застенчив, да и не знал, как посмотрит на такую вольность его генерал. И Орлов пошел уговаривать генерала. «Да умеет ли он танцевать?» – спросил генерал. «Я думаю, что умеет», – ответил Орлов. И пустился Андрей «во вся тяжкая», принялся «прыгать и вертеться с самими принцессами, графинями и баронессами и стоять нередко в ряду с самими генералами в лентах и кавалериях». А потом пошли маскарады, которых Болотов сроду не видывал и которые произвели на него большое впечатление.

«Но некоторая маска так хороша и прелестна не казалась, как арапская, невольническая, в которое платье одеты были Орлов и Зиновьев. Сшито оно было все из черного бархата, опоясано розовыми тафтяными поясками; чалмы украшены бусами и прочими украшениями, и оба они, будучи одеты одинаково, скованы были цепями, сделанными из жести. Поелику оба они высокого и ровного роста и оба имели прекрасную талию, то нельзя изобразить, сколь хороший вид они собой представляли и как обратили всех зрение на себя».

Григорий Орлов и Андрей Болотов одного поколения, но трудно представить себе людей более несхожих по складу и по образу жизни. Болотов рос в своей маленькой деревеньке Дворяниново. Орлов, сын генерал-майора, новгородского губернатора, в пятнадцать лет был отдан в Петербургский шляхетский сухопутный кадетский корпус (в период его наибольшего расцвета, здесь интересовались литературой, сюда приезжал Сумароков, и кадеты разыгрывали перед ним его пьесы); Орлов особенно успевал в языках, французском и немецком.

Еще в Кенигсберге Болотов был влюблен в Орлова. А когда тот перешел на службу в Петербург, в него была влюблена едва ли не вся гвардейская молодежь. И жизнь он вел гвардейскую, с кутежами (а порой и драками, братья держались вместе, а драки случались серьезные, в одной из них Алексей Орлов получил тяжкий шрам, обезобразивший его лицо), с громкими романами. Болотов о романах не помышлял, он был озабочен тысячью разных дел.

Орлов был известен в армии беззаветной храбростью; при Цорндорфе был трижды ранен, но остался в строю. Юный Болотов войны боялся «больше, чем медведя», и когда узнал, что его собираются «вытурить из Кенигсберга» и послать в действующую армию, впал в панику и сделал все, чтобы остаться в городе. Он мечтал о тихой деревенской жизни. Его тянули к себе научные приборы и проблемы, его завораживали книги.

Братьев Орловых было пятеро, они были очень дружны, поместий своих не делили. После смерти отца старшим в семье стал Иван, и когда он входил в комнату, Григорий всегда вставал – так был воспитан.

Ах, если бы Орлов, подобно Болотову, оставил воспоминания! Но жизнь его была переполнена через край, летела на почтовых, ему было не до мемуаров. И Екатерина в Записках о своем романе с Орловым ничего не говорит, оба они свои отношения умело скрывали. Даже Дашкова, тогда не только близкая ко двору, но и бывшая в дружбе с Екатериной, была удивлена (и шокирована!), когда во время переворота нашла Орлова, лежащего с поврежденной ногой в покоях императрицы, и уже вовсе возмущена, когда оказалось, что ужин сервирован возле канапе, на котором он лежал. «С той минуты я поняла, что Орлов был ее любовником и что она не сумеет этого

скрыть». Судя по тому, что за два месяца до переворота у них с Орловым родился сын, Екатерина умела скрывать то, что считала нужным скрывать.

Словом, образ Орлова приходится восстанавливать по источникам весьма отрывочным.

Болотов тоже оказался в Петербурге – адъютантом своего генерала, который теперь, при Петре III, стал генерал-губернатором столицы и целыми днями гонял из дворца во дворец, от одного вельможи к другому, а Болотов обязан был сопровождать его верхом, слева от кареты, и непременно так, чтобы голова лошади равнялась с ее дверцами. Неслись они «как угорелые кошки», и Болотова с ног до головы обдавало грязью левое колесо. Но самым худшим была тоска ожидания в передних, особенно дворцовых («сон клонил меня немилосердным образом, и подремать не было нигде ни малейшего способа»), пока догадливый Болотов не заглянул однажды за огромную печку и не обнаружил там «узкую пустоту между печью и стеною», куда можно было с трудом влезть и спать стоя, не падать. Таким образом, и Болотов тоже бывал при императорском дворе.

А кругом шли тревожные разговоры – что Екатерина в опасности, что ее хотят заточить в монастырь. Император откровенно предавал интересы России: позорный мир с Фридрихом II, приготовления к войне, в которой российская гвардия должна была идти отвоевывать у Дании Шлезвиг, чтоб отдать его Голштинии.

В Петербурге они вновь встретились, Болотов и Орлов, который «был все еще таков же хорош, молод, статен, как был прежде»; ему очень шел артиллерийский мундир. Они были рады друг другу, Орлов, уходя, обнял его, поцеловал и позвал к себе. Через несколько дней пришел к нему нарочный – звать к Орлову, мол, есть нужда, Болотов не мог (карета генерала уже стояла у крыльца), да и к чему такая спешка? Но вскоре нарочный явился опять: у господина Орлова к нему нужда, и крайняя (а Болотов опять отлучиться не мог). В следующий раз Орлов пришел к нему сам, звал к себе – надо поговорить. «Почему же не поговорить прямо здесь?» – спросил Андрей. Орлов было согласился, но задумался, а потом, словно «встребенувшись», сказал: нет, тут им говорить нельзя.

Болотов обещал прийти, но начали ему «неотступные его просьбы и столь усиленные зовы уже несколько и подозрительными становиться». «Что за секреты?» – думал он, когда весь в грязи скакал возле генеральского колеса.

Время было очень шаткое, вот в чем дело. Болотов решил все же не торопиться с визитом, и только когда произошла «революция» и открылось, «что такое был Орлов», понял он, от какой опасности Бог его спас. Тут на карту была поставлена судьба, может быть, и жизнь, – ради чего, спрашивается, такой «страх и ужас»?

Но уже был издан указ о вольности дворянства, Болотов был свободен и мог ехать в свою деревеньку.

А в самом деле, какая же была у Орлова к нему «крайняя нужда»? В заговоре было множество гвардейских крепких офицеров. Зачем же понадобился именно этот, простодушный, робкий, в заговорщики непригодный, только о том и мечтающий, чтобы сбежать в деревню? Можно предположить, что Орлов был так настойчив потому, что понимал: новому режиму очень нужны будут такие люди, глубоко правдивые, дельные, одаренные, с их страстью к наукам и книгам. А в Болотове сработал здоровый инстинкт самосохранения, он как раз и спасал эту свою одаренность, возможность спокойной работы. Оба были правы, и оба, как мы увидим, – в конце концов выиграли.

А тогда, в 1762 году, Андрей Тимофеевич счастливо катил в свое Дворяниново.

«Теперь не могу я никак изобразить того сладкого восхищения, в котором находилась вся душа моя при приближении к нашему жилищу. И ах! Как вспрыгалось и вострепеталось сердце мое от радости и удовольствия, когда увидел я вдруг перед собой те высокие березовые рощи, которые окружают селение наше со стороны северной и делают его неприметным и с сей стороны невидимым. Я перекрестился и благодарил из глубины сердца моего Бога за благополучное доставление меня до дома и не мог довольно насытить зрения своего, смотря на ближние наши поля и все знакомые еще мне рощи и деревья! Мне казалось, что все они приветствовали меня, разговаривали со мной и радовались моему приезду. Я сам здоровался и говорил со всеми ими в мыслях. А не успели мы въехать в длинный свой между садов проулок, как радующийся кучер мой полетел со мной, как стрела, и раздавался только по рощам стук и громкий его

свист... В единый миг оказались мы перед старинными и большими воротами моего двора, покрытыми огромною кровлею и снабженными претолстыми и узорчатыми верями, и вмиг вскакивают спутники мои с повозок и с громким скрипом растворяют оные, и мы въезжаем на двор и летим как молния к крыльцу господского дома». И дворня сбежалась к молодому барину, которого уже и не чаяла увидеть живым. Он был у себя и со своими.

А в распоряжении Орлова скоро будут богатейшие поместья (Екатерина подарит ему также и Гатчину, бывшее владение всесильного при Петре Меншикова). Огромные владения с парками, садами, церквями, прудами, многочисленными постройками. С деревнями и с тысячами крепостных. И будет он в самом эпицентре власти, возле руля, поворотом которого определялась жизнь огромной страны. Орлов понимал значение Екатерины – с ее умом, образованностью, темпераментом, – но вряд ли даже он, хорошо ее знающий, мог предполагать, что она так мощно развернет паруса российского корабля.

Он сделал все, чтобы Екатерина пришла к власти. Заговор был делом весьма опасным, партия Петра была достаточно сильна (да и голштинцы при нем), в том, что в случае неудачи расправа будет свирепой, никто не сомневался, – и вдруг они на грани провала. Нужно было срочно мчать в Петергоф за Екатериной, а он, Орлов, оказался связанным по рукам и ногам: к нему был приставлен адъютант Петра, который не отставал от него ни на минуту. Всю ночь Орлов поил адъютанта и только к рассвету, когда тот уже свалился под стол, был свободен и мог ехать встречать Екатерину.

После их победы Орлов просил (так говорит Екатерина) его отпустить: свой долг он выполнил и больше во дворце ему делать нечего. Рассказ сомнителен, тем более что изложен с несвойственной ей патетикой («он бросился к моим ногам» и т. д.), но то же самое, уже без патетики, рассказано и в записках Дашковой (правда, со слов Екатерины). Впрочем, кто знает, может быть, Орлову и не нужна была власть; подобное предположение имеет резон, поскольку он, оставшись при Екатерине, этой властью не воспользовался и не стал, подобно Потемкину, ее фактическим соправителем. Но он был рядом с Екатериной во всех начинаниях ее первого десятилетия 60-х годов.

Нужно представлять себе гигантские пространства России и ничтожность ее населения, чтобы понять, как остро стоял в стране вопрос о рабочих руках, – многие историки даже само крепостное право выводили из этой нехватки рабочего населения. Мы видели, как на Большом собрании Уложенной Комиссии сословия грызлись за право владеть крепостными душами, а в реальной жизни помещики крали друг у друга крепостных, сманивали, прятали. Не в силах были тогдашние российские хлебопашцы обработать необъятные поля России. Рабочих рук не хватало и в деревне, и в городе. Привлечение иностранной рабочей силы (да еще свободной) становилось важным делом.

Именно им и занимался Орлов. Сперва под его председательством была создана комиссия по делам переселенцев, затем, в том же 1762 году, был издан манифест о переселении иностранных колонистов в Россию (и предписание Екатерины – печатать его «на всех языках»), а по Европе уже разъезжали вербовщики Орлова, приглашая желающих ехать в Россию. Желающих объявилось немало – заманчивы были условия: земельные участки, кредиты на обустройство, некоторое самоуправление, на определенный срок освобождение от налогов и рекрутского набора и, наконец, право сохранить свое вероисповедание, язык, обычаи, культуру. Тысячи колонистов поселились в России, в частности, на юге и особенно в Поволжье (отсюда и пошли немцы Поволжья).

Но, разумеется, не иностранные колонисты должны были решить главные проблемы России – Орлова, как и Екатерину, тревожила судьба крепостного крестьянства. Одним из первых читал он Наказ, еще не изуродованный и не сокращенный, тот, где Екатерина ставила вопрос об освобождении крестьян, – и был от него в восторге. Когда она отправилась в Прибалтику, где принимала жалобы крестьян и требовала от властей улучшения их жизни, Орлов не только сопровождал ее туда, но от ее имени отвечал ландтагу.

И наконец – Вольное экономическое общество, где он был одним из учредителей и первым президентом. Вряд ли можно сомневаться, что Орлов знал, кто был тот анонимный господин, что прислал ящик с золотыми и знаменитый конкурсный вопрос о крестьянской собственности. Именно Орлов настаивал на том, чтобы статья Беарде

де л'Абея, где шла речь «об освобождении крестьян», и притом освобождении их с землей, публиковалась не только на французском, но и на русском языке – иными словами, чтобы эта взрывчатая идея проникла в сознание российского общества.

Уложенная Комиссия – Орлов ее депутат. В наказе от копорских дворян, которые его выбрали, содержалось требование – о создании школ для крестьянских детей от семи до двенадцати лет для обучения их в зимнее время не только грамоте, но и первым основам законности. Правовое образование крестьян, начинающееся с детства, – мысль, достойная просветителя, сподвижника Екатерины. Орлов выступает в Большом собрании, и мы помним, как он – в связи с грубостью дворянского депутата по отношению к депутатам крестьянским – высказал лукавое предположение, что такой грубости не могло быть и, мол, вернее всего тут ошибка писца.

Но если таковы были его взгляды на крестьянский вопрос, хорошо бы знать, каково жилось на землях Орлова-помещика его многочисленным крепостным. Может быть, где-нибудь в местных архивах лежат документы, которые позволили бы ответить на этот вопрос? В нашем распоряжении свидетельство одного человека, правда, более чем авторитетного, – это защитник крепостного крестьянства и знаменитый просветитель Новиков, тот самый, что в ходе журнальной полемики так дерзко спорил с императрицей. Он утверждает, что в своих поместьях Орлов взимал самый милосердный оброк, и ставит его тем самым в пример российскому дворянству.

Но если Орлов вместе с Екатериной был против самого института крепостничества, почему он не отпустил на свободу собственных крестьян? Самая постановка такого вопроса в те времена вызвала бы взрыв негодования и показалась нелепой, антиобщественной и безнравственной. Но дело даже и не в этом: Орлов, если бы и хотел, не смог бы освободить своих крепостных – в России еще не было для этого правового механизма, он появится только при Александре I с его указом о вольных хлебопашцах.

Вместе пережили они и большую тревогу, Екатерина и Орлов.

Оспа! Она была ужасом человечества, эта болезнь, даже более страшная, чем холера и чума: те приходили как редкие гости, а эта вовсе из страны не уходила, появляясь то тут, то там, – и не было от нее спасения. Принцы перед ней были так же беззащитны, как и

нищие, список коронованных особ, погибших от нее (в том же XVIII веке), поражает как длиной своей, так и громкими именами – тут и английская королева, и император Священной Римской империи. Не миновала она и русский двор, Екатерина хорошо это знала – от оспы умер юный Петр II, – а рядом с ней вечным напоминанием было изуродованное лицо мужа. При малейших знаках появления оспы Екатерина, схватив сына, в ужасе бежала в какой-нибудь загородный дом и там запиралась.

Да, она боялась оспы безумно, но, как всегда, при виде опасности сочла долгом своим смело шагнуть ей навстречу.

В XVIII веке прививка против оспы широко применялась в Англии и оттуда распространялась на другие европейские страны, но велико было и сопротивление ей. Протестовало духовенство, народ видел в оспенном знаке коготь дьявола, возникала паника; даже часть медиков считала прививку распространителем заразы. Самому просвещенному передовому человеку и тому было страшно вводить в собственный здоровый организм смертельную заразу. Екатерина верила в науку, но как сделать так, чтобы в нее поверили другие? Размышляя над этим, она поняла, что есть единственный способ: начать с себя – «да и как ввести прививку оспы, не подав собственного примера?» Они с Орловым решили, что подадут этот пример вдвоем, даже втроем – сделав (через несколько дней) прививку наследнику.

Обо всем этом было торжественно оповещено. Из Англии был выписан знаменитый доктор Димсдел. Наука, конечно, дело серьезное, но и риск тут был немалый (враги прививки приводили тому страшные примеры), решение императрицы не могло не вызвать тревоги. Зато когда оказалось, что все обошлось и она здорова, поднялось невообразимое ликование. Был издан манифест к народу. В Сенате и Уложенной Комиссии ораторы произносили восхищенные речи. Была иллюминация, в церквях шли благодарственные молебны, трезвонили колокола. Знаменитые поэты писали стихи по столь великому случаю.

Екатерина все точно рассчитала: прививка оспы стала модой среди знати, доктор Димсдел был нарасхват.

Они держались великолепно, Екатерина и Орлов. Стоило поднимать такой шум из-за такого пустяка, говорила она, а «генерал-фельдцейхмейстер граф Орлов, этот герой, храбростью и великодушием подобный римлянам лучших времен Римской

республики, привил себе оспу, а на другой день отправился на охоту в страшную метель».

Когда Орлов уезжал на охоту (а он, бывало, один ходил на медведя), Екатерина ждала его, не садилась ужинать, бродила по комнатам и воскресала только тогда, когда вдали раздавались лай собак и топот копыт.

Даже в ее переписке с французскими просветителями, которой она так дорожила, Орлов тоже участвовал – написал письмо Жан-Жаку Руссо, приглашая приехать пожить в его имении, описывая прелести природы, убеждая, что у него знаменитому писателю будет спокойно и безопасно. Можно предположить, что между Екатериной и Орловым было условлено: письмо к Руссо пишет он, потому что она этого писателя не жаловала.

Именно потому, что Орлов не рвался на авансцену империи, так отрывочны сведения о нем. Подчас это просто мимолетные сценки. Вот, например, в протоколе заседания Уложенной Комиссии, как раз в день, когда выбирали ее маршала, есть запись, странная для протокольного жанра. «Во время баллотирования, – почему-то счел нужным отметить писец, – депутат копорской граф Григорий Григорьевич Орлов и Водской пятины Николай Ерофеевич Муравьев рассуждали тихо о внутренней архитектуре Грановитой палаты». Что заинтересовало писца – легендарный Орлов или сам предмет разговора? И что это был за разговор?

Провинциальный дворянин, Орлов рос среди русского зодчества, настолько привычного, что, вернее всего, его уже и не замечал. Елизаветинское барокко поразило всех своим веселым великолепием, овальными окнами, роскошью лепнины, блеском позолоты. Орлов вот уже пять лет как обитатель этих роскошных дворцов и к ним, надо думать, тоже привык. А тут надвигался классицизм, именно грозно надвигался – новое, как это часто случается, вело себя агрессивно и готово было на убийство. Через несколько лет великий Баженов создаст проект грандиозного дворца в Кремле (царство устремленных ввысь колонн, олицетворение победы того разума, которому поклонялось Просвещение); страшная опасность нависла над Кремлем, уже стали ломать стену, выходящую к Москве-реке, когда Екатерина все это запретила.

Поколение Орловых уже вряд ли могло понять прелесть древних церквей с их простодушными луковицами, с их сдержанностью и строгостью – оно было в плену у куда более экспрессивного и разговорчивого зодчества.

И вот теперь, с открытием Уложенной Комиссии, Орлов оказался в окружении древнерусского зодчества, мог слышать мощный голос Успенского собора (с Владимирской Божией Матерью над порталом), понять жесткую государственность Ивана Великого, благородство соборов Архангельского и Благовещенского. И вот теперь – Грановитая палата.

Кстати, Баженов и Орлов хорошо знали друг друга: когда архитектора уволили со службы и он бедствовал, Орлов, хозяин артиллерийского ведомства, взял его к себе главным архитектором (в чине капитана).

В этом весь Орлов. Услышал, что у Баженова беда, – и тут же пришел на помощь. Шел однажды дворцовым парком, встретил Фонвизина, узнал о его «Бригадире» – и немедля организовал ему публичное чтение, да и где? У самой императрицы! Успех был полный, после чего началось триумфальное шествие молодого драматурга по светским гостиным.

Но ничто так не расскажет нам об Орлове, как его отношение к маленькому наследнику престола. Мы помним обеды у великого князя, когда за столом собирались вельможи и знаменитости, которые порой в своих остроумных беседах забывали о маленьком хозяине. На эти обеды Орлов не приходил никогда: он терпеть не мог Панина и считал, что тому нельзя поручать воспитание Павла.

Орлов приходил к Павлу ради него самого. Он говорил с мальчиком о разных предметах – о физике, о «гремящем золоте», химии, ботанике, астрономии, водил в обсерваторию (которую устроил у себя на крыше) смотреть солнечное затмение. Как бывает меж друзьями, рассказывал о том, что занимает его самого: он ведал строительством набережных Мойки, Фонтанки и Черной речки, тогда еще текших в топких берегах, и приносил мальчику показать модели этих набережных. И об иностранных колонистах, конечно, рассказывал и показал, не без гордости, часы, сделанные одним из них.

Великий князь жил как затворник, простая прогулка по городу была для него праздником. Орлов берет его с собой то на маневры, то в манеж для верховой езды, то на яхту.

Старается заменить отца и мать, которых у мальчика нет?

Вот оба они, Орлов и Павел, поделили меж собою духовые орудия, «назначили в комнате болота и пригорки» (надо думать, что боевой офицер сделал все это вполне профессионально) – «и началась с обеих сторон пальба» (это, разумеется, Порошин). Посмотреть бы на них в ту минуту, на этих двоих. Конечно, у нас есть их портреты, рокотовский портрет Павла; есть гравюра Чемесова (который, как мы знаем, был мастером тонкой лирической трактовки) – портрет Орлова; он для нас неожидан – живое легкое мальчишеское лицо. Но время от времени историка (да и не только историка) охватывает острое желание – увидеть живыми! Вот этого великого князя, маленького, некрасивого, заброшенного, но в ту минуту счастливого, – и высоченного красавца Орлова, всеобщего любимца, знаменитейшего вельможу России, как они в азарте ведут бой через болота и пригорки – и такая идет пальба!

«У графа Орлова орлиная проницательность: я никогда не видела человека, который бы с таким совершенством овладевал всяким делом, которое он предпринимал, или даже таким, о котором ему говорят; все дурное и хорошее в этом деле приходит ему сразу на ум...»

Он все это доказал, когда предложил неожиданный и смелый план борьбы с турками – русская эскадра должна была явиться в Архипелаг с Запада, пройдя через Ла-Манш и Гибралтар. Экспедиция поначалу шла неважно, пришлось ремонтироваться в Англии, а к тому же адмирал Свиридов не торопился – «флот наш зашел в Аглинский порт, – свидетельствует мемуарист, – где простоял семь месяцев, якобы за починкою кораблей, а самая причина, что адмирал все твердил: «Авось помирятся». И все же победа русских при Чесме прогремела по всей Европе, Гете в своем жизнеописании «Поэзия и Правда» пишет, что Чесменское сражение стало поводом для ликования всего цивилизованного мира, «каждый считал себя причастным к торжеству победителей», а в России люди плакали от счастья. «Никогда не забуду того дня, – пишет И. И. Дмитриев, тогда мальчиком живший в Симбирске, – когда слышали мы реляции сожженного при Чесме

флота, у моего отца от восторга прерывался голос, а у меня навертывались слезы». Этот замысел требовал не только ума, но и широкого кругозора.

Орлова уважали, его высокая репутация дошла до Пушкина, недаром собеседниками, с которыми Екатерина «беседы мудрые вела», он назвал двоих: Державина и Орлова.

Вряд ли кто-нибудь из окружения Екатерины удостоился стольких живых и дружелюбных отзывов, как Григорий Орлов. Английский посланник считал нужным сообщить своему двору о замечательных личных качествах фаворита – он мягок, совершенно прост, лишен каких бы то ни было претензий, к государыне весьма почтителен. Не очень образован, но очень одарен от природы и много работает. «Имея случай поговорить с ним однажды вечером, когда он был разгорячен танцами и лишним выпитым стаканом, положительно могу утверждать, – пишет англичанин, – что этот человек дорожит честью и правдой».

Еще более интересен для нас отзыв князя М. Щербатова, человека желчного, непримиримого, взявшего на себя задачу бичевать современные ему нравы. Он говорит не только о личных качествах Орлова, но и о нем как государственном человеке, влиявшем на характер правления в годы своего фавора. «Во время случая Орлова дела шли довольно порядочно, и государыня, подражая простоте своего любимца, снисходила к своим подданным... Орлов никогда не входил в управление не принадлежавшего ему места, никогда не льстил своей государыне, к которой неложное усердие имел, и говорил ей с некоторой грубостью все истины, но всегда на милосердие подвигал ее сердце».

Баловень фортуны, русский граф, князь Римской империи, один из богатейших вельмож России, красавец, невенчанный муж великой царицы, всеобщий любимец – был ли он счастлив?

«Гатчинский помещик хандрит», – писала Екатерина одному из своих корреспондентов. Почему же Орлов с его силой и его темпераментом пребывал в тоске? Может быть, все-таки щемило сердце, когда он представлял себе российские военные корабли в Чесменской бухте, и дым, и гром сражения – по его замыслу и плану, но не под его командованием? А что же он, с его энергией и опытом?

Перемещается из Зимнего дворца в Царское Село и обратно, самое большее – сопровождает царицу в ее путешествии по Волге? Или на охоте ходит один на медведя?

Его час пробил, когда в старую столицу России пришла чума.

Появилась она в 1771 году, поутихла с зимними холодами, а в 1772-м начала свирепое наступление. Сколько ни старались московские власти – карантин (временные больницы), работа врачей в домах, похоронные бригады, костры, где сжигали заразную одежду, – они не справлялись, чума обгоняла их. Уже умирали десятки и сотни в день, уже некому было убирать мертвых, которые лежали в домах и валялись по улицам. Полиции не хватало. И тут в темном московском народе началась другая эпидемия, не менее опасная, – подозрительность и страх: в бедствии видели очаги заразы, во врачах – отравителей, злоба и отчаяние копились в народе; люди обращались к церкви, теснились возле особо чтимых икон, этим еще больше заражая друг друга. Кто мог – и знатные, и незнатные – бежали из Москвы, разнося заразу; нужно было закрывать город, но сил стоящего в Москве полка для этого не хватало. Положение было отчаянное, московский генерал-губернатор П. С. Салтыков, человек престарелый, не знал, что и делать, и написал Екатерине отчаянное письмо: «Болезнь уже так умножилась и день ото дня усиливается, что никакого способу не остается оную прекратить, кроме что всяк старался себя сохранить. Мрет в Москве в сутки до 835 человек, включая тех, коих тайно хоронят, и все от страху карантин, да и по улицам находят мертвых до 60 и более. Из Москвы множество народу подлого побежало, особливо хлебники, калачники, маркитанты, квасники и все, кои съестными припасами торгуют, и прочие мастеровые; с нуждою можно что купить съестное, работ нет, хлебных магазинов нет; дворянство все выехало по деревням. Генерал-поручик Петр Дмитриевич Еропкин (сенатор, на которого было возложено руководство борьбой с эпидемией. – *О. Ч.*) старается и трудится неусыпно оное зло прекратить, но все его труды тщетны, у него в доме человек его заразился, о чем он меня просил, чтоб донести Вашему Императорскому Величеству и испросить милостивого увольнения от сей комиссии. У меня в канцелярии также заразились, кроме что кругом меня во всех домах мрут, и я запер свои ворота, сижу один,

опасаясь к себе несчастья. Я всячески генерал-поручику Еропкину помогал, да уж и помочь нечем: команда вся раскомандирована, в присутственных местах все дела остановились и везде приказные служители заражаются. Приемлю смелость просить мне дозволить на сие злое время отлучиться, пока оное по наступающему холодному времени может утихнуть. И комиссия генерал-поручика Еропкина ныне лишняя и больше вреда делает, и все те частные смотрители, посылая от себя и сами ездя, более болезнь разводят».

Бедный старик уехал в свою подмосковную в тот же день, 14 сентября, а наутро 15-го в Москве произошел бунт.

Началось все у Варварских Ворот, где возле иконы Боголюбской Богоматери стал собираться народ. Московский митрополит Амвросий, человек просвещенный, решил перенести икону от Варварских Ворот в церковь, но там же, у Варварских Ворот, в честь этой иконы собирались деньги, и Амвросий (боясь грабежа) решил их взять с тем, чтобы пожертвовать в Московский воспитательный дом (где состоял опекуном). Икону он перенести не решился, но ящики с деньгами велел опечатать – самое неразумное решение из всех возможных: возникло впечатление, будто московского митрополита интересуют деньги, а не спасение народа.

15 сентября городской набат уже сзывал москвичей к Варварским Воротам. Власти пытались навести порядок – а народ грудью встал «за Богородицу и ее достояние». Гнев толпы обратился на митрополита, его искали в Чудовом монастыре (который располагался в Кремле и в 1928 году был взорван), но он успел бежать в Донской. Разгромив и разграбив Чудов, толпа двинулась к Донскому, Амвросий попытался спрятаться в церковном алтаре, но его там нашли, выволокли и два часа месили кольями то, что от него осталось. Толпу разогнали. Но страшна была Москва, казалось, мертвых здесь больше, чем живых, воздух был полон трупного зловония, по улицам стелился дым – это жгли зараженные одежды и зараженные дома.

Орлов был убежден: причина беды в том, что Москву парализовала паника. Он считал, что должен туда ехать.

Накануне отъезда у Орлова был разговор с английским послом, тот просил его не ездить, напоминая, что в Москве он найдет не только беспорядок и отсутствие должной распорядительности, но еще и чуму.

– Чума или не чума, – ответил Орлов, – все равно. Я завтра выезжаю.

И тут же объяснил: он давно искал случая оказать значительную услугу императрице и отечеству.

– Эти случаи редко выпадают на долю частных лиц, – прибавил он, – и никогда не обходятся без риска.

Поразительно: он, русский генерал, чувствовал себя «частным лицом»; которому редко удастся «оказать значительную услугу императрице и отечеству». На вершине власти он был вне власти.

Наверно, Орлов был прав, считая главной бедой Москвы панику, которая парализовала городские власти, но были в столице и силы, которые организовали оборону. Это видно из того же письма фельдмаршала Салтыкова: фабриканты и купцы делают свои карантин, а «раскольники выводят своих в шалаши». Московский воспитательный дом окружил себя стражей и так замкнулся, что у него не пострадал никто.

Прибытие столь важной и полномочной особы взбодрило администрацию. Орлов начал с того, что отдал под госпиталь свой дворец. Собрал врачей, устроил их жалованье, объявил, что крепостные, работающие в госпиталях, получают свободу; чтобы организовать вывоз мертвых, выпустил из тюрем узников; беспощадно карал мародеров; принял все возможные меры предохранения (доставка в Москву уксуса в таком количестве, чтобы хватило на всех). В городе было множество сирот, но приют, учрежденный для них в особняке, оказался безнадежно мал – Воспитательный дом получил повеление принимать этих бездомных детей.

Но нужно было еще и накормить голодающий город, а для этого – дать людям заработать. Орлов начал большие государственные работы – углубление рва вокруг Москвы, починка и строительство дорог (все это с поденной оплатой), осушение болот; приказал, чтобы казна покупала у ремесленников изделия их труда.

Но ведь был кровавый бунт, зверское убийство московского митрополита – преступление, которое необходимо было расследовать. Свидетелей было много (в том числе, например, Баженов, который наблюдал события из своего «модельного дома»), следствие шло полным ходом, но результаты были сомнительны, «открылось, что ни головы, ни хвоста нету», – писала Екатерина, конечно, со слов Орлова.

В московском Сенате подняли вопрос о том, что следствие должно быть продолжено, но Орлов возразил: «Хотя по самой справедливости и должно стараться в изыскании истины доходить до самого источника, от чего преступление начало свое получило, дабы виновные по существу преступления были наказаны по точности их вин», но в нынешних, крайне тяжких обстоятельствах «нет ни времени, ни способов достигнуть сего».

Прочтя это, я не без тревоги подумала: уж не предложит ли он наказывать людей даже в том случае, если нет ясных доказательств (мол, времени нет разбираться – позиция чисто революционная, большевистская), но Орлов сказал совсем другое: надо карать тех, чья вина доказана, а если из-за недостатка времени чью-то вину доказать не удастся и некоторые вследствие этого избегнут заслуженного наказания – ничего не поделаешь: «всегда лучше виновного облегчить от наказания, нежели наказать невинного». Как видите, он был достойным соратником Екатерины-законодательницы. Тем не менее наказания были жестокие.

Возвращение Орлова в Петербург было великолепным, на пути его стояли триумфальные арки; в Царском Селе были воздвигнуты мраморные ворота, по случаю его подвига выбили специальную медаль: на одной стороне – Орлов, на другой – Курций, бросающийся в пропасть (юноша Древнего Рима, который, по легенде, принес себя в жертву). «Такова сына Россия имеет» – первоначально гласила надпись на медали, но Орлов считал, что она «обидна для других сынов отечества», и в окончательном виде на медали значилось: «И Россия таковых сынов имеет».

Вернувшись в Петербург, гатчинский помещик хандрил по-прежнему. У него была тому серьезная причина: он был без памяти влюблен, да еще в свою кузину (родную сестру Зиновьева, с которым они когда-то в Кенигсберге явились на бал, одетые в черный бархат и скованные цепью), да еще во фрейлину императрицы.

Екатерина ревновала, конечно. Однажды, когда двор отправился в Царское Село, оказалось, что среди фрейлин нет Зиновьевой: ее не взяли «за ее непозволительное и обнаруженное с графом поведение». «Орлов был сим до крайности огорчен, – сообщает свидетель, – и

раздосадован. Так что однажды при восставшей с императрицею распре отважился он выговорить с жару непростительно грубые слова, когда она настояла, чтобы Зиновьева осталась в Петербурге: «Черт тебя дери совсем». Могло быть.

Вскоре Орлов был послан в Фокшаны для заключения мира с турками (опять послан, и притом еще дальше), а когда вернулся, его остановили по дороге в Петербург: именем императрицы ему было предписано ехать не в Петербург, а в Гатчину (осень 1772 года). Он получил годовой отпуск, за ним было сохранено достоинство имперского князя со «званием светлости». То была отставка?

Сохранилось удивительное письмо Екатерины Потемкину (написанное по-русски около 1774 года), ее «чистосердечная исповедь» – неоценимый источник для понимания женской судьбы Екатерины. Письмо это – результат их какого-то крутого разговора, в ходе которого он обвинил ее – в легкости связей, в безнравственности, в испорченности? – мы не знаем, какие слова были тут употреблены, знаем только смысл. А Екатерина в ответ рассказала ему о своей женской доле, о несчастном замужестве, об истории с Сергеем Салтыковым, которую она пережила очень тяжело и целый год была в «великой скорби». Но тут, продолжает она, «приехал нынешний король Польский, которого отнюдь не заметили, но добрые люди заставили пустыми подробностями догадаться, что он на свете, что глаза были отменной красоты и что он их обращал, хотя так близорук, что далее носа не видит, чаще на одну сторону нежели на другие». Теперь она пишет о красавце поляке слегка иронически, и, надо думать, многое забылось, зато помнился тот неприятный эпизод, когда после переворота 1762 года Понятовский рвался в Петербург, а она его не пустила. Но все же в своей исповеди Потемкину Екатерина не хочет лукавить: красавец граф «был любезен и любим от 1755 до 1761», в разлуке с ним она тосковала и была ему верна (что это именно так и было, доказывает переписка Екатерины с английским послом, из которой видно, как яростно добивалась она возвращения Понятовского).

Но в 1761 году появился Орлов.

«Сей бы век остался, естлиб сам не скучал», – значит, она готова была бы прожить с ним всю жизнь и прямо говорит об этом его

преемнику. Не она разлюбила, ее разлюбили (а она? – может быть, и до сих пор любит?) – мы должны особо оценить честность подобного признания. После того как Екатерина узнала, что Орлов любит Зиновьеву, их жизнь стала тяжела; поняв, что уже не может по-прежнему доверять князю, она «из дешперации», то есть с отчаяния, приняла решение и сделала выбор, «во время которого и даже до нынешнего месяца я более грустила нежели сказать могу». «До нынешнего месяца» – это значит до того самого времени, когда она пишет это письмо?

И вот перед нами далее рассказ о том, как тяжелы бывают отношения, которые уже надломлены, но еще длятся. «...И всякая приласканья во мне слезы возбуждала, так что я думаю что от рожденья своего я столько не плакала как сие полтора года; с начала я думала, что привыкну, но что далее, то хуже, ибо с другой стороны месяцы по три дутся стали и признаться надобно, что никогда довольнее не была как когда осердится и в покое оставит, а ласка его мне плакать принуждала». И в этом рассказе тоже нет ни следа лукавства или раздражения. Есть понимание трагизма положения: когда отношения стали мучительны для обоих и нужно их рвать. И вот в это-то время приехал «некто богатырь по заслугам своим и по всегдашней ласке прелестен» – Потемкин. Она сама вызвала его из армии письмом, «однако же с таким внутренним намерением чтоб не вовсе слепо», а чтобы понять, как он сам к ней относится.

«Ну, Господин Богатырь, после сей исповеди могу ли я надеяться получить отпущение грехов своих, – продолжает она, – изволишь видеть, что не пятнадцать (как видно, именно столько ее любовников насчитал Потемкин. – *О. Ч.*), но третья доля из сих, первого по неволе да четвертаго из дешперации, я думала на счет легкомыслия поставить никак не можно, о трех прочих естли точно разберешь, Бог видит что не от распутства к которой никакой склонности не имею и естлиб я в участь получила с молода мужа которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменялась, беда то, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви» (трудно понять, прибавляет она, хорошо это или плохо, «может статься что подобное диспозиция сердца более есть порок нежели добродетель» – запомним эти ее слова). И вот теперь, после исповеди, Екатерина ждет его решения – уедет ли он в армию (а он, очевидно, в том крутом разговоре грозился уехать) или останется,

боясь (вот неожиданный поворот), что она его забудет, – «но право не думаю, – прибавляет она, – чтобы такое глупость сделала».

Мы видели: в течение более десяти лет, весь первый период правления Екатерины, она и Орлов были вместе, это не просто любовная связь царицы с фаворитом, это – невенчаный брак, тем более прочный, что их соединяли общие цели, общие дела, великое значение которых оба, конечно, понимали.

И вот из письма к Потемкину мы узнаем, что Орлов, если бы захотел, мог бы остаться с ней до конца жизни. Нужно, повторим, отдать должное мужеству женщины, когда она сообщает человеку, в которого уже без памяти влюблена: его предшественник был так ей дорог, что она по своей воле никогда бы с ним не рассталась (и, стало быть, самого Потемкина при ней никогда бы не было).

Ну а как отнесся к своей отставке сам Орлов?

Сохранилось любопытное свидетельство Елизаветы Сиверс, жены известного нам губернатора. «Князь Григорий четыре дня как в городе», – пишет она мужу. Значит, все-таки приехал в Петербург. «Разыгрывает веселого человека, только соответствует ли тому его сердечное расположение? Он похудел, что ему очень идет» (Орлову тогда было тридцать восемь). «Вчера при дворе был бал, – продолжает она, – я не поехала. Отец сказывал, что князь затмил всех кавалеров». Опять был весел, остроумен и обаятелен. Через несколько дней она пишет о концерте, который был при дворе. «Князь явился с головы до ног осыпанный бриллиантами. С ним ласково разговаривали, потом сели за карты. Бог весть, куда это должно повести; но верно то, что дела идут очень странно».

Зачем он явился ко двору, нарушив предписание? Наверное, для того, чтобы убедиться, что все еще владеет сердцами (может быть, и сердцем Екатерины?). А убедившись в этом – уехал (в Ревель, где его бурно приветствовало дворянство).

Конечно, не одна Елизавета Сиверс недоумевала в связи с приездом Орлова – волновался весь двор, государыня была с ним ласкова, села играть с ним в карты – Орлов мог вернуться, вот что крылось за намеками Елизаветы Сиверс; так все думали – а может быть, и вернется.

По-видимому, Екатерина не могла вынести разлуки с Орловым, ей надо было хотя бы его видеть. Уже весной 73-го она просит его

вернуться и вступить «в отправление дел наших, вам порученных».

Он вернулся к своим должностям, бывал при дворе.

Однажды Екатерина, увлеченная в то время Корсаковым, который великолепно пел, обратилась к Орлову:

– Он поет, как соловей, не так ли?

– Конечно, – ответил негодяй, – только соловьи поют всего лишь до Петрова дня.

Орлов не собирался возвращаться к Екатерине, его мысли были заняты Зиновьевой, предстоящей женитьбой. Они поженились; против их брака, поскольку они были двоюродные, восстал Синод, вопрос рассматривался в Сенате, где предлагали даже этот брак расторгнуть, – надо думать, в угоду Екатерине. Но все эти церковные и светские сановники плохо знали свою государыню. Екатерина наградила юную княгиню Орлову орденом Св. Екатерины, которым награждали женщин царской семьи, сделала ее статс-дамою (высшее женское звание при дворе). Как бы ни ревновала она Орлова, ей удалось побороть свою ревность и сделать все, чтобы его порадовать.

Конечно, Екатерине все это далось нелегко – нужно видеть, как хороша была юная Орлова. Есть ее портрет – чтобы понять это чудо, надо помнить: оно из мира Рокотова.

Давно замечено, женщины с портретов Рокотова чем-то похожи друг на друга и есть в них что-то таинственное. Ряд его портретов – Дмитриева-Мамонова (и она мелькнет в нашем рассказе), Новосильцева, графиня Санти, есть в их лицах что-то недостоверное, ускользающее, какая-то текучая неустойчивость. Неясность границ, размытость контуров, они податливы, эти женщины, и, казалось бы, готовы отступить в свои дымы, туманы, в свою цветную мглу, – но не отступают. В их глазах знание чего-то, чего мы не можем разгадать, они понимают, в чем дело, да не говорят, это дает им некую устойчивость. Однажды мне показалось: рокотовские женщины – странные сестры, странные птицы, севшие в ряд вне времени и неизвестно на какой территории. У них нет биографии. Они смотрят из таинственного далека (еще более непонятного, чем сам XVIII век), и неясно, куда направлен их взгляд. Они сдержанны и замкнуты, но, отталкивая, они с удивительной силой влекут к себе и притягивают. То же и с Орловой. Она тоже к себе притягивает – и тоже держит на расстоянии.

И все же ее портрет сильно отличается от других рокотовских. Прежде всего это портрет парадный, одежда Орловой великолепна и написана со вниманием. Темно-красным горит идущая через плечо орденская лента; сверкает алмазный портрет императрицы, по краю мантии виден горноста́й – знак княжеского достоинства. На плечах лежат локоны, как у прочих рокотовских дам, но эти тяжелы и блестят, как под лаком. Гордая аристократическая осанка являет нам светскую львицу.

Но все это сверкание и великолепие замечаешь лишь до тех пор, пока не заглянешь ей в глаза, и с ними та же рокотовская история: они знают, да не говорят.

Среди бумаг Екатерины сохранился список придворных, которым императрица шутливо предсказывает, кто от чего умрет. «Граф Панин – если когда-либо поторопится», «графиня Румянцева – тасуя карты» – и т. д. О Зиновьевой сказано, что она умрет от смеха. Екатерина не угадала фрейлины Зиновьевой, угадал ее Державин.

Как ангел красоты, являемый с небес,
Приятствами она и разумом блистала.
С нежнейшею душой геройски умирала.

Да, Екатерина Николаевна действительно держалась с достоинством, в своем письме к родным она говорит о благополучии, о том, что у нее с ее князем все хорошо (о том же говорят ее стихи), – и ни слова о своих страданиях. Может быть, это гордое противостояние смерти и отличает ее от рокотовских сестер?

Сперва кажется, что на ней не то отсвет вечности, не то отблеск каких-то астральных миров, а потом подумает: может быть, она просто стоит на ветру? От ветра вздымается копна ее волос, от ветра веки ее длинных глаз как бы вздуты и приподняты – и все же она смотрит, не щурясь и не мигая. Томительное чувство охватывает вас при виде этого лица (понимаешь, что переживал Орлов, глядя на нее), есть в нем что-то обреченное, даже если и не знать, что жить юной кавалерственной даме осталось два года.

Орлов увез ее за границу, возил по европейским знаменитостям, но от чахотки тогда не было спасения; она похоронена в Лозанне. На могиле ее побывал Карамзин. «Сказывают, что она была прекрасна, – пишет он в «Записках русского путешественника», – прекрасна и чувствительна!.. Я благословил ее память».

Мы не знаем, хотела ли Екатерина, чтобы Орлов тогда к ней вернулся, но знаем, что жизнь ее с Орловым в последнее время их брака была тяжела – и дело не только в Зиновьевой.

Однажды (запись в дневнике Храповицкого, 80-е гг.) заговорили о безумии английского короля, и Екатерина сказала, что хорошо знает, что это такое, – сама измучилась с князем Орловым: «несносно быть с сумасшедшим, это для чувствительного человека мучительно, можно самому сойти с ума».

В том-то и дело, что природа, богато одарившая Орлова, наградила его также еще и безумием – знаки болезни были видны уже в той черной хандре, которая время от времени на него нападала. В чьих-то воспоминаниях мелькнула такая картина: мчит по дороге карета, за ней возки, это князь Орлов скачет неизвестно куда – и нигде ему не рады.

Роковым толчком в его болезни была, конечно, смерть юной жены.

Он умер в 1783 году в своем Нескучном, из дворца его вынесли братья, к Донскому монастырю несли на плечах офицеры конной гвардии. Екатерина писала братьям Орловым: «Всекрайно сожалею о несчастной потере друга моего, плачу о нем обще с вами. Больше писать не могу...»

* * *

Принято представлять Екатерину пьющей кровь молодых гвардейцев – нет ничего глупее подобного представления. Прежде всего, «молодые гвардейцы» очень желали ее благосклонности: вот она как полковник гвардейского полка производит смотр, идет вдоль строя – и «молодые гвардейцы тянутся изо всех сил», стремясь понравиться государыне, надеясь на поворот в своей судьбе. Умер

один из фаворитов, место свободно – и гвардейцы тянутся еще энергичней.

Главное, однако, в том, что сама она была не только влюбчива, но и на редкость привязчива, эта наша царица. Когда юный Александр Ланской погиб, сброшенный с лошади, это было для Екатерины ужасным ударом. Она пишет своему зарубежному корреспонденту: «Когда я начала это письмо, я была счастлива и мне было весело, и дни мои проходили так быстро, что я не знала, куда они деваются. Теперь уже не то; я погружена в глубокую скорбь; моего счастья не стало. Я надеялась, что он будет опорой моей старости. Это был юноша, которого я воспитала, признательный, с мягкой душой, честный, разделявший мои огорчения, когда они случались, и радовавшийся моим радостям. Словом, я имею несчастья писать вам, рыдая. Генерала Ланского нет более на свете».

Он и в самом деле был, по-видимому, неплохим человеком, не употреблял во зло своего фавора; любил живопись. Его самого писал Левицкий два раза, поколенный портрет (висевший в покоях Екатерины и особенно ею любимый) очень красив, однако лишь живописью, но отнюдь не духовной красотой модели: она безлика. Некоторое удивление вызывает бюст Екатерины, помещенный рядом; изображение царствующей особы на портрете вельможи – дело обычное для XVIII века, но у царицы на этой картине какой-то странно-игривый вид, может быть, бессознательно отраженный художником. Зато другой, поясной портрет, написанный Левицким раньше, напротив, весьма выразителен и являет одну-единственную черту – высокомерие, чтобы не сказать – спесь; ничего более на этом лице прочесть невозможно.

Казалось бы, чем ему гордиться, этому мальчику, продавшему себя немолодой женщине?

Но рассуждая так, мы рискуем впасть в ошибку, потому что речь тут должна идти прежде всего об общественном мнении, а современники на этого мальчика смотрели совсем не так, как мы. Кстати, с общественным мнением Екатерина считалась, и весьма, она вообще была человеком спектакля – когда это было нужно ради престижа власти, внешней стороной своей жизни она дорожила, придавала ей большое значение, собою владела отлично.

И если при выезде императрицы рядом с ее каретой гарцевал на коне молодой красавец и все знали – это любовник, можно сказать с уверенностью, что зрелище было организовано с расчетом; оно не только не задевало достоинства Екатерины, но и способствовало ее популярности.

Конечно, к царицыным фаворитам общество привыкло со времен Анны Иоанновны и особенно – Елизаветы (которая однажды была в большом затруднении и даже плакала, не зная, кого выбрать, поскольку ей по разным причинам и в различной степени нравились разом четверо), но при Екатерине фаворитизм даже оформился в некое учреждение (современники называли его «известной должностью»); в Зимнем дворце были особые покои (известные под названием «малый этаж» или «низ»), куда вселялся очередной фаворит, который уже самим фактом своего фавора как бы включался в государственную систему – у него была своя канцелярия, к нему являлись на поклон вельможи; зачастую сама Екатерина, прежде чем решить тот или иной вопрос, посылала его на предварительное рассмотрение и утверждение фавориту. Очень часто обращались не к ней и не к ее администрации, а именно к любимцу, который самостоятельно решал важнейшие вопросы. В канцелярию фаворита, как мы знаем, шли жалобы и челобитные.

Словом, от самого фаворита зависело, стать ли государственным деятелем, каким стал Потемкин, или остаться пажом, объектом любования.

Конечно, к открытому фаворитизму Екатерины общество относилось по-разному. Многие были шокированы и, подобно суровому князю Щербатову, сильно ее осуждали. Но вместе с тем к появлению каждого нового фаворита окружающие приспосабливались немедленно, в первое же утро, когда он, уже в роскошном костюме, уже генерал-адъютантом, выходил в сад на прогулку рядом с государыней.

Фаворит переезжал в покои, отведенные для лиц «известной должности», и его передняя тотчас наполнялась вельможами.

Удивительный эпизод находим мы в записках Дашковой. Ее сын, как и его отец, был редкой красоты, и Потемкин уже приценивался к нему как будущему фавориту. Княгине это было отвратительно. И вот однажды ей прислали от Потемкина сказать, что тот приглашает ее

сына к себе ради дела, которое «будет иметь особые результаты». Что же ответила на это княгиня, независимая, известная своей резкостью? «Я ответила, что все, сказанное им, меня не касается и что он, вероятно, обязан передать это князю Дашкову (то есть самому ее сыну. – *О. Ч.*), и прибавила, что я слишком люблю императрицу, чтобы препятствовать тому, что может доставить ей удовольствие, но из уважения к себе самой не стану принимать участия в подобных переговорах, и если мой сын когда-нибудь и сделается фаворитом, я воспользуюсь его влиянием только один раз, а именно, чтобы добиться отпуска на несколько лет и разрешения уехать за границу» (это 80-е годы, Екатерине шестой десяток). Дашкова не скрывает своего негодования, но выступить в защиту сына не считает нужным – и не исключает возможности, что сам он согласится. Мы не знаем, согласился ли он, но был он горький пьяница, и Екатерина отзывалась о нем с пренебрежением.

Но вовсе не только одни придворные льстецы принимали фаворитизм как нечто данное и неизбежное. Люди мыслящие и передовые тоже его признавали. Сошлюсь в том на одного из самых интересных и сильных мемуаристов XVIII века – Александра Пишчевича, офицера, человека ума независимого и насмешливого; он не только признает фаворитизм, но даже его обосновывает. Рассуждает он об этом предмете в связи со своим приездом в город Шклов, который вместе с другими владениями был подарен Екатериной ее недолгому фавориту Зоричу (отставляя очередного фаворита, она каждого неизменно и очень богато награждала поместьями, крепостными душами и деньгами). Этот отставной фаворит жил роскошно и шумно, Шклов стал его резиденцией (кстати, здесь Зорич создал свой шляхетский корпус, школу для молодых дворян, которая продолжала существовать и после его смерти). Пишчевич описывает этот город «от щедрот Екатерины Великой доставшийся в руки Зорича, который навлек на себя взоры этого земного божества и был бы в своем месте, может быть, долго, ежели бы не вздумал первенствовать перед князем Потемкиным, который дал ему такого толчка, от которого едва он остановился в своем Шклове».

«Навлек на себя взоры земного божества» – представьте, в этих словах Пишчевича нет ни тени холуйства и ни капли иронии, перед

Екатериной он преклонялся и отзывался о ней с неизменным восхищением. По его мнению, Зоричу просто повезло, он попал в поток сияния, исходившего от великой государыни, благодаря чему не только возвысился в чинах и разбогател, но и как бы преобразился и посветлел духовно.

Говоря о кадетском корпусе, который был создан Зоричем, Пишчевич замечает: «Как бы то ни было, а устройство сей школы делает честь Зоричу, а еще более бессмертной Екатерине, преобразовавшей единым своим воззрением гусарского партизана в установителя полезных училищ в царстве своем». Эту поразительную точку зрения – один взгляд царицы преображает человека, побуждает его к полезной деятельности, превращает в работника Просвещения – высказал, повторим, свидетель независимый, насмешливый и сам очень дельный. Будь на месте Екатерины, предположим, императрица Анна, Пишчевич никогда бы подобных слов не произнес (да во времена Анны он и сам был бы другим).

Впрочем, фаворитизм в той или иной форме пронизывал все дворянское общество. В мемуарах Пишчевича мы встречаем племянницу Потемкина, графиню Браницкую, которая готова была выхлопотать ему чин, – сколько вокруг «светлейшего» было подобного рода дам, и на каждую из них падал отсвет великой потемкинской власти, каждая могла решить если не судьбу, то продвижение по службе.

А в других мемуарах встречаем маленького губернского секретаря, фаворита губернатора, от которого тоже зависели и чин, и должность, и награда. Более того, там же мы видим и привратника Данилку, от которого зависело, пропустить или не пропустить просителя к губернскому секретарю, и перед которым через щель в воротах унижается вице-губернатор! Вспомним, наконец, что любое более или менее крупное поместье, дворец вельможи или дом помещика повторяли в миниатюре двор с его иерархией фаворитов. При таком общем социально-психологическом фоне царский фаворитизм не мог вызвать никакого осуждения, напротив, какой-нибудь Ланской не только не испытывал стеснения от своей роли, он ею гордился. Окружающие эту гордость поддерживали и тешили, родня его ждала, а подчас и требовала выгод для себя.

Конечно, Потемкин оклеветан историками не меньше, чем Екатерина, «потемкинские деревни» – это, по-видимому, измышления придворных, завидовавших светлейшему. Конечно, он был мастер выставлять перед Екатериной товар лицом, конечно, когда она ездила в Крым посмотреть свои новые диковинные владения, он ставил на пути ее следования пышные спектакли с поющими и пляшущими пейзажами. Но все же сутью его деятельности был не обман, а реальное строительство и деревень, и городов, которые стоят по сей день (Херсон, Николаев и другие). Потемкин не только завоевал новые земли, он обустроивал их и колонизовал – и строил флот. Когда Екатерина и ее многочисленные спутники увидели Херсонскую крепость, они были поражены; когда им открылась Севастопольская бухта с новорожденным черноморским флотом (15 больших судов и 20 небольших), они были в восхищении. Триумф светлейшего был полным.

«Странный Потемкин» – все-таки это сказано с неким одобрением. Действительно, в натуре светлейшего было много странного, современники говорят о соединении в нем как бы двоих разных людей: он мог быть и добрым и злым, и грубым и нежным (что сильно действовало на женщин), но эта черта – неуважение к людям и презрение к ним – оставалась в нем постоянной.

Главным делом Потемкина была война и связанная с ней дипломатия, международные дела. Теперь Екатерину и то и другое начинает все больше увлекать. Ей нравится дипломатическая борьба, она играет с азартом, от всей души – это видно из ее переписки с российскими послами в европейских странах.

«Туркам с французами вздумалось разбудить кота, который спал, – пишет она Ивану Чернышеву, послу в Англии, – я сей кот...» Теперь я свободна, могу сделать все, что мне позволяют средства, а у России, вы знаете, средства немалые, и Екатерина II иногда строит всякого рода испанские замки, и вот ничто ее не стесняет, – и вот разбудили спящего кота, и вот он бросится за мышами, и вот вы кое-что увидите, и вот о нас будут говорить, и вот мы зададим звону, какого никто не ждал, и вот турки будут разбиты.

Потемкин был разным. Бешеный темперамент – и внезапная апатия (лежит, грызет ногти), широта натуры и узость злобной души, образованность, интерес к отвлеченным, в том числе богословским,

проблемам – и шутки, неприличие и низость которых должны были быть ему очевидны. Пушкин рассказывает: «Князь Потемкин во время очаковского похода влюблен был в графиню***. Добившись свидания и находясь с нею наедине в своей ставке, он вдруг дернул за звонок, и пушки кругом всего лагеря загремели. Муж графини***, человек острый и безнравственный, узнав о причине пальбы, сказал, пожимая плечами: «Экое кири куку!»

Подобных «кири куку» было немало в биографии Потемкина. И когда современник рассказывает нам, как однажды ночью во дворце он, пьяный, гонялся за молоденькой фрейлиной и эта девушка не могла найти ни защиты, ни сочувствия у Екатерины, мы понимаем, что императрица потакала его порокам. Но главное для нас в другом – он сам потворствовал порокам императрицы, поставлял своей стареющей подруге молоденьких мальчиков – ведь и Зорич, и Дмитриев-Мамонов, и другие были представлены ей именно светлейшим. Мы видели, как он приценивался к Дашкову.

* * *

Разговоры Екатерины конца 80-х годов с ее статс-секретарем – это едва ли не болтовня, но все же вслушаемся: все-таки это болтовня великой женщины.

От Потемкина из армии пришло письмо, он жалуется на происки врагов и просит его защитить. Екатерина говорит, что Потемкин «оставлен не будет»; он ей верен, потому что она из сержанта сделала его фельдмаршалом, – сколько, однако, неуважения в этих ее словах к Потемкину, сколько душевной грубости, которой раньше в ее отношениях с мужчинами не наблюдалось.

Екатерина продолжает свою болтовню. Такие ли враги бывали у Потемкина! – Орлов, Никита Панин. «Тех качества я уважала, – продолжает она. – Князь Орлов всегда говорил, что Потемкин умен, как черт».

И тут – внимание! – Екатерина продолжает вспоминать об Орлове.

«Орлов был *genie* (одарен), силен, храбр, решим, *mais doux comme un mouton*, il avait le coeur d'une poule (он был мягок, как овца, у него было куриное сердце); два дела его славные: восшествие и

прекращение чумы». Вот удивительная характеристика – сама же только что сказала, что «силен, храбр, решим». Пусть сказанная ею фраза по-французски звучит мягче, чем по-русски, все равно куры ни на каком языке храбростью не отличаются. И она осмеливается так говорить об офицере, знаменитом своей отвагой, не раз доказывавшем ее на поле боя? Что произошло?

А произошел, видимо, некий сдвиг в сознании государыни, некая деформация души и, как следствие, переоценка ценностей. Раньше для нее эталоном был Орлов, она гордилась и храбростью его, и великодушием, превозносила его честность, жила в мире их общих нравственных представлений. Теперь, когда она прошла школу Потемкина – «Гуар, москов, казак, лихой татарин», восторженно называет она его в своих письмах, – великодушие и благородство уже кажутся ей слабостью, в цене теперь – натиск и насилие. И о какой честности может идти речь?

Екатерина не просто устала от сверхнапряжения первого десятилетия своего царствования и не только состарилась – она сменила жизненную ориентацию. Она сама изменилась настолько, что мне представляется возможным в каком-то смысле говорить о двух разных Екатеринах – даже так!

Кстати, эту раздвоенность отчетливо выражают две картины Левицкого, написанные на одну и ту же тему: «Екатерина – законодательница». Первая, о ней мы уже говорили, висит в Третьяковской галерее, вторая в Русском музее, собственно, это одна и та же картина, совершенно та же композиция, тот же храм, та же богиня правосудия на постаменте, тот же орел на книгах, та же Екатерина в образе жрицы, которая бросает алые маки в тлеющие угли жертвенника. Одна картина – точное повторение другой, если не считать того, что они не только различны, но даже противоположны по своему духу и настроению. В первой, третьяковской, как бы ветер прошел по храму, от него взвился огромный занавес, в нем самом есть нечто романтическое и героическое; а Екатерина весела, молода, стоит как бы на берегу моря, ничем от него не отгороженная, и корабль с андреевским флагом ей родной. Она в живом общении со зрителем, она явно его к чему-то призывает, и тут нетрудно представить: она зовет принять участие в общей работе, на которую поднимает страну. Это обворожительная вещь.

Вторая картина, из Русского музея, повторим, поражает своим внешним сходством и внутренней противоречивостью. Живопись ее потеряла размах, силу, теплоту колорита. Улегся ветер. Занавес уже не великолепно-красный, он бутылочно-зеленого цвета, и уже не взвивается – он вяло обвис; ковер «на полу гладко расправлен и оброс добропорядочной бахромкой; вообще возникает впечатление, будто чья-то бездарная рука произвела тут уборку.

Однако самое удивительное превращение произошло с Екатериной. Она точно так же протянула руку к жертвеннику, но стоит уже обособленно, четко отгороженная – снизу ровным полом, сверху гладко расправленным занавесом (никакого беспорядка), а от моря – ровной балюстрадой. Вдали по-прежнему стоит корабль, но уже не военный и не под андреевским флагом – флаг российский, «где на военном щите, – как гласит разъяснение, – Меркуриев жезл, означающий «защищенную торговлю» (торговля – дело почтенное, и Екатерина немало сделала для ее развития, но все-таки жаль, что ушла романтика андреевского флага).

Вторая Екатерина тоже в белом платье, но теперь на нем зеленоватые отсветы занавеса. Ярче выступили суетные знаки власти – орденская цепь выписана с четкой тяжестью, ярко переливается муаровая лента, орлы на мантии как кованые. А в самой Екатерине нет движения, нет внутренней энергии и силы, ее рука если и приглашает, то скорее на прогулку или к столу.

Любопытно сравнить их лица: первая Екатерина серьезна, сосредоточенна – вторая слащаво и холодно улыбается. Глаза первой смотрят спокойно, это взгляд глубокого человека – глаза второй ничего не выражают, кроме любезной отчужденности. Насколько притягательна первая, настолько отталкивает вторая.

Это резкое отличие двух картин одного художника на один и тот же сюжет давно уже замечено художниками и принято ими как загадка. На самом деле, как я думаю, загадки тут нет, перед нами два противоположных отношения к Екатерине, которые определены не прихотью Левицкого, но изменением самой модели. Считается, что обе картины написаны примерно в одно и то же время, но это не меняет положения дел: первая Екатерина – из 60-х-годов, а вторая – отчетливо из 80-х. Это уже потухшая Екатерина, забывшая многое из того, чем она жила в годы своего расцвета.

Только памяти Орлова оставалась она верна.

В своих письмах к Потемкину она не раз повторяет: никогда не говори плохо о князе.

«Сей бы век остался, естлиб сам не скучал».

Существует рассказ, пришедший в XIX век, по-видимому, из каких-то устных воспоминаний: когда Орлов был уже безнадежно болен (он был в унижительном безумии), но так ей дорог, что она приезжала к нему и ухаживала за ним, как нянька.

* * *

Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами, —

ода Державина, одна из самых знаменитых — на смерть Потемкина. Как грозен ритм стиха, как это «че-ты-ре-мя» великолепно растянута по уступам! И сама ода идет как бы уступами. Реальный водопад — карельский Кивач на реке Суне — становится аллегорией то времени, то славы, то самой жизни, наконец, по законам одического жанра. И вместе с тем это самая странная ода на свете. На скале возле водопада поместился старый вождь, его шлем, увитый повиликой, лежит во мху, сам он не то вспоминает, не то дремлет, и в сны его врывается рев водопада. Он великий полководец, это он громил пруссаков на Балтийском море, турок на Черном (отомстив им за азовский позор Петра I). С ним никто не может сравниться, он принес славу России, но стал гоним и теперь забыт. Кто он такой? Явно не Потемкин — и войны не те, и судьбы: тот умер в расцвете сил и в великом почете. Но Державин, ограничившись в оде намеками, позаботился тем не менее, чтобы читатель знал, в чем дело, снабдив оду подробными примечаниями; повилика — трава, знаменующая собой любовь к отечеству, невзгоды, одолевшие полководца, — «немилость императрицы, которая отняла у него власть и лишила победы». А сам он — фельдмаршал Румянцев, враг Потемкина. Ну не странно ли, в самом деле, оду на смерть Потемкина больше чем наполовину посвящать прославлению его врага? На 31-й строфе оды

старец вдруг прозрел, узнав, что «умер некий вождь» (почему же не славный? – у Потемкина была широкая слава, – а просто «некий»). И вдруг нас как бы затягивает в атмосферу ночного кошмара.

Но кто там идет по холмам,
Глядясь, как месяц, в воды черны?
Чья тень спешит по облакам
В воздушные жилища горны?

Темное мглистое лицо, угрюмый взгляд – то душа Потемкина, покинув тело, идет по холмам, не летит, как ей положено, а идет, у нее нет сил для полета. Но еще страшнее тело, оставленное ею. Труп лежит на земле, как видно, до Державина дошел рассказ о реальных обстоятельствах смерти светлейшего, когда тот в смертных муках выскочил из кареты и огромными прыжками умчался в степь, где его и нашли мертвым. Вот и лежит он прямо на земле; на глазах его медяки, «уста безмолвные отверзты»,

Чей одр – земля; кров – воздух синь;
Чертоги – вокруг пустыни видны.
Не ты ли, счастья, славы сын,
Великолепный князь Тавриды?

Как безжалостно все это сказано!

Однако ода есть ода, поэт прославляет Потемкина и тут не кривит душой – князь действительно одерживал победы, строил города, создал флот на Черном море; был могуч, «как некий царь, как бы на троне», – но кончает дифирамб странным эпизодом, когда Потемкин однажды вышел из церкви, а к ней в это время вместо его золотой кареты пригнали погребальную, от чего, говорит Державин, Потемкин «чрезвычайно оробел».

Но и самый водопад не менее странен и страшен – он тоже во мгле, он ломает сосны, стирает камни в песок; волк, ощеренный, с кровавыми глазами, подвывает его реву; лань, закинув рога за спину, мчит прочь; конь, «жарку морду подняв», храпит от ужаса.

Они знают: эта злая вода не питает землю, с ревом мчит она мимо и рвет берега.

Ей противостоит другая – это великий образ – образ тихой воды.

Суна – это река-мать, да, она рождает водопады, умеет «кипеть и сеяться дождем», но главное в ней – ее спокойное течение, где она «важна без пены, без порыву», мила, ясна в своих глубинах; а среди всех восхвалений, кажется, самое сильное:

Тихое твое течение,
Где ты сама себе равна —

тут речь идет, разумеется, не о размерах ее ложа или уровне воды, но о характере самой этой славной реки. Потому что вода ее животворна, она питает окрестные поля, золотые нивы; тут у поэта нет слов, чтобы выразить свое восхищение: она – «подобна небесам».

Державин дает тем самым ключ для понимания и оценки людей: «Не лучше ль менее известным, а более полезным быть» – уподобляясь тем ручьям живой воды, что питают поля, сады и луга.

Точный и сильный образ не требует разъяснений, и после «Водопада» тотчас невольно начинаешь разделять современников Державина по принципу бешеной и тихой воды. В оде Потемкину противопоставлен Румянцев, но он полководец, а Державин утверждает, что главное – не военная слава, но величие души. Мы сами, однако, можем многих поставить в этот ряд, сразу вспоминаются Бецкой, Сиверс и другие соратники Екатерины, да и она сама, конечно (несмотря на ряд отступлений, тех, когда речь шла о власти). И рядом с ней Орлов (что бы ни происходило в их жизни, в нашей памяти они всегда останутся рядом) – этот всегда был равен себе.

В том-то и состоит глубина державинской оды, что героем ее он сделал не водопад, а тихую воду. Конечно, душа поэта потрясена зрелищем рушащейся громады с ее сверканием, ревом и грохотом, он описывает ее с невольным восторгом – но и со страхом, едва ли не с ужасом.

А вот тихую воду, что проникает в землю повсюду, питая корни, заставляя тянуться вверх стебли и распускаться цветы, вообще написать невозможно – ее труд бесшумен и незаметен глазу. И потому

великий поэт просто констатирует: главное в мире – тихая работа живой воды.

Сцена во дворце, нам уже знакомая: Екатерина в кресле у стола, она только что подписала запрещение пытки; Сиверс с колена принимает бумагу с еще не просохшими чернилами; Орлов смотрит на них, и в глазах его слезы.

Он взволнован и тем, что Сиверс нашел судебное дело, рассмотренное его отцом, губернатором, который запретил пытать обвиняемого, и это дело стало предлогом для нового обращения к императрице. И тем, что великий шаг этот делает его Екатерина.

Он понимает значение минуты и счастлив: кончился этот позор России, прекратился ужас государственных застенков, а с тем исчезнут и помещичьи.

Конечно, все они понимали, что результат скажется не сразу – и действительно, несмотря на то что тайная инструкция Екатерины скоро стала явной, все равно нет-нет да и возникали дела, в которых применяли пытку. Александр I, следуя тут за своей великой бабкой, в первый же год царствования издал указ, «чтобы самое название пытки, стыд и укоризну человечеству наносящее, изглажено было навсегда из памяти народа».

* * *

Ужасны фурии участницы войны,
Взошли на корабли с турецкой стороны.
Там смерть бледнеющая, там ужас, там отравы,
С российской стороны – Минерва, Марс и Слава.

Сама Дискордия мчит к месту боя – «склокочены власы и взоры раскаленны, дыханье огненно, уста окровавленны, не сыта вокруг нее лежащими телами с мечом и пламенем летит меж кораблями» – она, разумеется, тоже на турецкой стороне. Ей противостоят Алексей Орлов и другие светозарные благородные герои. Поэзия боя, идущая еще от Роланда.

Алексей Орлов, командующий флотом, в своем письме к Екатерине доносит: «Победа полная!» и с восторгом пишет о мужестве русских солдат и матросов – каковы-то наши «аржанушки» (те, кто ест ржаной хлеб).

А князь Долгоруков со своими спутниками наутро после сражения вышел на шлюпке в бухту, плыл по воде, смешанной с кровью и пеплом, где среди обломков взорванных кораблей плавали мертвые. Он видел истинный результат.

Странно, что в исторической литературе, говорящей о войне, подсчитывают убытки и выгоды от тех или иных военных предприятий, а этого главного результата решительно не видят (разве что изредка приведут цифры убитых). И по-прежнему звучат воинственные трубы, по-прежнему раздаются восклицания о славе русского оружия, а какая, собственно, у оружия (будь то старинное ружье или сверхсовременная дальнобойная скорострельная пушка) может быть слава? Да, были кровавые бои, были невероятные тяготы походов, да, были и Альпы и Чертов мост – но окупилась ли она, эти страдания и эти погибшие жизни? Между тем как эффектно выглядят победы Суворова – если не подсчитывать погибших.

По взятии Варшавы в 1794 году (то было подавление восстания Костюшки) Суворов, тогда еще только генерал, послал Екатерине реляцию: «Ура! Варшава наша!» «Ура, фельдмаршал!» – ответила Екатерина. Великолепная, мужественная, элегантная краткость, не так ли? Но полковник Лев Ангельгардт рассказывает в своих воспоминаниях, как их часть вошла в Прагу (варшавский пригород), которую только что штурмом брал Суворов.

«Чтобы вообразить картину ужаса штурма по окончании оногo, надoбно быть очевидцем, свидетелем. До самой Вислы на всяком шагу видны были всякого звания умерщвленные, а на берегу оной навалены были груды тел, убитых и умирающих: воинов, жителей, жидов, монахов, женщин и ребят. При виде всего того сердце человека замирает, а взоры мерзятся таковым позорищем. Во время сражения человек не только не приходит в сожаление, но остервеняется; а после убийство делается отвратительным». Веселое «Ура, фельдмаршал!» Екатерины звучит уже по-иному, не так ли? «Поляки потеряли на валах 13 тысяч человек, – продолжает Ангельгардт, – из которых третья

часть была цвет юношества варшавского; более двух тысяч утонули в Висле».

И вторжение в Польшу под предлогом защиты славян-единоверцев, и разделы Польши, и суворовские войны – все это славы Екатерине не приносит, это ее позор.

Нет, «несытая Дискордия» Хераскова – это все же слабая аллегория войны. И «Апофеоз войны» Верещагина кажется всего лишь констатацией. И даже «Герника» Пикассо не выражает всего ужаса и всей низости военной бойни.

Наивысшим выражением войны мне представляется аллегория величайшего реалиста Брейгеля, его «Безумная Грета» – дикая, свихнувшаяся старуха мародерка, шагающая по растерзанной стране, – вот кто правдиво выражает сатанинскую сущность войны.

А Лев Энгельгардт, который в этой войне получил золотую шпагу и полковника, оказался под начальством Суворова, и тут мы получаем возможность увидеть полководца совсем не в том свете, в каком поколения россиян привыкли его видеть. «Он был тонкий политик и под видом добродушия придворный человек; перед всеми показывал себя странным оригиналом, чтобы не иметь завистников; когда с кем надо было объясниться наедине, то сказывали, что он говорил с убедительным красноречием (так и Екатерина наедине с Суворовым, и только наедине, легко с ним говорила. – *О. Ч.*), но как скоро был он втроем, то и принимал на себя блажь». Но вот сцены, для нас и вовсе неожиданные, – Суворов любил низкопоклонство, и тем, кто этого не понимал, приходилось худо. «Во время пражского штурма, – пишет Энгельгардт, – он закричал: «И я возьму ружье со штыком!» «Нет, ваше сиятельство, не пустим вас», – говорили знавшие его; кто хватал за узду его лошадь, кто хватал его за руки и полы платья, когда он и шагу не намеревался сделать; но он делал вид, будто вырывается, и кричал: «Труссы, трусы, пустите меня!» Один поручик хотел было его пустить, Суворов расцеловал его, сказал, что он один герой, остальные трусы, однако те, что его не пускали, были награждены, а поручик «остался без ничего и отпущен в полк». Когда шел бой, Суворов «делал вид, что скачет в самую его гущу», но, заметив, что его никто не удерживает, слезал с лошади и говорил, что онуча жмет ногу (он

носил не чулки, а подобие онуч). У мемуариста Энгельгардта отличная репутация, он правдив.

Честно говоря, сами словосочетания «гениальный полководец», «великий полководец» кажутся мне лишёнными смысла – ведь речь идет о крупных профессионалах в деле массового уничтожения людей. Как может быть такой человек великим и при чем тут человеческий гений, высшее выражение ума, благородства и совести? Как может этот гений проявиться в той сфере жизни, где отменены законы нравственности, начиная с заповедей «не убий» (сводки убитых врагов встречают с восторгом) и «не солги» (тут чем ловчее ты обманул, тем больше будут тебя хвалить за военную хитрость, за умело ввернутую в сознание противника «дезу» – даже особое слово пришлось для этого придумать)? Как может быть гением специалист в той области жизни, где изначально разрушены все те основы, без которых невозможна жизнь? Да и самая жизнь тут в небольшой цене, ее отдают за победу, толком даже не зная, кому она нужна, эта победа, – исключение, конечно, составляют отечественные войны, отражающие вторжения.

Человечество непоправимо увязло в этой страшной проблеме; сколько бы ни выступали против войны ее противники, армии необходимы, но о славе оружия, особенно современного, чудовищного, уже, как правило, не разбирающего, кто, мирный или не мирный, погибает в его огне, – о какой тут славе может идти речь?

Вот почему имперские притязания Екатерины, войны, которые она вела, присоединение новых территорий, дележ добычи, ухищрения дипломатии – все то, о чем, кстати, очень много написано, отсутствует в моей книге. Это тем более оправданно, что все интересы, самая жизненная цель этой императрицы лежала не вовне, а внутри страны. По счастью, в первое десятилетие ее царствования войны большой роли не играют.

* * *

Знаменитый указ о вольности дворянства имел двойственный общественный эффект. С одной стороны, он ужасным образом воздействовал на общество в целом и особенно пагубно именно на дворянство. Освобожденное от каких бы то ни было обязанностей по

отношению к обществу, оно загнивало не только в пороке и лени, но и в разврате безнаказанности. Безграничная власть дворянина над жизнью других людей делала его, человека зачастую темного и невежественного, неким подобием уголовника, которому ничто не свято, ничего не стыдно и никого не жаль. Таким образом, указ о вольности дворянства сокрушительно ударил по самому дворянству, подрывая его нравственные устои.

Но не может быть сомнений и в том, что этот указ был одновременно благодатен для дворянства и для страны: он давал дворянину независимость. В условиях этой (относительной) независимости в среде дворян пошел сильнее процесс своеобразной дифференциации – совсем не по линии землевладения и чинов. Водоразделом служило мировоззрение, понимание своих общественных обязанностей, наконец, личные качества. Люди энергичные и одаренные ответили на указ внутренним расцветом. На любом уровне дворянского сословия – и при дворе и в глухой деревне – стали расцветать личности, именно расцветать способностями, образованием, достоинствами. Энергии этих людей указ дал сильный толчок, но он же дал и простор для энергии. Независимость в распоряжении собой, своим жизненным временем, возможность читать, думать, изучать любую доступную уму проблему, рисовать, лепить, разводить сады, переводить с иностранных языков – XVIII век недаром явился нам блестящим дилетантом. Независимость в поведении и, уж во всяком случае, в мыслях – тех, кто к независимости стремился.

Чувство собственного достоинства росло именно в среде дворянства, позже за ним медленно двинулись остальные сословия – так медленно, что и XIX век не закончил этого пути.

Но пока идет этот благодетельный процесс, придворная, чиновничья среда являет нам мир самого наглого подобоострастия, ничуть своей низости не стесняющегося. Без тени смущения вельможи, самые крупные, толкаясь, наперегонки бегут в покои временщика и столь же бесстыдно его бросают при первом знаке опалы; если звезда его зажглась снова, они снова тут как тут. В своих мемуарах Л. Н. Энгельгардт рассказывает, что однажды в немилость впал сам князь Потемкин (Энгельгардт, кстати, как родственник и

адъютант Потемкина, хорошо знал все, что происходило вокруг светлейшего).

Потемкин жил во дворце, в особом корпусе, откуда по галерее был проход в покои императрицы. В его приемных с утра до вечера толклись придворные (знак удачи и власти фаворита), как вдруг стало известно, что Екатерина гневается: Дашкова и молодой фаворит Ланской ей донесли, будто бы в южных губерниях, которыми управлял Потемкин, все плохо. И разом опустели потемкинские покои, ни одного человека, если не считать преданных ему друзей, с ним не осталось, улицы рядом с его покоем, всегда полные экипажей, опустели. Но Екатерина через доверенных лиц узнала об истинном положении дел, и вот в один прекрасный день, проснувшись, светлейший нашел рядом с постелью пакет с назначением его фельдмаршалом.

Тогда он встал с постели, оделся в мундирную шинель, повязал на шею шелковый розовый платок и, как обычно делал это по утрам, отправился к императрице. «Не прошло еще двух часов, – пишет Энгельгардт, который как раз в этот день был при князе дежурным адъютантом, – как уже все комнаты его были наполнены и Миллионная снова заперлась экипажами; те самые, которые более ему оказывали холодности, те самые более перед ним пресмыкались». Сам Потемкин, надо думать, счел все это в порядке вещей, да и те, кто бежал в его покои, стыда, по-видимому, тоже не испытывали.

Чем более старела Екатерина, тем более уродливые формы принимал фаворитизм – это дитя самодержавия и фривольности. Передняя ее фаворитов была описана не раз; вот как она выглядит в описании Адама Чарторыжского. Платон Зубов принимал посетителей во время туалета, здесь можно было видеть «первых сановников империи, людей, известнейших именами, генералов, управлявших нашими провинциями... Сюда они явились униженно гнуть шею перед фаворитом и уходили, не получив ни единого взгляда, или стояли перед ним, как часовые, в то время, как он переодевался, разлегшись в кресле... Все со вниманием следили, когда взгляд их встретится с его взглядом... Часто граф не произносил ни одного слова, и я не помню, чтобы он предложил кому-нибудь сесть... Деспотичный проконсул Тутулмин, наводивший ужас на Подолию и Волынь, будучи

приглашенным сесть, не посмел сделать этого, а лишь присел на кончик стула и то всего лишь на минуту».

Людей, которые толпой бежали в приемную временщика, ничто не принуждало, ничто им не грозило, если бы они сюда не бежали, — они просто надеялись нечто выгадать и приобрести. А если по службе грозила неприятность, в душе человека вспыхивал страх, вскормленный веками бесправия и произвола. Тот же Энгельгардт, прошедший суровую школу войны, ждал маневров в Казани, где должен был быть император Павел, с бóльшим ужасом, «чем идя на штурм Праги». После маневров Павел к нему подошел: «Скажи, откуда ты выпекся? Только ты мастер своего дела». Я руку его, лежавшую у меня на плече, целовал, как у любовницы, ибо в первые два дня я потерял бодрость и ожидал уже не того, чтобы обратить на себя внимание, а быть исключенным со службы» (если учесть, что Энгельгардт был очень высок, а Павел — очень мал ростом, то, надо думать, сцена была любопытной).

Следующее поколение в XIX веке, даже под страхом смертной казни, рук целовать уже не станет, хотя жажда повышения по табели о рангах и тут порою будет горяча (А. Горчаков, товарищ Пушкина по лицу, писал о себе: «В молодости я был так честолюбив, что носил в кармане яд, если обойдут местом»).

Но у нас есть возможность рассмотреть проблему достоинства в еще большем приближении.

Колесил по дорогам России дворянин родом из сербов — Александр Пишчевич; смелый, сильный, крепкий. Любой дворянин, всегда член огромного родственного союза, чувствовал себя в жизни более или менее прочно. Являясь на место службы или просто приехав в тот или иной город, он почти всегда располагал рекомендательным письмом от одного родственника к другому или, еще лучше, от какого-нибудь могущественного вельможи другому. Если у него нет письма, все равно: он найдет родню; недаром два дворянина, встретившись где-либо, хоть на почтовой станции, начинают считаться родством («не свои ли они»), причем считают до шестого, седьмого рода связи (это казалось естественным, без этого не бывало). Пишчевич особенно интересен нам потому, что формировался уже в век Екатерины, был ее страстным поклонником и, конечно, испытал на себе влияние

проповедуемых ею идей. Этот молодой человек оказался в особом положении: его отец, скупой и жестокий, сына не любил и пустил его в жизнь без всякой помощи, в том числе и материальной, которая была тем более необходима, что служба офицера в полку требовала больших расходов – деньги на своих лошадей, на обмундирование себя и своего слуги.

Пишчевич был так основательно нищ, что вынужден бывал – он, влюбленный в свою профессию военного, – отказываться от похода (куда рвался всей душой) только потому, что у него не было даже лошади с телегой, чтобы передвигаться. В походе этот офицер порой голодал так жестоко, что вынужден бывал присаживаться к солдатскому котлу. Судьба бросала его из стороны в сторону, начальство загружало работой (при этом он видел, что офицеры, баловни судьбы, имевшие и родню и богатство, работали куда меньше, а продвигались куда быстрее), он сражался в турецкую кампанию, нес невероятные тяготы ее походов и, несмотря на служебное рвение, по службе не преуспевал. Но, несмотря на постоянную нужду и великие труды, он шел жизнью своим упругим шагом, веселый, ироничный (скажем к слову, любимый женщинами), как все молодые люди того века, мечтая о чинах, орденах и карьере.

Настало время, когда отец, оценив его службу, решил все же помочь ему в продвижении: он «положил ходатайствовать ему капитанский чин, и вот каким образом. Был тогда в великой милости у князя Потемкина доктор Шаров, – пишет Пишчевич, – вылечивший весьма удачно племянницу его светлости графиню Браницкую от отчаянной болезни: сей господин Шаров пред моим отъездом взял у отца моего двух жеребцов, за которых деньги еще не были заплачены; итак отец мой положил, чтобы я сими лошадьми доехал до капитанского чина». Пишчевич отправился в Елисаветград к доктору Шарову, и тот должен был представить его графине Браницкой.

И тут – внимание! Начинается неожиданный поворот сюжета, который говорит о серьезных изменениях в самосознании героя.

«Я был уже в пути к дому г-на Шарова, – пишет он, – в которое время голова моя обременена была разными размышлениями, и между прочим, представилось мне мое будущее капитанство столь чудным, что чем более я об оном размышлял, тем смешнее мне казалось достигнуть до оногo посредством жеребцов, лекаря и женщины.

Низость такого повышения заставила меня краснеть, казалось, что все, мимо меня проходящие, ведали мою тайну и меня оным упрекали в мыслях; всё сие до того мною овладело, что очевидная польза показалась гнусною и я, возвратясь на свою квартиру, положил оставить все сие дело на судьбу и более моя нога не была у г-на Шарова».

Этот поворот на пути к доктору Шарову означал и другой, куда более серьезный. Во внутренней борьбе, в метании души между «очевидной пользой» (его, нищего, не имевшего решительно никаких видов, чтобы пробиться) и сознанием, что слишком дорога цена, которой эта польза покупается, у нас на глазах рождается чувство независимости, достоинства, личной чести.

Эскадрон, которым командовал Пищевич, вошел в Анапу, «велено было пустить войско на добычу». Пищевич стоит на валу при знамени с несколькими ранеными драгунами и смотрит, как солдаты грабят лавки, их не осуждает, у них своя нравственность, на них правила дворянской чести не распространяются. Он стоит при знамени и с презрением глядит на дворян, унижающих себя грабежом. Он нищ, он весь в долгах, а долги, он хорошо это знает, «мучат и убивают душу», он готов сражаться, работать, даже идти по миру, но терять достоинство? – на это он согласия не давал.

Их эскадрон, изнывая от скуки две зимы, стоит на Волге («мы все в сем месте как в заточении испытали, можно не умирая быть мертвым»), и тут стал навязываться Пищевичу в приятели местный исправник, большой мастер по части наживы. Он предлагал разные способы обогащения – выезжать, например, в окрестные селения, чтобы заставить крестьян откупаться от постоя крупными суммами, – а Пищевич не только отказался это сделать, но, напротив, убеждал крестьян, что солдаты «не разбойники, но их сограждане и защитники». Исправник был искренне возмущен и говорил потом, что Пищевич «способен просвещать народ и весьма похож на такова человека, который готов революцию затеять», что он принадлежит к «обществу якобинцев». Замечательно: в исправничьей голове система взяток, насилия и беззаконий настолько тесно сплетена с государственной системой, что отказ от беззаконий и взяток представляется ему прямым якобинством.

Петербургский полк, где служил Пишчевич, шел из Крыма (уже присоединенного к России) на родину. «Позднее время, а к тому же пространная степь никем не обитаемая между Крымом и помянутой линией делали нашему полку сей поход трудным и опасным, – пишет Пишчевич. – В сем походе я еще более привязался любовью к русскому солдату, ибо имел довольно случаев удивляться его твердости: ежели начать с его одежды, то нельзя сказать, чтобы она была слишком теплая, бедный плащ защищал его от сильных вьюг и крепкого мороза (кстати, Потемкин, фантастически богатый, мог бы и получше одеть и кормить свою армию, это было бы разумней, чем вечно восторгаться выносливостью русского солдата. – *О. Ч.*), но при всей сей невыгоде бодрость его не оставляла... Итак, мы отправились далее, имея степь вместо квартир, а умножающийся ежедневно снег служил солдату, сотворенному крепче всякого камня, вместо пуховика». Из-за стужи драгуны не могли даже остановиться, чтобы испечь хлеб, была роздана мука, из которой варили «саламатину... Однако ж все сие было преодолено и мы в половине января 1784 года вошли в свои квартиры».

Именно в Крыму, «находясь в карауле или табуна», Пишчевич по бедности вынужден был садиться за солдатский котел, где, кстати, порой варилась простая трава. «В сем походе заметить я мог, что солдату российскому нет ничего невозможного: посреди степи пространной и оком неизмеримой, варят свою пищу сырой травой, которая столько же вкусна, как будто на лучших угожьях приготовлена; хлеб пекут к великому моему удивлению в вырытых ямах, и оный я ел, который вкусен и хорош; одним словом, мне кажется, что сии люди рождены победить свет, только бы умели их водить. Мое утешение было слишком велико видеть себя помещенну в число сих неустрашимых воинов». И все-таки офицеру сесть за солдатский котел? «Должен я к своему стыду сказать, что сначала краснел сесть между ними, по предрассудку, в младенчестве вперенному, будто стыдно тоlikое фамилиарство благородного с человеком, которого высокомерие дворян назвало, не знаю, по какому праву, народом черным. После входа в лета я уже распознал, что мы все люди и рождены равно и что между простыми гораздо больше благородно мыслящих, нежели между тех, которые себя сим титулом величают».

Идеи Просвещения, провозгласившие естественное равенство всех людей, несомненно и сильно влияли на формирование чувства собственного достоинства русского дворянина, но самый этот процесс шел различными путями и на различной глубине. Екатерининский вельможа, вольтерьянец и вольнодумец, воспринимал эти идеи, может быть, и горячо, но все же отвлеченно, готов был признать человеческие права мужика и солдата, но лишь теоретически. Живой мужик и живой солдат были от него бесконечно далеко, общение ограничивалось, как правило, обслугой, дворней, являвшей собою очень сложный, сильно деформированный социальный слой. Впрочем, и дворовых мы тоже не всегда верно себе представляем. Горькие, страшные своей правдой, рассказы Герцена о всех этих подневольных людях, спившихся, погибших, сошедших с ума, произвели на нас огромное впечатление, и мы забыли о другом, менее распространенном, но все же существующем явлении – о влиянии на слуг просвещенного дворянства, о формировании крепостной интеллигенции. Александр Пишчевич проверял усвоенные им идеи Просвещения на реальной жизни, в общении с живыми людьми, с которыми воевал и работал. И если критерием оценки человека становится чисто нравственный принцип, то возвышение одного человека над другим возможно по единственному уровню – уровню благородства мыслей и чувств. Пишчевич ощущает не только собственное достоинство, но и достоинство своих сотоварищей по войне, простых солдат.

Однако, рассматривая вопрос о том, как глубоко проникали в сознание людей XVIII века идеи Просвещения, нам, отделенным от него двумя столетиями, следует быть очень осторожными. Равенство, основанное на уровне Просвещения, настоящего равенства заведомо не давало – вспомним, как наш офицер стоял под знаменем, наблюдая солдат, грабящих захваченный город, стоял в полной убежденности, что им это (по их темноте) дозволено и можно, а ему, дворянину, это стыдно и нельзя. С точки зрения дворянства, простой народ, подобно детям, жил по менее строгим, как бы облегченным нравственным правилам.

Пишчевич независим не только в рассуждениях, но и в поступках. Начальник его, генерал Потемкин, родственник светлейшего, стал с похода ежедневно посылать Пишчевича к своей молодой жене. «Сначала я сие исполнял с обычной своею скоростью в том чаянии,

что сие мое курьерство, видя мою усталость от ежедневной верховой скачки, он прекратит, но когда сего не случилось, то я в один раз вместо одного дня, мною всегда на сию дорогу употребляемого, положил два дня слишком. Что сие значило, не надобно быть великим магом; г-н Потемкин ясно понял, что мне сие посольство не нравилось и что я не в своем месте употребляем быть не хотел». Наконец, генерал через третье лицо выразил свое неудовольствие: почему, мол, Пишчевич другие поручения выполняет усердно: и быстро, а это – еле-еле. Пишчевич тоже через третье лицо ответил, что служебные поручения он исполняет точно и быстро, а когда он везет письмо от мужа к жене, «скакать сломя голову было бы безрассудно». Такой ответ начальнику, генералу (да еще племяннику самого Потемкина!) говорит уже о высоком чувстве собственного достоинства.

Наши мемуаристы не склонны кланяться кумирам, даже если это сама Екатерина, – и вот снова перед нами славный Болотов.

В Туле в 1787 году ждали приезда императрицы, напряжение было огромное, украшали город, строили триумфальные ворота, свозили провиант, гнали лошадей, со всей области съезжалось дворянство, «все госпожи» сообразно с алым цветом тульского мундира шили себе алые шелковые платья.

Все изнывало от предвкушения, от жажды увидеть императрицу, от страха не успеть, не суметь протиснуться и пропустить главное. А Болотов не может «без смеха вспоминать о той превеликой суете, в какой находились все, и какая скачка поднялась по всей Туле карет и колясок и бегание взад и вперед народа». Впрочем, в его собственной семье дамы тоже шили себе алые платья, а сам он со старшим сыном Павлом готовился поднести императрице свою драгоценность – книги, в частности книгу рисунков, которую они с великим старанием делали года два.

И вот, наконец, день приезда. Вся главная улица от триумфальных ворот при въезде в город до собора, куда, как ждали, должна войти Екатерина, забита людьми. «Наконец в 12 часу гром пушечный за городом пальбы возвестил нам о приближении к городу императрицы. Наконец, показалась и она, окруженная множеством всадников, скакавших по обеим сторонам оной. Сам наместник скакал подле

кареты сей, сбоку, верхом, и не успела она поравняться против нас, как все мы отдали ей глубочайший поклон. Но самое сие поклонение и лишило нас с толикою нетерпеливостью ожидаемого удовольствия ее увидеть, ибо вместо того, чтобы ей против нас остановиться, проскакала она мимо нас так скоро, что мы, подняв головы свои, увидели уже карету ее далеко от нас, уже удалившуюся и посмотрели только вслед за оною».

И у собора Екатерина остановилась только на секунду, чтобы перекреститься перед вынесенным для нее крестом. «Господи! Какое началось у всех нас, а особливо у господ боярынь наших о сем происшествии судачание и какие сожаления слышны были повсюду и от всех, что все труды и хлопоты ихние обратились в ничто и были тщетны». Но главные надежды всех были на появление царицы во дворце наместника. Болотов тоже строил на этом немалые планы: он рассчитывал, что поднесет книгу Екатерине, та примется ее рассматривать, спросит, кто делал такие прекрасные рисунки, а он скажет, что сын Павел, и отсюда для Павла воспоследует чин.

«Я, поскакав ко дворцу и вошед в зал, нашел уже весь оный наполненный дворянством, и наместник, увидев меня, велел мне скорее подавать книги. Я бросился благим матом за ними в карету, в которой они у меня оставлены были. Ее успели уже неведомо куда от крыльца отогнать, и я насилу мог ее отыскать. Тут, подхватив их все, потащил их без души во дворец. Была их целая ноша и все превеликие, состоящие из многих атласов и ландкарт и разных планов, до Тульской губернии относящихся. С превеликим трудом отыскал я наместника между народом, и он, схватя меня, поставил было сперва в зале, но вскоре потом ввел меня в другую, внутреннюю и находящуюся подле зала комнату, и, поставив в темный угол под окном и двери, в которую государыне входить в сию комнату из внутренних своих покоев, велел там стоять и дожидаться выхода государыни.

Тут принужден я был стоять с добрую четверть часа и держать под мышкою отяготительную свою ношу. Книги были превеликие и тяжелые, держать их было мне не без труда. К сему свою, переплетенную в зеленый гарнитур и впрах раззолоченную по приказанию наместника, положил я на самый верх... Наконец, появилась императрица, но тут стали ей произносить речи. Сие смутило меня еще больше. Со всем тем, стоячи в такой близости,

позади своей монархини, имел я случай не только оной насмотреться, но и заняться мыслями о сей обладательнице толиких миллионов народа, которых всех судьба и счастье зависело от ее особы, и от которой я и ожидал тогда какой-нибудь милости». Тут наместник подал ему знак, он со своими книгами кое-как протиснулся к императрице и стал их ей подносить, как вдруг кто-то из придворных выхватил книги у него из рук и с ними скрылся, а его оттеснили те, кто подходил к руке императрицы. Он выбрался из давки, к руке подходить не стал, забился в самый дальний угол и думал о своей книге: «Ах, голубка моя! Что-то с тобою, бедняжка, воспоследует вперед? А начало что-то нехорошо...»

И все-таки он надеялся: вдруг Екатерина увидит его замечательную книгу и его позовет? Или заговорит с ним вечером на бале, где она обязательно должна быть. И поехал Болотов на бал. «Мы нашли всю огромную залу дворянского собрания набитую бесчисленным почти множеством господ и всех с крайнею нетерпеливостью и вожделением дожидających той минуты, в которую государыня прибыть имеет.

Вдруг наконец загремела музыка, и в тот же миг растворяются настежь входные двери. Вы подумайте и вообразите себе, как сильно поразились все бывшие тогда в собрании и как изумились, увидев вместо государыни нашего только наместника, ведущего за руку госпожу Протасову» (камер-фрейлину Екатерины. – О. Ч.). А на следующее утро Екатерина отбыла в Москву (оказалось, что Турция объявила России войну – отсюда и поспешность, и отсутствие императрицы).

Замечательно то состояние раздвоенности, в котором в эти дни жил Болотов. С одной стороны, его тянул общий магнит (чему немало способствовала горячая и все же подбострастная мечта его – добыть чин для любимого сына), а с другой – вся его натура, природный ум, достоинство – все противится этой тяге. Уносимый волной всеобщего энтузиазма, Болотов внутренне не только не поддается – он протестует. Так, противостоя и протестуя, он все-таки мчится в общем потоке: слишком велик гипноз власти, заразительна эпидемия восторга – да и куда денешься, ведь нужен Павлу чин.

Эта раздвоенность находит себе выход в иронии: все же в углу позади императрицы, стиснутый вместе со всеми своими дарами, стоит внутренне независимый и весьма насмешливый наблюдатель. А описание самых, казалось бы, торжественных мгновений царского приезда становится прямо комическим: глубокий дворянский поклон карете, которой и след простыл; ожидание выхода царицы на бале, музыка, распахнутые двери – и появление никому не нужной Протасовой. И наконец, подношение драгоценной, возлюбленной книги, на которую никто не взглянул. Тут уж ирония мешается с горечью (мы не говорим о вожденном чине, проплывшем мимо).

Оно еще очень неустойчиво, чувство собственного достоинства, но оно уже проснулось, уже диктует мысли и поступки. Все-таки Болотов не подошел к руке.

* * *

У Екатерины было замечательное свойство, отмеченное как ее современниками, так и последующими историками: она (особенно в первый период своего царствования) умела выбирать себе сотрудников, помощников и друзей. Тут у нее была программа. «Отыскивайте истинное достоинство хоть бы оно было на краю света, – писала она, – по большей части оно скромно и прячется где-нибудь в отдалении». Добродетель не высовывается, не жадничает, не суетится и не очень огорчается, когда о ней забывают. Выбирала она по большей части не из знати, вокруг нее было много провинциального дворянства (кстати, и Орлов, и Потемкин), царица искала самых энергичных, благородных по целям и намерениям, независимых по характеру, таковы Орлов, Сиверс, Бецкой, Бибииков, Строганов. (И своих должностных лиц она, как свидетельствует современник, «выбирала в спокойствии духа и каждому назначала свое место».) Соединенные вместе, объединенные Екатериной, все эти люди создавали некое мощное нравственное поле, которое не могло не оказывать влияния на все российское общество.

Главным, однако, был тот мощный импульс, что исходил от Екатерины, от самой ее личности, столь яркой и своеобразной (вот уж действительно другой такой на свете не было). И мы, видевшие царицу

в самых разных жизненных ситуациях, все-таки должны представить себе ее целостный облик – насколько это возможно, разумеется.

Конечно, жил в ней кондор, оглядывал горизонт, был готов к обороне, и все же агрессивного, хищного начала в Екатерине не было нисколько. Напротив, то был легкий, веселый, покладистый характер.

Вспоминали о ней многие, но есть одна особая книжка, записки ее статс-секретаря А. Грибовского; в них он включил чужие воспоминания (принца де Линя) и объяснил почему.

«Много писано о Екатерине Великой, – говорит он, – но никто почти из писавших о ней не был при ее особе, а многие из них никогда с нею и не говорили. Все они заимствовали сведения о сей монархине из публичных происшествий или из ее законов, уставов и других сочинений. От сего она представлена в сих описаниях торжествующей победительницей, преимущественно законодательницей, одаренной высочайшим гением и проч. Все сие, конечно, справедливо, но изображение прекрасных свойств ее души и сердца, от которых проистекли все великие ее деяния, увенчавшие ее неуведаемою славой и изображения которых наиболее для человечества поучительны, почти не приметны в вышеозначенных сочинениях». Он сетует на то, что люди, стоявшие к ней очень близко, в частности Потемкин и другие фавориты, воспоминаний о ней не оставили. «Один только знатный иностранец, пользовавшийся ее особым благоволением, остроумный принц де Линь, начертал беглою и смелою кистью краткое изображение свойств Екатерины», но и он видел ее только в публичных собраниях, когда она бывала «в полном уборе» да разговоры шли самые общие, – нет, ее нужно было видеть в заботах каждого дня, когда «и власть, и величие императрицы чудно сливались с чувствами человека и во всей полноте открывали самые сокровенные мысли и ощущения души и сердца ее». Однако самому этому молодому чиновнику ни в малейшей степени не удалось изобразить «самые сокровенные мысли и ощущения» Екатерины, ему по силам оказалось только описание ее жизненного распорядка.

Как мы помним, она вставала очень рано, сама растапливала камин (однажды маленький трубочист, которому и в голову не могло прийти, что царица встает в такую рань, спокойно залез в трубу и, когда на него пошел горячий дым, стал вопить, «я тотчас загасила камин, – рассказывает Екатерина, – и усердно просила у него

извинения»). В девять часов она входила в спальню, где были приготовлены два «выгибных столика» (такой столик формой напоминал боб и потому назывался «бобком»), выемками в разные стороны. У дверей стоял дежурный камердинер в белых шелковых чулках, в башмаках и в пудренном парике. Екатерина входила в девять часов, садилась за столик, другой «бобок» ожидал посетителя. Она звонила в колокольчик – первым приходил обер-полицмейстер, докладывал «о благосостоянии столицы» (Екатерину интересовали цены на петербургском рынке и особенно на хлеб). Затем следовали статс-секретари. Грибовский говорит, как это происходило: «Я делал низкий поклон, на который отвечала наклоном головы, с улыбкою подавала мне руку, которую я, взяв в свои, целовал, и чувствовал сжатие моей собственной руки, потом говорила мне: «Садитесь».

Утренняя работа шла точно до двенадцати часов. Потом являлся парикмахер для «чесания волос» (прическа была самая простая), потом подавали лед, «которым государыня терла лицо», других притираний она не любила. Так, час за часом отмечал Грибовский весь «рабочий день».

Воспоминания принца де Линя совсем другого рода. Он был ярким (и действительно очень остроумным) человеком, неизменным спутником Екатерины в ее поездках, ее постоянным собеседником, был к ней привязан. Потрясенный ее смертью, тотчас начал писать о ней, «чтобы представить то понятие, какое иметь о ней должно».

Когда принц познакомился с Екатериной (в начале 60-х годов), она была еще свежа и привлекательна (это значит, что в годы своего романа с Орловым она была в своем женском расцвете). Описывая фигуру царицы, де Линь говорит, что у нее была высокая красивая грудь, подчеркивающая тонкость ее талии. «Но в России женщины скоро толстеют», – прибавляет он с сожалением. Зато о лице ее он рассказывает с истинным удовольствием; отмечает ее величественный лоб, не только высокий, но и широкий – сразу было видно, «что там для всего было место» – мы, не видя этого лба, тоже заметили, что *там* немало всего помещалось, величие ее чела не было чрезмерным, оно было смягчено «приятностью глаз и улыбкой». Лицо государыни не отличалось правильностью, зато было чрезвычайно привлекательно, «ибо открытость и веселость всегда были на ее

устах». Нетрудно заметить, насколько этот облик похож на модель мраморного бюста, сделанного Мари Анн Колло.

Многие говорят о веселости Екатерины, о ее славной улыбке, о ее обаятельном смехе – о слезах ее мы слышим редко, главным образом от нее самой (так, расставаясь с Орловым, она плакала дни и ночи целых полтора года, но это особый случай). Между тем она говорит о себе, что «плаксива от природы», и есть одна история, которая дает случай в этом убедиться. Связана она с русским масонством, которое так сильно раздражало и тревожило Екатерину. Тайные масонские ложи, распространившиеся в России 70-80-х годов, явно тяготели к наследнику престола (на их собраниях даже пелся гимн, сочиненный в честь Павла). Если учесть, что во Франции уже всюду бушевала революция, а масоны были связаны с границей, они представляли в глазах Екатерины особую опасность.

Сперва в борьбе с ними она пыталась применить испытанное оружие – написала комедию, едко их высмеивающую. Но масонское движение было слишком разветвленным и сильным, чтобы с ним можно было справиться простой насмешкой! Тогда она решилась на меры, ей вовсе не свойственные, – разгром движения. Пошли обыски, допросы, аресты, и был схвачен сам Новиков. В нашей исторической науке упорно повторяется версия, будто императрица бросила Новикова в крепость за то, что он проповедовал передовые взгляды, заступался за крестьян и бичевал пороки злых помещиков. Все это не имеет ничего общего с действительностью. Екатерина поддерживала Новикова-просветителя – автора знаменитой прокрестьянской публицистики, дала ему возможность работать в своем историческом архиве, помогала деньгами. Нет, Новиков попал под удар потому, что был одним из самых ярких и самых активных руководителей русского масонства.

Нам вся эта история представляется особо важной для понимания Екатерины: мы имеем дело с периодом жестких репрессий. Пусть они произошли в конце ее царствования (1792 год), пусть это уже состарившаяся, потухшая Екатерина, все равно перед нами, в конце концов, один и тот же человек, нам важно увидеть ее – открыто карающей. Подробности этой истории мы узнаем от Ивана Владимировича Лопухина, ближайшего друга Новикова и тоже активного масонского руководителя.

Первый удар пал как раз на Новикова, его «книжные лавки в Москве запечатали, также типографию и книжные магазины Новикова, дома его наполнились солдатами, а он из подмосковной взят был под тайную стражу, с крайними предосторожностями и такими воинскими снарядами, как будто на волоске тут висела целость всей Москвы». «Под тайную стражу» – это значило, взят в Тайную экспедицию. «Окольными дорогами», минуя города и самый Петербург, его отвезли в Шлиссельбургскую крепость. А Лопухина вызвал на допрос генерал-губернатор Петербурга князь Прозоровский, человек тупой и злобный, именно он и осуществлял репрессии, а весьма вероятно, был и их инициатором.

Задаваемые Лопухину вопросы были отредактированы самой Екатериной, и главным был вопрос о связи «с тою ближайшею к престолу особою». Лопухин отрицал какую бы то ни было вину и защищал масонов как просветителей, а Прозоровский сказал: «Новиков-то во всем признался», – и это Ивана Владимировича сильно взволновало: очная ставка? Но ведь это означало, что Новикова «привезли в Москву после нескольких месяцев заключения в Тайной экспедиции, изнуренного, обросшего бородою, может быть, окованного; прискорбно ожидать такого тут свидания с человеком, которого я всегда очень любил». Однако Лопухин утверждал, что Прозоровский лжет, Новикова не привозили, и успокоился. А далее у них состоялся такой разговор:

– Имели вы переписку с французами? – спросил генерал-губернатор.

– Имел, – ответил Лопухин.

Прозоровский был доволен чрезвычайно.

– Это хорошо, что вы чистосердечны, да и дело уж известное. Так когда и о чем вы писали?

– Ну, я писывал им, чтобы прислали табаку, вина, конфет, сукна какого-нибудь...

– Вы шутите! – закричал Прозоровский. – Вы были в переписке с якобинцами!

– А вы с ними не переписывались? – спросил Лопухин, «сидя и гораздо не учтивясь». – В верности государю и отечеству никак вам не уступлю! – и вдруг вскипел: – И не смейте мне делать таких вопросов!

И генерал-губернатор «сбавил своего жару».

«Сидя и гораздо не учтивясь» – Лопухин своего противника не боится. У Прозоровского власть в руках, а Новиков в крепости сидит, и все-таки Лопухин не скрывает своего явного презрения к нему, московскому главнокомандующему, и тот «сбавляет жару».

На самом деле Лопухин очень боялся: уже был подписан указ, согласно которому он и другой видный масонский деятель, князь Николай Трубецкой, отправляются в ссылку, а именно ссылки он и боялся: его отцу, бесконечно им любимому, было уже под девяносто, он совершенно ослеп и был едва ли не при смерти – одно известие о предстоящей разлуке с сыном могло его убить. Между тем Екатерина, как разъяснил друг их семьи граф Алексей Орлов, никогда не отменяла свои указы (кстати, она и писала о том, что государь ни в коем случае не должен отменять распоряжения, это погубит его авторитет). А Прозоровский требовал немедленного отъезда только одного Лопухина: Трубецкой признавался и каялся, ему была дана отсрочка.

И тогда Лопухин сел и, обливаясь слезами, стал писать Екатерине письмо. «Государыня! – писал он. – Мать Отечества! Я не злодей!» Письмо было отправлено в Москву с курьером, который вез также и заключение Прозоровского: Трубецкой, как раскаявшийся, достоин помилования, а Лопухину, упорствующему, ссылки мало.

Курьер не вернулся. Нужно было ехать, а значит, и сообщить обо всем происходящем отцу. У Лопухина не было на это сил, в спальню больного пошел Алексей Орлов, а сын остался ждать. «Минуты ожидания, – пишет он, – были для меня таковы, что я думаю, не мучительнее были бы они для меня на эшафоте».

Вкруг дома сновали шпики, Прозоровский требовал немедленного отъезда.

«Все к отъезду у меня было уже готово, – пишет Лопухин, – подорожная взята. Вечеру привели почтовых, с тем чтобы на завтра до свету мне выехать».

А в двенадцатом часу приехал курьер и привез именной указ (вопреки своим правилам, Екатерина изменила решение): в ссылку отправляется только Трубецкой, а Лопухин остается в Москве.

При слове «ссылка» нам представляется возок, сопровождаемый жандармами, дальний сибирский рудник и кандалы, а тут почему-то нанимают почтовых... Да в том-то все и дело, что ссылка, предписанная Екатериной, предполагала вовсе не Сибирь, а

собственную подмосковную, ту, что «всего дальше от Москвы», так что в принципе в покойной карете больного можно было бы туда и перевезти. Впрочем, это могло быть и рискованно при его возрасте и болезни.

Позднее статс-секретарь Екатерины, читавший ей письмо Лопухина, рассказал ему, что и сам при этом плакал, и государыня была тронута до слез.

Итак, в этой истории все плакали: и автор письма, когда писал, и чиновник (кстати, человек далеко не сентиментальный, скорее даже, циничный), когда читал, и самый адресат.

Смею утверждать, что то были слезы, общественно весьма полезные.

Когда Екатерина подписывала запрещение пытки, помните, в глазах Орлова тоже стояли слезы.

Вообще сильные и мужественные мужчины прошлого не боялись плакать, когда были чем-то очень-очень взволнованы, даже в обморок падали и ничуть этого не стыдились (кстати, сам Роланд, на многие века ставший для Западной Европы образцом мужества, идеалом рыцарской мощи, не менее трех раз падал от горя в обморок в разгар Ронсевальской битвы).

«Слезы людские, о, слезы людские» – им посвящено одно из лучших стихотворений Тютчева. У Пушкина слезы стоят в одном ряду с любовью и самой жизнью. Это только большевики стали рассматривать их как постыдную слабость.

У Екатерины был твердый, мужественный характер, но и она не стыдилась слез.

Замечательно, что раскаявшийся Трубецкой, которого так усиленно поддерживала московская власть, не вызвал симпатии императрицы. А что побудило ее отменить ссылку относительно упорствующего Лопухина? Это в том же указе и объяснено: «опасность сразить престарелого отца».

Но мы все-таки продолжим рассказ о разгроме масонства, поскольку здесь нам представляется возможность заглянуть наконец в Тайную экспедицию и посмотреть, что там происходит. В нашей исторической науке бытует мнение, будто Тайная экспедиция

Екатерины, по существу, отличается от петровской Тайной канцелярии только названием. Потемкин, встретив Степана Шешковского, начальника Тайной экспедиции, спросил его: «Все кнутобойничаешь?», и тот ответил: «Помаленьку». Сын Радищева Павел рассказывает, что его отец во время ареста при одном имени Шешковского упал в обморок, потому что Шешковский, – прибавляет Радищев-младший, – был то же, что Малюта у Ивана Грозного или палач Тристан у Людовика XI. «Домашний палач кроткой Екатерины», – скажет о нем Пушкин.

Но если Шешковский – это Малюта, тогда чается, что Екатерина – нечто вроде Ивана Грозного, кровавого тирана? Нелепость очевидна. И тем не менее в этой непроясненной ситуации, в этой мути кое-как был слеплен образ гнусной лицемерки, которая сладко воркует о милосердии и справедливости, а практикует жестокость и произвол. Вот почему нам обязательно надо заглянуть в Тайную экспедицию, когда допрос ведет сам Шешковский.

По делу Новикова был арестован студент-медик Максим Невзоров (кстати, Лопухин за свой счет посылал его учиться за границу), он, позднее освобожденный, сам рассказал Лопухину, как шло следствие.

Невзоров плохо себя чувствовал и не отвечал на вопросы.

– Да знаешь ли ты, где ты? – спросил Шешковский.

Максим ответил, что не знает.

– Как это не знаешь? Ты в Тайной.

Максим ответил, что не знает, что такое Тайная.

– Пожалуй, что схватят и в лес завезут, – сказал он, – в какой-нибудь стан и скажут, что это Тайная.

Шешковский был крайне раздражен.

– Государыня велела тебя бить четвертным поленом, коли не будешь отвечать! – закричал он.

– Не верю, чтобы это приказала государыня, которая написала Наказ Комиссии о сочинении Уложения, – резонно возразил Максим.

Шешковский вышел и вернулся с запиской – от Екатерины, которая повелевала обвиняемому отвечать на вопросы.

– А может, это ваша жена написала, – заявил Невзоров. – Я почему знаю?

– Да понимаешь ли ты, кто я?! – закричал Шешковский (привыкший, что при одном его имени люди падают в обморок).

– И того не знаю.

– Я Шешковский.

– А может, вы и не Шешковский, почему мне знать? – стоял на своем студент. – А будь и Шешковский, у меня с ним никаких дел нет и быть не может.

И тут же объяснил, что принадлежит к университету, а по его уставу он «должен отвечать не иначе, как при депутате университетском». Отправили Невзорова для допроса к самому куратору университета И. И. Шувалову. «Допрос был неважный, – говорит Лопухин, – потому что нечего было отвечать, как не о чем было бы спрашивать». По-видимому, Шувалов за Максима не заступился, тот долго еще сидел в крепости, но у нас речь о Тайной экспедиции – разве она чем-либо напоминает петровский застенки, где людей поднимали на дыбу, чтобы бить кнутом и жечь огнем? И разве похож на Малюту Шешковский, которому – и это совершенно очевидно – запрещено применять пытку, как это было запрещено всей Российской империи.

И единственное, что оставалось бедному Малюте, – это распространять слухи о собственной свирепости, подыгрывать Потемкину, на его вопрос: «Все кнутобойничаешь?» – скромно отвечать: «Помаленьку» и придумывать угрозы пострашней.

В конце концов все же трудно поверить, что это Екатерина предложила бить подозреваемого четвертным поленом.

Екатерина отменила ссылку Лопухина, поскольку была «опасность сразить престарелого отца», это значит, что даже в свои поздние годы, даже во времена, когда ее преследовал страх перед Французской революцией, даже в состоянии крайнего раздражения и гнева – царица поставила нравственный принцип выше политического расчета.

А в ее молодые – лучшие – годы этот нравственный принцип стал едва ли не ведущим в ее политике. Во всяком случае, в «Обряд управления комиссией» своего Наказа она ввела понятие чисто нравственной казни – казни стыдом, – используя формулу, которая, по ее представлениям, выражала нравственные правила древнерусского мира – «да будет мне стыдно». Именно ее-то и ввела Екатерина в российский обиход.

Так, например, в «Обряде управления комиссией» своего Наказа она говорит: если депутат нарушит предписание, «то через сие объявляем: да будет ему стыдно», и вся Комиссия выскажет ему свое негодование. А кончается «Обряд» призывом к депутатам: пусть докажут, что они «не уступают предкам во уважении и в ненарушении драгоценного старинного слова: *да будет мне стыдно*». То были для нее не пустые слова.

Ведь именно этот принцип она и применила на деле, когда в Большом собрании депутат Глазов оскорбил черносотенных крестьян, — именно стыдом она его наказала, причем наказание было тем более тяжким, что к стыду общечеловеческому тут прибавился еще и жгучий социальный стыд.

Ну, а в собственной ее жизни разве не было случаев, когда она должна была бы самой себе сказать: да будет мне стыдно? Как бы ни объяснять ее поведение изменившимися обстоятельствами, все равно несчастное Брауншвейгское семейство она обманула, не сдержав слова облегчить их тюремный режим (не могла не понимать, что самое содержание их в тюрьме незаконно и для нее, автора Наказа, является чистым позором). Но мы знаем, что все проблемы, связанные с властью, тут обсуждению не подлежат, они как бы вынесены за скобки; да нам и понятен ход ее мыслей: если она лишится власти, гибнет все сделанное; а вернее всего — и самая ее жизнь. Но все это — экстремальные ситуации, почти приравненные к войне, когда отменены христианские заповеди и царят законы насилия.

Но в своей повседневной жизни, и государственной и личной, она, сколько можно судить, была правдива. «Самая большая скрытность ее состояла в том, — пишет де Линь, — что она не все то говорила, что знала, но никогда обманчивое или обидное слово не выходило с ее уст. Она была так правдива, что не могла других обманывать», только самообманывалась.

Ну, тут есть что возразить: она лгала не только в ходе дипломатических игр, которые по уровню морали приближаются к военным действиям. Она бесстыдно врал Вольтеру, в ее письмах счастливые русские крестьяне поют и пляшут, у каждого в супе курица, «а в некоторых местах предпочитают индеек». Но вместе с тем Вольтер был так пленен Екатериной и ее деятельностью, так уверен в

процветании России, что грех было бы не соврать ему про индеек. Все это было несерьезно.

Но в личных отношениях – свидетельством тому ее исповедь Потемкину – она обнаруживает искренность самой высокой пробы.

Принц де Линь говорит, что Екатериной всегда руководил разум, что все у нее было выверено, она никогда не пускалась наудачу, как Петр Великий. Профессиональный военный, де Линь не может не вспомнить позор азовского похода: «Она была, без сомнения, выше Петра I и никогда бы не сделала известной его капитуляции при Пруте».

Де Линь говорит о ее правдивости, душевной твердости и редком мужестве.

Да, она сильно боялась Французской революции. И все же, когда после казни Людовика XVI, рассказывает Грибовский, в Европе пошли слухи, будто деятели революции рассылают «подобных себе злодеев для покушения на жизнь государей», и дежурный генерал-адъютант П. Б. Пассек думал при каждом входе удвоить караул, «императрица, узнав о сем, приказала немедленно это отменить», – надо думать, подобные знаки боязни унижали ее достоинство.

Когда явился Пугачев и начались его победы, она заявила на Совете, что сама возглавит войско, которому предстоит двинуться навстречу самозванцу, – то было ее первое движение. Ее отговорили – российская земля тлеет подземным огнем, невозможно было предсказать, где именно пламя вырвется наружу.

Она отказалась от своих воинственных намерений, но неохотно и с сожалением. Надо думать, ее привело в бешенство поведение местных властей, их трусость, их беспомощность. И бездарность генералов. Впрочем, у нее было достаточно генералов мужественных и опытных. Она послала Бибикова.

Замечательно ее письмо фельдмаршалу П. А. Румянцеву, когда он, привыкший к победам, потерпел досадное поражение. «Граф Петр Александрович! В удачных предприятиях я вас поздравляла; ныне, в неудачном случае, я вам также скажу свое мнение. Я о том хотя весьма сожалею, но что же делать: где вода была, вода быть может. Бог много милует нас, но иногда и наказует, дабы мы не возгордились. Но как мы в счастье не были горды, так и неудачу снесем с бодрым духом. Сие же

несчастье, я надежна, что вы не оставите поправить, где случай будет». Она терпеть не могла распекать и поучать. Но, успокаивая Румянцева, она вместе с тем и промолчать никак не могла: слишком серьезна была проблема. «Более всего мне прискорбна великая потеря храбрых людей: еще ни одна баталия во всю войну так много людей не стоила» – так (осторожно, чтобы не ранить генерала, который и сам был в отчаянии) она говорит ему о главной беде.

Ей нужно было, чтобы люди вокруг нее были внутренне спокойны и чувствовали, что живут в разумном уравновешенном мире.

Да, она была проста с людьми. Именно сочетание этой простоты «с великими ее делами», пишет де Линь, и было в ней так очаровательно. Особенность разговора с ней заключалась в том, продолжает он, что разговор как бы разгорался и очарование ее словно бы возрастало. Тут не было никакого расчета, все происходило просто и естественно, само собой.

Во время заседаний Большого собрания Уложенной Комиссии она часто и подолгу разговаривала с депутатами и однажды совершенно очаровала своей беседой старичка депутата. На следующий день предстоял торжественный прием, и Екатерина, как бы предупреждая, сказала ему, что завтра она будет уже совсем другой. А старичок, вовсе разнежившись, стал протестовать: теперь-то уж он знает, насколько она приветлива и проста. Назавтра депутаты представлялись государыне, она сидела на троне, они попарно шли мимо нее, шел с ними и наш старичок – шел задумавшись, опустив голову и ни на кого не глядя, только, проходя мимо трона, взглянул вверх – увидел там царицу холодную, величественную, недостижимую – и упал в обморок.

Екатерина всегда помнила, что она царица великой страны, и потому заботилась о блеске своего двора, роскоши дворцовых покоев, точном исполнении церемониальных обрядов, строгой учтивости придворного этикета. Сравнивая двор Екатерины с Версалем, самым блестящим, роскошным и утонченным из европейских дворов, знаменитым законодателем моды, принц де Линь все-таки отдает предпочтение екатерининскому, «потому что в нем ничего не было театрального и преувеличенного». Людовик XIV был в упоении от своей славы, продолжает де Линь, а Екатерина свою «искала и умножала», но никогда не теряла головы, хотя легко могла бы потерять

и от «мглистого фимиама», и всеобщего поклонения, и от сознания своего могущества.

Блеску екатерининского двора способствовал и ее личный очень высокий вкус – необыкновенный расцвет в то время русской архитектуры, скульптуры, живописи и прикладного искусства.

Хотя в юности Екатерина и училась играть на клавесине, музыку не воспринимала совершенно, по ее словам, та была для нее все равно что простой шум (и это в век Моцарта и Гайдна!). Зато изобразительное искусство любила едва ли не маниакально и хорошо понимала: она развила свой вкус в процессе собирания, ибо была страстным коллекционером. Собирала она фарфор, скульптуру, гравюры, резной камень, но главным, конечно, была живопись. Начало ее знаменитого собрания живописных полотен было положено в 1763 году – она купила тогда трех Рембрандтов! Потом приобрела собрание принца де Линя, покупки следовали одна за другой. За границей работали ее агенты; ей присылали каталоги, она могла выбирать и заказывать.

В ее коллекции собирались полотна величайших западноевропейских художников – и Джорджоне, и Тинторетто, и Тициан, и 36 Рембрандтов – а мы, бродя по залам Эрмитажа, даже и не вспоминаем царицу, которая с таким жаром все это для нас собирала. Именно для нас – она хотела, чтоб потомки знали: она наживала, а не проживала. Увидев рисунки с Рафаэлевых лоджий, Екатерина пришла в такой восторг, что не могла успокоиться (спасите меня, писала она своему заграничному агенту, я умираю от желания иметь их у себя), пока ей не сделали копий в натуральную величину; а когда они прибыли в Петербург, писала, что не может на них наглядеться, «и Бог знает, что приходит в голову, когда на них глядишь». Эрмитажем своим очень гордилась – «там есть что посмотреть, – говорила она, – уходить не хочется» (и опять думаешь: она наживала, а советские правители проматывали – сколько из собранного ею за бесценок ушло за границу!).

Она собирала также древнерусские рукописи, драгоценный материал по истории страны, и охотно разрешала ученым и издателям работать в своем архиве.

По-русски она говорила хорошо, а писала плохо – и этого стеснялась. Отдавая своему статс-секретарю Грибовскому какую-то

написанную ею бумагу, она сказала: «Ты не смейся над моей русской орфографией; я тебе скажу, почему я не успела ее хорошенько узнать. По приезде моем сюда я с большим прилежанием начала учиться русскому языку. Тетка Елизавета Петровна, узнав об этом, сказала моей гофмейстерине: «Полно ее учить, она и без того умна». Таким образом, могла я учиться русскому языку только из книг без учителя, и это самое причину, что я плохо знаю правописание».

Может быть, ничто так не характеризует человека и общество, как их способ шутить. В этом отношении замечательна ее переписка с Вольтером: прикованный к постели философ, очень старый («я старше того города, где вы царствуете»), всей душой погружен в российские дела. Он восхищен прививкой оспы – «какой пример нашей Сорбонне и медицине!» – и называет Орлова Сципионом. Радует, что Екатерина богата и может покупать дорогие картины – у французского двора нет на это денег. Старый философ весь погружен в ход турецкой войны; его душа, пишет он, летит к Дарданеллам, к Дунаю, к Черному морю (и душа д'Аламбера летит в том же направлении): «Брайлов и Бендеры лишают меня сна – мне снится, будто гарнизон взят в плен; и я тотчас просыпаюсь». Он с азартом следит за продвижением войск и страшно боится, как бы Екатерина не заключила мира. «У меня нет другого удовольствия, кроме ваших побед».

Он вместе с ней (и может быть, даже больше, чем она) мечтает о Константинополе – «верно я умру с печали, если не увижу вас на константинопольском троне»; впрочем, он не собирается умирать, напротив, намерен, лишь только Екатерина возьмет столицу Османской империи, сам немедленно туда отправиться. А Екатерина говорит о своих загробных намерениях: она явится на тот свет с готовой программой, как там «проводить жизнь в свое удовольствие»; они с Вольтером будут там беседовать, «Генрих IV и Сюлли тоже будут с нами», а султана Мустафы там не будет.

А относительно войны говорит, что за два года уже к ней привыкла, и острит: «Главный недостаток ее в том, что в ней не любят ближнего, как самого себя».

Глава восьмая

В одном из залов Русского музея (Петербург), посвященных XVIII веку, висят портреты, для этого века неожиданные, – обычно они предстают пусть живыми, но все же скованными, часто безрукими, «манекенными», – и вдруг перед нами выступает во весь рост и в самых разнообразных и живых поворотах само воплощение жизни и юности. О них написано много, об этих «очаровательных дурнушках» Левицкого, смолянках (или «монастырках», как тогда называли). Большинство из них почему-то танцует, одна играет на арфе, другая сидит подле электрической машины – что все это значит? Кто они такие? И при чем тут электрическая машина?

* * *

Полагают, будто русская педагогическая мысль второй половины XVIII века, впитав в себя дидактику Монтеня, Фенелона, Локка, Руссо, французских энциклопедистов, не внесла в эту область ничего нового, ничего от себя; созданная ею система на первый взгляд действительно во многом являет собою чистую компиляцию. Воспитание и обучение должны основываться на сознательном усвоении того, что преподают, – об этом говорил еще Монтень, протестовавший против воспитания, плодящего попугаев. Главная задача педагогики – не обучение, а воспитание, формирование воли, характера, крепких нравственных основ – об этом говорил Локк, он же восстал против жестокости педагогики, насилия над личностью ребенка, в частности, против телесных наказаний. Это Руссо развил мысль, согласно которой ребенок рождается нравственно чистым, с непорочным сердцем, порок привнесен в его душу влиянием извне. Казалось бы, все взято с Запада, все заемно.

На самом деле русская педагогика времен Екатерины обладала неповторимыми чертами: руководители ее были не только талантливы, деятельны и упорны – ими владела великая идея.

В Наказе Екатерина, провозглашая основы нового законодательства, не исключала, что они могут оказаться недоступными сознанию общества, и делала отсюда вывод, для нее непреложный: если общество не готово, нужно его «приуготовить». А что это значит – подготовить? Несколько подучить? Повысить уровень образования и воспитанности? Ясно же, что такая глыба невежества обучению не поддается, что ее не обработать никаким воспитанием.

Остается одно: создать новую породу людей. Чистая утопия? Безумие и бред? Пожалуй, да.

Сейчас мы будем присутствовать при необыкновенном социальном и педагогическом эксперименте. Чтобы его провести, Екатерине нужен был не только единомышленник, но и крупный, очень образованный педагог.

Иван Бецкой хорошо знал европейскую культуру, он родился за границей: его отец Иван Трубецкой после взятия Нарвы шведами в 1700 году попал к ним в плен, там, в Швеции, и появился сын, рожденный от некой знатной шведской дамы; как незаконнорожденный, – по обычаю того времени – он получил часть («хвост») отцовской фамилии. Отец дал ему блестящее образование и возможность много путешествовать – а путешествия в те времена были частью образования и рассматривались в этом смысле как предприятие особой важности. Главной их целью было научиться уму-разуму – вникнуть в чужую жизнь с ее обычаями и законами, посмотреть, каковы в чужих краях ремесла, промышленность, художества, узнать, о чем там говорят и что думают. Ехали медленно, было время, чтобы вникнуть. Путешествие воспринималось не иначе как дело (недаром путешественник зачастую вел дневник).

Во Франции Бецкой оказался в пору ее общественного подъема и духовного расцвета. Молодой Бецкой попал именно в это кипение общественной мысли. Он был близко знаком с мадам Жоффрен и посещал ее знаменитый салон, где собирались энциклопедисты (Гольбах, д'Аламбер и многие другие), литераторы, общественные деятели. Живое общение с передовыми людьми Франции, живое обсуждение работ Вольтера, Руссо, Дидро – как новинок, как сегодняшнее событие – все это произвело огромное впечатление на молодого русского вельможу. Очевидно, уже тогда он избрал круг интересов, который предопределил его будущее.

Вернувшись в Россию при Петре III, Бецкой после переворота 1762 года оказался в стане Екатерины не только единомышленником, но, как мы сейчас увидим, ее постоянным сотрудником.

И тут началась их общая работа.

Особенность наших утопистов заключалась в том, что они решили осуществить на практике, двинуть в жизнь учение, которое, разумеется, утопическим не считали. Глубоко восприняв идею Руссо – если ребенка полностью изолировать от порочной социальной среды, из него можно вырастить человека идеального, совершенного во всех его помыслах и поступках, – они решили эту славную идею осуществить. Правда, Руссо скептически добавлял: чтоб изолировать ребенка, его нужно поместить на луну или на необитаемый остров, – а наши энтузиасты считали, что у них отлично получится в Москве и Петербурге. И то сказать, авторы были нетривиальные: одна сидела на престоле Российской империи, другой был в числе ее первых сановников.

Педагогическая система была создана совместной работой Екатерины и Бецкого – кому в каждом данном вопросе принадлежит авторство, расследовать не станем; оба автора работали вместе и оба были на высоте поставленной задачи.

Чтобы понять все значение их педагогической системы, ее живую новизну, нужно представить себе, в каком состоянии пребывала педагогика в России XVIII века – почти полное отсутствие школ, дремучие учителя (сами французы говорили о них, что это «грязная пена Франции», выплеснувшаяся за границу). Педагогика тех времен основывалась на глубокой уверенности (разделяемой всем обществом), что без насилия, без наказания обучить невозможно, педагогическая теория представляла собой настоящий «гимн розге», которая «ум острит» («целуй же розгу», – говорилось в одном учебнике середины XVIII века). А педагогическая практика была и того ужасней. Дети из дворянских семейств были целиком во власти гувернеров, зачастую каких-нибудь дремучих вральманов, лакеев или кучеров, выгнанных за непригодность. Гувернеры нередко отличались необузданной жестокостью в наказаниях (об этом часто рассказывают мемуаристы), и сердобольные матушки глотали слезы, но возражать не смели, слыша крики истязаемых детей; они полагали – кстати, вместе

со всей своей эпохой, – что чем жестче наставник, тем он добросовестней.

Душу ребенка держали в мучительном страхе истязания.

Екатерина и Бецкой, ее сотрудник, хорошо понимали трудность предприятия, к которому приступали, сознавали, какие бастионы предстоит им штурмовать, но были полны надежд. Никак нельзя пожаловаться на способности русских, говорит Екатерина, это доказали уже те дворяне, что были посланы Петром за границу и «с хорошими возвратились успехами», а также те простолюдины, которые были «взяты к наукам» и «также весьма скоро успевали в оных», но, вернувшись в Россию, «скорее еще в прежнее невежество и самое небытие возвратились»: человек невежественный, не озаренный лучами Просвещения, для него как бы духовно мертв; если тем, кого послали учиться, и удалось на какое-то время подняться над своей средой, то по возвращении эта среда снова их поглотила.

Реформаторы полагали, «что один только украшенный и просвещенный науками разум не делает еще доброго и прямого гражданина». Если «кто от самых нежных юности своих лет воспитан не в добродетели, и твердо оные в сердце его не воскоренены» – иначе говоря, без твердых нравственных основ не может быть успехов и в науках и в художествах. «По сему ясно, что корень всему злу и добру *воспитание*» (любопытно непрерывное употребление курсива, с помощью которого авторы стремятся не только привлечь внимание читателя, но и как бы впечатать свои мысли глубоко в его сознание. – О. Ч.), а значит, «единое токмо *средство* остается, то есть произвести сперва способом *воспитания*, так сказать, *новую породу* или *новых отцов и матерей*, которые бы детям своим те же прямые и основательные воспитания правила в сердце вселить могли, какие получили они сами, и от них дети передали б паки своим детям; и так следуя из родов в роды, в будущие веки».

Вот она, главная мысль Екатерины и Бецкого, стержень их просветительской программы – создание новой высоконравственной «породы людей», от которых пойдет цепь новых прекрасных поколений. Немалая смелость нужна была для подобных намерений.

Есть у педагогики Екатерины – Бецкого удивительная особенность: несмотря на то что изложена она в официальных

документах – «ясно, внятно и точно» (непременное требование Екатерины), – ее пронизывает какая-то особенная сердечность.

Ребенок – это драгоценность, которую отечество вручает педагогу. Это хрупкий дар, в обращении с ним требуется величайшая бережность. Все, связанное с ребенком, «так нежно и с такими сопряжено следствиями, что едва можно ли, так сказать, употребить в том точную и довольную осторожность». В каждом слове реформаторов видно горячее желание защитить детей от грубости мира и особенно от тогдашних зверских методов воспитания и обучения.

А главная цель образования – пробудить в воспитаннике живую мысль. Следует не столько учить детей, писала Екатерина в своей «Инструкции кн. Салтыкову при назначении его к воспитанию великих князей», «колько им нужно дать охоту, желание и любовь к знанию, дабы сами искали умножить его»; нужно приохотить детей к чтению (и чтоб создавали собственные библиотеки); тем самым решительно перечеркивался господствующий в тот век метод вытверживания наизусть, мертвенной зубрежки.

Осторожность должна соблюдаться в самом процессе обучения, особенно когда речь идет о маленьких, которых «по нежности их телосложения, так и по незрелому еще уму не должно отягощать многими и трудными понятиями, а тем менее принуждать с жестокостью, чтобы при самом начале учение не показалось им горестью и тем не сделало бы отвращения, того ради стараться приохочивать детей к учению пристойной кротостью, ласкою и обнадеживанием». «Обнадеживание» – внушение детям веры в их силы.

А сам педагог должен быть бодр и весел, свои собственные заботы и огорчения должен оставить на пороге класса и являться перед детьми с приветливой улыбкой, что способствует их хорошему настроению. Отсюда необходимость разного рода непринужденных игр и развлечений. Не нужно бояться детской резвости: «Часто излишнее благоразумие предосторожности внушают робость, видя беду там, где ее нет, и через то лишают дух бодрости. Предводительствовать их в играх также не надлежит, ибо по приказанию веселиться невозможно, тем более детям, которым всякое принуждение несносно».

В новом человеке важно воспитать чувство собственного достоинства – он должен не только сам быть учтив, но и с ним должны быть учтивы (педагогам предлагается «затвердить это в памяти»). Он должен расти в атмосфере уважения, чтобы можно было «вскоренить» в его душу не только «благоденствие, учтивость, человеколюбие», но и «любление чести».

Надо ли говорить, что в учебных заведениях, созданных реформаторами, телесные наказания были категорически запрещены – тут Екатерина и Бецкой обогнали зарубежных педагогов, которые, выступая против телесных наказаний, все-таки не решались требовать их полного запрещения.

* * *

Один из московских переулков недалеко от Покровки, подъезд старого особняка, к нему подходит странная женщина – у нее закрыто лицо; она стучит, ее молча впускают. Она пробудет здесь неделю до родов и две недели после, уйдет, оставив ребенка, так ни разу и не открыв лица. Ее ребенка окрестит священник, будут вскармливать няни. Она же его вряд ли когда-нибудь увидит.

Рядом с подъездом в стене низкое окно, сюда тоже время от времени подходят какие-то люди, и тогда окно открывается, из него выдвигается плетеная корзина, пришедший кладет в нее ребенка. У него ничего не спрашивают (это запрещено), только одно: крещен ли и как зовут; он получает два рубля (сумма для бедняка весьма значительная) и уходит.

(А бывает, что с заднего двора выезжает телега, в ней маленький гробик, иногда их несколько, она направляется к приходской церкви, а оттуда на ближайшее кладбище.)

Все это первые шаги Московского воспитательного дома, которому предстояло стать питомником, готовящим рассаду для новой породы людей. Помещения, снятые для него, были не приспособлены для жизни детей; их были уже сотни, несчастных, никому не нужных, доверенных новому учреждению, а сотрудники его во главе с Бецким не могли обеспечить им даже жизни. Это было ужасом тех, кто работал в доме. От коровьего молока дети погибали, кормилиц не хватало.

Бецкой (а именно он был главным попечителем) решился на крайнюю меру – раздавать детей по деревням, чтобы там их выкармливали, но тут же обнаружилась и опасность – помещики старались записать их себе в крепостные. А самым страшным были эпидемии, пожаловала сюда и оспа – в 1767 году она унесла едва ли не всех питомцев.

Со временем – особенно после того, как императрица, привив себе оспу, тут же распорядилась прививать ее всем детям дома, – смертность начала снижаться и в конце концов стала значительно меньше, чем по стране (детская смертность в те времена была очень велика).

А создание Московского воспитательного дома «с особливим госпиталем для неимущих родильниц» началось с плана, подробно разработанного Бецким (по существу, это трактат по педагогике); Екатерина не только утвердила этот план, но и сопровождала его особым манифестом (все это включено в Полное собрание законов Российской империи, то есть получило силу закона), призвала общество участвовать в создании этого дома. Он должен быть построен и существовать «общим подаянием, то есть на добровольные пожертвования», – заявляет царица и выражает надежду, что «прямые дети Отечества», следуя примеру ее и наследника Павла, «каждый по возможности своей потщится снабдевать боголюбивым подаянием, как на строение сего дома, так и на содержание сего добродетельного дела, дабы и самые уже ближние наши потомки, к славе нашего века, могли пользоваться из того действительными благами».

Дом должен был состоять «под особливим монаршим покровительством и призрением». Покровительство было очень энергичным.

Для задуманного эксперимента нужно место. Бецкой просит большой участок земли – и тотчас его получает. Это владение, называемое Гранатный двор с Васильевским садом подле Москвы-реки, «со всею лежащею казенною землею и строением, купно с отданною от Адмиралтейства мельницею, что на Яузе, и старую городскую стену употребить в строение», а также «потребное число караулу, сколько понадобится в строение» от военной команды.

Призыв Екатерины к обществу, к каждому гражданину – принять участие в создании дома – был услышан. Горячее обращение Бецкого к читателям и особенно к «любезной читательнице», которую он

призывал представить себе горькую беспомощность нищей «родильницы» и судьбу ее ребенка, осужденного на гибель, – и это было услышано.

Расчет Екатерины оказался верен: предприятие, ею столь бурно рекламированное, вызвало острый интерес. Вельможам было лестно стать членами опекунского совета или попечителями. Дворяне и купцы дарили дому деньги, везли продукты и вещи. В конце концов в Воспитательный дом стали делать вклады (в дар или по завещанию), примерно так же, как некогда делали монастырям, – тоже ради своего рода спасения души (к тому же еще и предписывалось дарителя, «яко благодетеля, в церквах сего дома в жизнь и по кончине в молитвах поминать»), тем более успокоительно, что верховная власть не только благоволила к дарителям, но и предоставляла им значительные и разнообразные привилегии.

На плечи Бецкого и его сотрудников легла гигантская нагрузка – нужно было как-то обустраивать жизнь детей (а их все несли и несли) в случайных, неприспособленных помещениях, искать кормилиц, следить за судьбой тех, кого пришлось раздать по деревням, и одновременно руководить огромным строительством, развернувшимся на берегу Москвы-реки, в центре столицы, рядом с Кремлем.

Росло число воспитанников, но вместе с тем росло и благосостояние дома. Налаживалось его хозяйство. Был взят в аренду луг, чтобы завести скот, – и Екатерина тотчас этот луг дому подарила, а губернатор Архангельска прислал тридцать холмогорских коров. Росли земельные угодья, на них строили лавки, лабазы (и даже трактиры!), доход от которых шел дому. Он получил право продавать подаренные ему деревни, ему позволялось заводить мануфактуры и фабрики. А впоследствии дом получил право иметь собственную ссудную казну, то есть стал не только крупным землевладельцем и обладателем фабрик, но и крупным банкиром. Ему к тому же было дано право экстерриториальности, полицмейстер не мог без разрешения начальства дома ступить на его территорию.

Екатерине пришло в голову «заставить порок служить добродетели»: было приказано отдавать дому сборы с игорных и прочих увеселительных учреждений, более того, в его пользу шли поборы с каждой игральной колоды: на таможеню, куда прибывали карты из-за границы, или на фабрику, где они изготовлялись, являлся

государственный чиновник и ставил штамп (предложим, на даму треф и туза червей), без этого картами нельзя было пользоваться. Словом, дом оставался любимцем верховной власти. Наконец на берегу Москвы-реки воздвигся колоссальный архитектурный ансамбль: корпус для воспитанников, административные здания, церковь, разного рода службы (его и сейчас можно видеть на берегу Москвы-реки и легко узнать по воротам; выходящим на Солянку, над ними возвышаются скульптурные группы, изображающие женщин и детей).

Московский воспитательный дом был закрытым заведением – в полном согласии с педагогической доктриной Руссо. Кстати, в нашей исторической науке Бецкому ставится в вину, что он будто бы закрывал учебные заведения специально для того, чтобы дети не могли общаться с народом. Действительно, говоря о вредоносных контактах детей с внешним миром, Бецкой упоминает и о дурном влиянии на ребенка со стороны крепостных; но надобно знать, как он об этом говорит! «Тот самый крепостной, – обращается он к некоему обобщенному дворянину, – которого ты столь презираешь и всеми силами делаешь свирепым зверем, первый будет наставником твоему сыну», – за пороки крепостничества Бецкой делает ответственными дворян, а не самих крепостных и считает равно необходимым изъять ребенка из сферы влияния и тех и других.

В соответствии с этим питомцы должны были жить в доме «безвыходно» до 18–20 лет и во все время своего здесь пребывания «не иметь ни малейшего с другими сообщения, так что и самые ближние сродники, хотя и могут их видеть в назначенные дни, но не иначе, как в самом училище, и то в присутствии их начальников» – воспитанник должен «непрестанно взирать на подаваемые ему примеры и образцы добродетели», условие, которое, естественно, ставило вопрос о том, каковы учителя. А в этом были «вся важность и затруднение». «Особливо же надлежит им быть терпеливыми, рассматрительными (замечательное слово. – О. Ч.), твердыми «и правосудными»; одним словом, таковыми, чтобы воспитывающееся юношество любило их и почитало и во всем добрый пример от них получало». Недостаток таких учителей грозил погубить все предприятие, выход виделся в том, чтобы для начала приглашать зарубежных педагогов, с помощью которых можно было бы уже

создавать русские кадры из числа собственных питомцев. Как бы то ни было, проблема учителя оставалась самой болезненной.

Тем важнее было утвердить основы педагогики и программу преподавания. Уже с пяти лет дети должны были приучаться к легким работам (чтоб не быть праздными); с семи лет начиналось уже школьное обучение (по часу в день), письмо, чтение и цифирь. В 14–15 лет дети начинают учиться мастерству, и тут важен принцип выбора профессии.

«Просвещая притом их разум науками и художествами, по природе, по полу и склонностям каждого, обучаемы быть должны с примечанием таким, что прежде, нежели отрока обучать какому художеству, ремеслу или науке, надлежит рассмотреть его склонности и охоту и выбор оных оставить ему самому. Душевные его склонности всемерно должны в том над всеми прочими уважениями преимуществовать; ибо давно сказано, что не преуспеет он ни в чем том, чему будет прилежать по неволе, а не по своему желанию». Вообще в доме должен царить дух вольности (в границах добродетели, разумеется). «Что до наказаний, – пишет Бецкой в «Генеральном плане», – то я совсем не согласуюсь с мыслями тех, которые жестокость наказания почитают за наилучший способ к поправлению»; напротив, наказание ожесточает и озлобляет. Даже по отношению к служителям «телесные наказания крайне запрещаются и над самыми нижними служителями, дабы юношество не преобучить к суровости». Самих же детей надо наказывать выговорами, которые обязательно следует делать наедине, или, например, «непущением гулять» и т. д.

Но в высочайше утвержденном докладе Бецкого 1764 года о телесных наказаниях сказаны слова, которые (это видно по тексту) должны были как бы навек впечататься в сознание учителей и «приставников». «Едины ввести в сей дом *неподвижный закон* и строго утвердить *никогда и ни за что не бить детей*, ибо не удары в ужас приводят, но страх умножается в них от редкости наказания, что есть самое действенное средство... да и по физике доказано, что бить детей, грозить им и бранить, хотя и причины к тому бывают, есть *существенное зло*... Они становятся мстительны, притворны, обманщики, угрюмы, нечувствительны». Дети должны жить в атмосфере уважения и деликатности. Начальникам дома строго

предписывается никогда «не оказывать грубости, злобы паче при детях».

И вот фраза, которую хочется выделить: «Хотя некоторые из воспитанников и родились в рабстве, но надо поступать с ними приятно, ласково, с учтивостью, чтобы такое обхождение поверженный их дух возвышало».

Детям нужно жить в атмосфере легкой и веселой, наставники обязаны «всякими невинными забавами и играми оное юношество увеселять, и чрез то мысли его приводить в ободрение; а напротив того искоренять все то, что токмо скукою, задумчивостью и прискорбием назвать можно; и сего правила из памяти не выпускать».

И еще: нужно сделать все, чтобы не упустить дарования; не может быть, чтобы среди детей не было бы особо одаренных, таких, кто имеет «проницательный разум, отменное понятие, способность к искусствам».

Атмосфера высокой культуры – вот к чему стремились создатели дома. Вместе с ним была заложена библиотека, где заботами Бецкого стояла полная французская «Энциклопедия», включая 11 томов гравированных иллюстраций; благодаря многочисленным дарениям эта библиотека пополнялась книгами по философии, разного рода наукам, особенно по живописи и другим видам художеств. Одновременно был создан музей, куда многие вельможи приносили в дар свои коллекции – кто древние монеты, кто чучела редких зверей и птиц, кто (в частности, сама Екатерина) разного рода исторические ценности (кресло царя Алексея Михайловича, например, или вещи, принадлежащие Петру I). Возникла картинная галерея, главный зал был украшен портретами опекунов и попечителей кисти Рокотова и Левицкого.

Если обучение в доме было весьма скромным, то художественное образование стояло на большой высоте. Из числа воспитанников были созданы театр, оркестр (струнные, флейта, гобой, клавесин); детей обучали танцам; вокальное искусство преподавали итальянские мастера. Особое внимание отдавалось художественному образованию, наиболее одаренным воспитанникам давали уроки профессиональные художники. Мальчиков, способных к наукам, предписывалось готовить в университет, способных к рисованию и живописи – в Академию художеств.

Московский воспитательный дом стал своего рода центром культурной жизни. Музей дома через газеты приглашал публику осматривать собранные в нем достопримечательности; дважды в год устраивался день открытых дверей – происходило общение воспитанников с жителями столицы, а сюда приходили люди всех сословий.

Дом стал энергичным пропагандистом оспопрививания. Бецкой выпустил специальную брошюру (тираж был передан дому, который должен был распространять ее в публике), где подробно описывалось, что такое прививка, как она проходит, какие рекомендуются режим и диета. В 1789 году в газетах было объявлено, что желающие могут приходить в дом, смотреть, как прививают оспу питомцам, а впоследствии тут стали делать прививки и детям со стороны.

И тут мы подходим к особо важному пункту педагогической реформы Екатерины – Бецкого: воспитанники дома, независимо от того, из какого сословия они происходят, были людьми свободными. Такими они должны были оставаться по выходе из дома и на всю жизнь; никто и ни при каких обстоятельствах не смел их крепостить и закабалить.

Бецкой понимал, что практически осуществить это будет не так-то просто, что надо подумать, «какова будет их жизнь» (как видите, эта утопия не только внедряется в практику, но соразмеряется с практикой). Казалось бы, рассуждает Бецкой, все эти мужчины и женщины, выпускники дома, искусные мастера, легко себя прокормят, без труда найдут применение своим силам в среде купцов и фабрикантов, но люди редко живут по разуму, «а особливо купцы и фабриканты (брадоносцы, ложною честью и мнимым правоведением ослепленные)», они, по-видимому, отвергнут эти «новые растения» – трудно одолеть застаревшую ненависть, «упрямство и зависть», плоды дурного воспитания. Можно опасаться и того, что питомцы дома, «новые сии жители», переймут старые нравы, заразятся социальными болезнями. И тут есть выход: заводить при доме собственные фабрики (так сказать, «экологически чистые»), на которых выпускники могли бы трудиться, зарабатывая деньги, чтобы открыть собственное предприятие.

И вот что любопытно: в качестве материала для социального эксперимента наши реформаторы избрали не знатных отпрысков, не детей зажиточных семейств, словом, не тех, за кем стоит могущество дворянского родового союза или просто крепкая семья, но бедных дворянских сирот и вовсе безродных подкидышей; или нищих, которых родители не в силах прокормить, – вот кто должен был стать «людьми новой породы». Их, беззащитных, беспомощных, легче было оградить от влияния окружающей среды. Тут, кстати, возникал некий социальный парадокс: дети дворян, включая и аристократию, как правило, находились в руках невежественных и часто жестоких гувернеров, а несчастные найденыши, безродные, то есть существа, стоящие на самой низшей ступени социальной лестницы, по предписанию имперской власти должны были жить в атмосфере уважения и учтивости.

Если Воспитательный дом был задуман как питомник растений, откуда саженцы пойдут по всей стране, тем более необходимо было обдумать, как все это осуществится практически: ведь в мрачный мир крепостнических отношений выходили люди, которые, с одной стороны, были свободны, а с другой – лишены каких бы то ни было социальных связей, защиты, в этом мире столь необходимой. Но и тут все заранее было продумано. Когда питомцы дома, в которых «с изящным разумом изящнейшее еще соединится сердце» (вот какими они будут, эти «новые отцы и матери»), выйдут в жизнь и утвердятся в ней, они не утратят связи с домом. Попечители, а они пребывают в самых разных концах страны, обязаны оказывать им покровительство и помощь. Старшие выпускники, в свою очередь, станут опорой для младших, тоже дадут им «прибежище и покровительство». Таким образом, по мысли учредителей дома, питомцам его предстояло создать в обществе некую сеть «людей новой породы», тесно связанных между собой единомыслием и взаимопомощью.

Так вырос и занял весьма видное место в московском обществе Воспитательный дом, рожденный союзом высшей власти, широкого круга дворян, знати, богатого купечества, объединившихся в период общественного подъема 60-х годов. Скоро появился и его филиал в Петербурге, затем ставший самостоятельным; подобные дома стали основывать и крупные администраторы (конечно же, Сиверс в

Новгороде), их примеру последовали богатые дворяне, купцы и даже разбогатевшие крестьяне провинции.

Надо ли говорить, что предметом особого внимания Екатерины станет проблема женского образования.

Она уже вышла из терема – была выпущена на свободу Петром I, – однако свобода передвижений, общений и впечатлений еще не значила, что женщина действительно вышла в жизнь, с ее многообразием интересов, общественных связей и деятельности. К тому же старый уклад отнюдь не сдался, он жил не только в глубинах социальных пластов, но даже и в непосредственном окружении Петра. У нас есть редкая возможность заглянуть в терем той поры, когда он, открывшись, стал доступен обозрению.

При слове «терем» нашему воображению представляется нечто нарядное, узорчатое (Васнецов, Билибин, весь сказочный мир, воспроизведенный русскими художниками второй половины XIX века) – прелестное жилище скромных красавиц, очаровательных затворниц, что, сидя взаперти, вышивают шелками.

Старый Измайловский дворец, в нем живет царица Прасковья (жена Ивана – брата и одно время соправителя Петра), женщина, целиком приверженная старине, но из страха перед своим свояком являвшаяся на ассамблеи в платье с глубоким вырезом и в пудренном парике. Живет она с дочерьми (одна из них, Анна, станет российской императрицей); молодой камер-юнкер Бергхольц легко сюда проник, проведенный молодой хозяйкой, царевной, и в своих мемуарах это посещение описал.

Он проходил одну за другой неопрятными комнатами, в одной вповалку валялись на постели полуголые фрейлины. «Я еще был удивлен, – пишет Бергхольц, – увидев, что у них по комнатам разгуливает босиком какая-то старая, слепая, грязная, безобразная и глупая женщина, на которой почти ничего не было, кроме рубашки». Ему объяснили: «эту тварь» то и дело заставляют плясать и по приказу она «то спереди, то сзади задирает свои вонючие лохмотья».

Это верхи – так сказать, элита, грубые петровские взбаламученные времена.

В Смольном было не только «благородное» отделение, но и «неблагородное», куда принимали девочек всех сословий, включая даже крепостных (при условии, однако, разрешения от помещика). Обучение недворянок тоже было частью той программы по созданию в России «третьего сословия», которая так заботила Екатерину. Эти девушки должны были учиться «еще искусствам жизни человеческой и гражданству потребным, хранить в цветущем состоянии фабрики, купечество, ремесла, способность к заведению оных (это женщины-то! – *О. Ч.*), управлять все, а наипаче их полу принадлежащие части домостроительства, разуместь подробности оногo...» – иначе говоря, из воспитанниц думали приготовить не только образованных хозяек в доме, но и нечто вроде управляющих в промышленности и торговле (а почему бы, собственно, и нет, если во главе самого государства стоит женщина?).

Но главное заключалось в том, что все эти девушки получили привилегию – ту же, сказано в уставе, какой пользуются воспитанники училища при Академии художеств. А там говорилось: «Наистрожайше запрещаем всем и каждому, какова кто звания ни был, из сих художников, мастеров, детей их и потомков в крепостные себе люди записывать и утверждать каким бы то ни было образом; а хотя бы паче чаяния сие обманом учинится или и сам таковой по уговору и доброй волей у кого-нибудь крепостным записался либо на крепостной девке или вдове женился, то однако оное не только кабальным его не делает, но и вступившая с ним в брак и рожденные от них дети от того часа имеют быть вольными».

Каковы женихи и невесты! В крепостническом обществе появилась категория людей не только вольных, но и несущих свободу.

Если «мещанское» отделение Смольного должно было пополнить «третье сословие» работницами и хозяйками, то отделению «благородных девиц» предстояло дать обществу высокоинтеллигентных женщин, которые несли бы культуру всюду, куда забросит их судьба. Что бы они ни делали: воспитывали своих или чужих детей, становились ли хозяйками дома или уезжали в свое поместье, – всюду должны были они вносить атмосферу духовности.

Екатерина вообще поощряла общественную деятельность женщин, в том числе литературную, именно при ней появились

женщины-поэтессы, женщины-переводчицы и даже драматурги (в ее время вышла в свет написанная некоей девицей комедия под заглавием «Трактир, комедия, или Питейный дом, веселое игрище» – и пьеса эта шла); вспомним также, что главой двух Академий она сделала Дашкову.

В Смольном преподавали общеобразовательные предметы, главным образом гуманитарные, но были и начала математики и «опытная физика»; усиленно изучали иностранные языки; у «мещанок» – один; у дворянок – четыре; кроме того, воспитанниц обучали домоводству, умению вязать чулки и шить платья. Замечательно, что девочки старшего класса должны были вести уроки в младших, чтобы потом, став матерями, могли приложить свои знания и опыт. Трудно судить, каково было общее образование, есть основание думать, что оно шло весьма неважно (не было настоящих учителей), но преподавание языков и художественное воспитание стояли на большой высоте. Под руководством художников-профессионалов девочки лепили и рисовали (до нас дошли некоторые их рисунки, показывающие хорошую выучку), вышивали (по-видимому, тоже хорошо, поскольку на их работы поступали заказы). На музыкальных занятиях (включавших даже некие элементы теории композиции) смолянки готовили сложные музыкальные программы, давали концерты; «две благородные девицы играли на Давидовых гусях, а третья воспомоществовала на английском пиано-форте, – так пишут «Санкт-Петербургские ведомости», – причем вмешались напоследок наиприятнейшие четырех девиц голоса с составленным нарочно для того хором», а потом был балет, который был разыгран смолянками так хорошо, что публика «почти непрерывно изъявляла рукоплесканием свое удовольствие», особенно когда «с невероятною точностью и «удивительной приятностью» танцевала группа, составленная из малышей.

Но главным увлечением Смольного был театр.

Театр играл особую роль в культуре XVIII века. Вольтер говорил, что Корнель и Расин «обучили нацию мыслить, чувствовать и выражать свои мысли и чувства». Но и сам Вольтер мощно воздействовал на умы и сердца своих современников.

Екатерининское общество было охвачено своего рода театральным ажиотажем – кроме профессиональных театров, а также театров крепостных актеров (в домах больших вельмож), существовал еще и «благородный театр», где пьесы разыгрывала знать. Здесь шли и трагедии, и балеты, и комические оперы, и всякого рода пьески, подчас собственного сочинения (кто только не писал пьес и комических опер, начиная с самой Екатерины).

Влияние Вольтера на столичный театр было самое непосредственное. Он прислал в Петербург актера Жана Риваля, игра которого отличалась естественностью и простотой, – Риваль преподавал в кадетском корпусе, руководил многими «благородными спектаклями». По словам князя Ивана Долгорукова, известного нам не только подвигами на административном поприще, но еще и страстной приверженностью театру, князь – именно потому, что проходил свои роли с Ривалем, – играл так, что порою заставлял публику плакать.

Когда в Смольном возник свой театр – сперва спектакли играли в залах самого Смольного, но потом было выстроено специальное здание с двухсветным залом, – Вольтер давал Екатерине советы относительно и театрального искусства, и репертуара. Но в театре Смольного шел и сам Вольтер.

Можно предположить, что именно драматургия Вольтера сильнее всего воздействовала на русское дворянство – не скептико-ироническая проза его «Кандида», но его трагедии, потрясавшие сердца россиян. Отсюда, я думаю, шло подлинное вольтерьянство.

Театральный зал переполнен, дают Вольтерова «Магомета», все уже слышали о знаменитой пьесе и с нетерпением ждут, когда двинется занавес.

В центре трагедии характер поистине замечательный (и кстати, хорошо знакомый XX веку). Магомет – человек стальной воли, объявивший себя пророком и едва ли не обожествленный своими приверженцами, – а на самом деле он лжец, коварный демагог и великий мастер провокации. Он подавил души сограждан, требует от них слепой веры в собственную непогрешимость.

Герои трагедии – Саид и Пальмира, брат и сестра, – не только преданы Магомету всей душой, они им подавлены. И вдруг Саид получает приказ – убить благородного Сафира, народного вождя, и

дает клятву выполнить приказ; но на душе у него беспокойно, он мучается, он не хочет убивать и, не зная, что делать, обращается за советом к сестре. Зал в тревоге ждет, что скажет брату благородная и добрая Пальмира. Но душа девушки объята ужасом:

Молчи, молчи! Пророк в душе читает,
Он слезы видит, слышит каждый вздох...
Сомнение грех...

«Так что же – убивать?» – спрашивает Саид.

Неужели Пальмира не скажет брату: «Бежим! Все, что угодно, только не убийство!» Но Пальмира отвечает нерешительно:

Когда сам Бог судил тебя за это
И крови требует, и ты уж обещал...

Пальмира одна, вдали слышит она чей-то стон. Является Саид. С чем он пришел?

Даже сейчас – чего только мы не видели и в литературе, и в жизни, и в кино, и в театре! – читаешь это место с волнением, можно себе представить, как в театральном зале тогда, двести лет назад, замерли неискушенные и простодушные зрители.

Пальмира. Все? Скажи мне – все? Все кончено?

Саид (*переспрашивает*). Как ты сказала?

Пальмира. Он погиб? Сафир?

Что ответит ей несчастный юноша?

– Сафир? А кто это? – говорит он.

Трудно найти слова, более потрясающие: Саид безумен, сознание его не выдержало ужаса происшедшего. А народ, перед которым разыгрывает свои кровавые спектакли коварный правитель, долго еще будет жить в полной его власти. Было тут над чем задуматься русскому дворянину.

В Смольном «Магомета» не ставили – девочки такую мощь поднять не могли (да и подобного характера сыграть было некому), зато тут играли другие пьесы Вольтера, в том числе и его «Заиру».

Действие происходит в XVIII веке при дворе сирийского султана Оросмана. Он любит пленную француженку Заиру и ею страстно любим, но тут снова вмешивается фанатизм, на этот раз – религиозный (причем христианский оказывается еще хуже магометанского), ясное и чистое чувство героев сбито с толку, погублено, растерзано. Спектакль был событием в культурной жизни Петербурга, и воспитанница Левшина – мы видим ее среди моделей Левицкого – в роли Заиры потрясла зрительный зал.

Воспитание в Смольном, как и в других педагогических учреждениях Екатерины, было религиозным – Закон Божий, посещение церкви, исполнение обрядов. Какова тут была позиция самой Екатерины? Это трудно определить. Она свято чтит церковные обряды, саму церковную службу; Порошин видел, как она плакала, слушая обедню в сельской церкви, – легко можно было бы заподозрить тут спектакль, разыгранный для присутствующих, но вот свидетельство другого мемуариста, очень приметливого, да к тому же еще не только иронического, как многие другие, но и прямо сатирического склада ума; он видел императрицу в Могилеве во время торжественной службы в соборе: «Известно, что государыня императрица рождена и воспитана в законе евангелическом, а греко-российский приняла уже перед бракосочетанием. Но с каким достойным зрением благочестием и нравственною простотою предстала она тогда священному алтарю и при важнейших действиях, заключающих в себе таинство греко-восточной церкви, изображала на себе полный крест и поклонялась столь низко, сколь позволяет сложение человеческого корпуса! Сие приметно было всем тогда, и единоверцам и католикам». Екатерина знала церковную службу, неуважение к церковным правилам вызывало у нее крайнее раздражение. Пушкин записал со слов старой екатерининской фрейлины: «Только два раза видела я Екатерину сердитой, и оба раза на княгиню Дашкову. Екатерина звала Дашкову в Эрмитаж. Кн. Дашкова спросила у придворных, как ходят они туда. Ей отвечали: через алтарь. Дашкова на другой день с десятилетним сыном прямо забралась в алтарь. Остановилась на минуту – поговорить с сыном о святости того места – и прошла с ним в Эрмитаж. На другой день все ожидали государыню, в том числе и Дашкова. Вдруг дверь отворилась,

и государыня влетела и прямо к Дашковой. Все заметили по краске ее лица и по живости речи, что она была сердита. Фрейлины перепугались. Дашкова извинялась во вчерашнем поступке, что она не знала, чтобы женщине был запрещен вход в алтарь.

— Как вам не стыдно, — отвечала Екатерина. — Вы русская и не знаете своего закона; священник принужден на вас мне жаловаться».

Трудно сказать, во что верила Екатерина. Очень может быть, что красота православной службы, когда на душу воздействует все вместе — и архитектура церкви, и ее живопись, и огни, и сверкание одежд, и хор, и вся атмосфера набожности, — все это было ей дорого? Может быть, христианство смешивалось в ее душе со свойственным Просвещению поклонением Матери Природе или Высшему Разуму? Одно можно сказать с уверенностью: она ненавидела в религии все мрачное, всякий религиозный фанатизм, вытравливала его из созданных ею учебных заведений. Она писала Вольтеру о смолянках: «Мы далеки от того, чтобы сделать из них монашенок, как это практикуется в Сен-Сире. Мы их воспитываем, напротив, для того, чтобы они были отрадой семейств, в которые вступят, и были бы способны воспитать собственных детей и вести дом».

Прежде всего она хотела снять страх, который угнетал душу ребенка. «Ничто так не вредит детям, как устрашение их грозительными рассказами о мучениях ада», — она знала это по собственному опыту. И недаром требовала, чтобы воспитанников окружали веселые, приветливые лица.

«Смолянки» Левицкого старательно демонстрируют нам свои таланты и те знания, то искусство, которому их обучили. Конечно, перед нами прежде всего театр. На двойном портрете Хрущевой и Хованской разыгрывается сценка из какой-то пасторали.

Смолянки безудержно демонстрируют свои таланты — танцуют Борщева и Левшина, играет на арфе Алымова, а Молчанова ясно дает понять, что она тоже не лыком шита: в руке у нее книга (заложенная пальцем), рядом с ней чудо науки — электрическая машина (девушка, как видно, отличалась в точных науках).

Она отлично сидит, независимо и гордо выпрямившись, огромный казакин ее платья (великолепно написан белый атлас) шумно летит назад. Лицо с резко оттянутыми от висков волосами выражает

совершенную уверенность в себе. Это явно первая ученица (да так оно и есть, у нее при выпуске золотая медаль первой степени), на ее губах улыбка, с какой подходят на экзамене брать билет те, кто все билеты знает назубок. Кстати, Молчанова была одарена еще и художественно, Екатерина, которая переписывалась с некоторыми смолянками, сообщает, что у нее в комнате стоит портрет Левшиной «работы девицы Молчановой», – стало быть, Катя Молчанова так хорошо нарисовала подругу, что царица взяла к себе в комнату этот портрет. Совершенная внутренняя раскрепощенность, энергия, ум – вот что такое эта героиня Левицкого.

И вдруг среди всех этих девушек, столь настойчиво и бурно демонстрирующих себя, мы видим одну, ничего не демонстрирующую.

Это маленькая Давыдова.

Она написана не только с любованием, как Алымова или Борщева, но еще и с глубокой неясностью. Стоит ребенок стриженный, упитанный, с толстыми руками, немного неуклюжий в своем коричневом (это самый младший – «кофейный» – возраст Смольного) платье, стоит, о себе не помнит, да и об окружающем забыла совершенно. Ее старшая подруга Ржевская, уже стройная, уже нарядная, на что-то указывающая, к чему-то призывающая (она в голубом платье второго – «голубого» – возраста), кокетничает со зрителем. Маленькая Давыдова не помнит ни о ком. Целиком погруженная в свой ребячий мир, она, как видно, мечтает о чем-то любопытном и приятном, ее неуловимая улыбка (легкими тенями по углам губ) никому не адресована, глаза в мечтательной дымке приветливы, даже ласковы, но ни на кого не глядят. Из этих двух девочек, где одна уже изящная и стройная (голубая), другая неуклюжая, толстоватая (коричневая), настоящим изяществом и поэтичностью обладает, конечно, младшая – деликатный ласковый ребенок, погруженный в мечтательное забытие.

Я нарочно остановилась у этих двух девочек, прежде чем перейти к признанному шедевр Левицкого – Нелидовой. Казалось бы, она вполне в ряду остальных, демонстрирующих молодость, талант и выучку (она в театральном костюме и пляшет), но вместе с тем в ней красота, энергия и живость всех остальных смолянок соединились с поэзией маленькой Давыдовой.

В театре Смольного играли и комедии, которые по обычаю того времени клеймили всякого рода пороки, в том числе, кстати, и пороки дворянского сословия. Представляли тут и комическую оперу Перголези «Служанка-госпожа», знаменитую тем, что в самом Париже она вызвала бурю негодования и восторга и буффонадой, и демократизмом. Здесь умная и веселая служанка, на чьей стороне симпатия автора, вертит, как хочет, своим господином и в конце концов заставляет его на себе жениться. Французская традиция глупых господ и умных слуг вообще перешла в русскую драматургию – в комедии самой Екатерины «О время!» есть служанка Марфа, которая учит грамоте барышню Христину, учит тайком от барыни, та держит Христину неграмотной по уже известной нам причине: дабы не писала любовных записок.

Нелидова как раз и играла ту самую «служанку-госпожу», к ней мы должны приглядеться с особым вниманием.

Она была на редкость нехороша собой. «Девушка умная, – писал о ней И. М. Долгоруков, – но лицом именно дурна, благородной осанки, но короткого роста и черна, как жук» (а Долгоруков по причине своего «балкона» знал толк в некрасоте). «Отвратительно дурна», – скажет о Нелидовой одна из ее подруг. Но вот более снисходительный отзыв в мемуарах Саблукова: «Нелидова была маленькая брюнетка с темными волосами, блестящими черными глазами, с лицом, исполненным выразительности. Она танцевала с необыкновенным изяществом и живостью, а разговор ее, при совершенной скромности, отличался изумительным остроумием и блеском». О ее уме, веселом обаянии, душевном изяществе говорят нам многие ее современники.

Екатерина, внимательно следившая за Смольным, сразу отметила Нелидову и писала своей любимице Левшиной, что специально приедет посмотреть на это чудо. А в «Санкт-Петербургских ведомостях» о девушке писали в стихах: «Как ты, Нелидова, Сербину представляла, / Ты маску Талии самой в лице являла... / Игра твоя жива, естественна, пристойна...» – то есть соответствует образу. Вот какой – живой, веселой, естественной и забавной – является нам Нелидова на полотне.

Она выступает, легкая и упругая; ломкий шуршащий шелк ее платья, и руки, и шея – все это словно осыпано пеплом, и пудренные волосы в пепле, который сгущается тут до серо-синего (была тогда,

кроме белой, серая пудра), одно лишь лицо ее безупречно розовое. Если платье ее в легких сумерках, то лицо – сама розовая чистая заря. Две темные полосы пересекают его – полоса высоких бровей и полоса темных глаз; третья полоса на шее от черной бархатной ленточки. Карие глаза удивительным образом ярче черного бархата, они вообще самое яркое, что есть в картине, – и не только потому, что насыщены небывалым коричневым цветом, но и потому, что налиты весельем до краев.

Вот уж: прелестный характер – веселый, незлобивый, ласковый. По душевной тонкости и лиризму это, конечно, родная сестра маленькой Давыдовой, но энергичней, сильнее, веселей. Она, кстати, отлично знает свое очарование, свою власть над зрителем – сама муза комедий, испившая из Кастальского ключа.

В поэме А. К. Толстого о старинном портрете, который ожил однажды ночью, изображена девушка в костюме XVIII века, в пудренном парике («и полный роз передник из тафты за кончики несли ее персты»), в моей памяти она долгое время путалась именно с Нелидовой, может быть, даже и не случайно: Алексей Толстой был флигель-адъютантом Александра II и не мог не видеть «Смолянок», которые висели тогда в Петергофском дворце. И, уж конечно, прежде всего Нелидова должна была ему запомниться (правда, в прозрачном передничке Нелидовой нет роз, зато их сколько угодно в цвете ее лица). Красавица Толстого представляет собой, однако, все-таки условный XVIII век, а Нелидова, некрасавица, его живое очарование.

Сколько движения в зале Русского музея, где развешаны «Смолянки», – танцует Левшина, несется в танце Борщева, пляшет Нелидова. Но перед нами не только и не просто юные девушки, схваченные гениальным художником во всей их живости, здоровье и силе таланта, – здесь выступает как бы сама идея раскрепощенности (как сами эти девчонки вырвались в жизнь из-под замка, так и их изображения, вырвавшись из каркасной скованности былых портретов, разбежались по полотну).

Может быть, здесь демонстрирует себя, «поет и пляшет» сама екатерининская педагогика, новая «порода людей» резвится в атмосфере вольного ветра и радужных надежд. К ним был огромный интерес. Когда они впервые появились на люди во время прогулки по

Летнему саду, на них сбежались смотреть. Сам Новиков поместил в «Живописце» посвященные им стихи: «Их воспитанием направлены умы / Всех добродетелей примеры нам представят. / Сердца испорчены и нравы злых исправят. / Сколь много должны в них Екатерине мы». «Сердца испорченны и нравы злых исправят» – в обществе понимали их назначение.

Однако далеко не все современники были в восторге от «монастырок», многие отзывались о них скептически, полагали их воспитание несколько инкубаторным. Ходили рассказы, будто они, например, спрашивают, где же те деревья, на которых растут булки; ходили и стишки о том, как «Иван Иванович Бецкий, человек немецкий», выпустил в свет «шестьдесят кур – набитых дур» (в одной современной работе утверждалось даже, будто эти стишки шли из некоего демократического лагеря, в то время как их мог сочинить любой придворный балагур.

Нам важно понять, кого же воспитывал Смольный – глупых кур или интеллигентных женщин?

Из смолянок, изображенных Левицким, мы многих встречаем в мемуарной литературе. Глафира Алымова (та, что играет на арфе), в замужестве Ржевская, сама оставила интересные мемуары. Хованская (которая робко стоит, как пастушка и как ее овечка) стала женой поэта Нелединского-Мелецкого, исполнительницей его знаменитых песен, хозяйкой открытого дома. Мелькают в мемуарах имена и Хрущевой, и Борщевой, они играют в «благородном театре» при дворе наследника Павла. Но самое интересное для нас – это отзыв князя Ивана Долгорукова, который говорит, что при этом «малом дворе» его внимание привлекали прежде всего выпускницы Смольного. «Большая часть знакомых мне девушек были монастырки. Привыкнув к общению с ними, я пленялся их воспитанием, простосердечием, добродетельными побуждениями души и здравым рассудком. Они не умели притворяться и лукавить, всегда были открыты со всяким и никакого не выказывали кокетства в поведении». Долгоруков искал жену среди смолянок. Конечно, он женился по страстной любви, но то, что его Евгения была из Смольного, получила отличное смольненское воспитание, была обучена языкам, музыке и актерскому искусству (а

Долгоруков сам был актером, – тут возникала общность интересов), сыграло в их сближении немалую роль.

И вот перед нами Евгения Долгорукова (урожденная Смирная), «дочь самых беднейших и не важных дворян»; отец ее погиб в пугачевщину; мать владела в Тверской губернии деревенькой под названием Подзолово (семнадцать душ крестьян), никогда из нее не выезжала, а девочка оказалась в Смольном. Практически она не знала своей семьи, ее мать приезжала из своего Подзолова очень редко, а свидания в присутствии воспитательницы были коротки. По окончании Смольного Евгения жила при «малом дворе» на положении фрейлины, в роскоши, в атмосфере культуры, искусства, окруженная вниманием, так как обладала незаурядным актерским талантом.

После свадьбы молодые отправились в Подзолово. И вот перед нами встреча великосветскости с самой глухой провинцией.

По дороге, пишет князь Долгоруков, они заехали к родному брату Евгении. «Надобно было с ним ознакомиться; жена моя не знала его в лицо – я также. Мудрено ли, когда она четырех лет взята ко двору из родительской пустыни? Мы все между собой в семействе ее сходились по чужим словам и догадкам, точно как отыскивают просельные пути к разным предметам от большой дороги». Иначе говоря, старались друг друга понять и едва понимали. «В Торжке мы погостили сутки, с большой скукой, потому что после петербургского рода жизни Торжок есть то же, что темная ночь после хорошего ясного дня. Шурин и жена его сопровождали нас к теще в деревню. Старушка нас ожидала с хлебом и солью у порога; благословила образом, подарила нас серебряным подносом и разные отпустила нам приговорки, которые я очень мало понимал, а жена еще меньше. Навык деревенский нам вовсе был неизвестен, но всякой живет по тому обычаю, в каком вырос и состарился. Какое страшное расстояние между чертогов Царских и соломенных крыш деревенских жителей! Жена моя матери своей почти не знала; я ее видел в первый раз и следовательно все наши отношения к ней основаны были не на чувствах сердечных, а на приличии нравственном». Вот это чувство долга и заставило молодую княжескую чету со вниманием отнестись к провинциальной родне, и прежде всего к самой хозяйке дома.

То была «барыня умная от природы, но не получившая никакого ни воспитания, ни учения; она погружена была в крайнее невежество

до того, что не умела грамоте (сей недостаток оказывался и у многих старинных людей, кои в отдаленных годах провели отроческие свои возрасты) и не знала, как различать на часах меру времени».

Подзолowo было в двадцати пяти верстах от губернского города, но хозяйка его никогда туда не ездила. Все дети ее были так или иначе в ведении государства. Дочь (сестра Евгении) тоже была в Смольном. Старший сын, капитан, – всегда на своем корабле, другой учился в Кадетском Морском корпусе, самый младший «еще шатался при ней», но был уже записан в Измайловский полк «ундерофицером».

Князь Долгоруков с большим интересом присматривался к своей теще. «При всей своей бедности, – пишет он, – она имела прирожденную гордость и не хотела себя унижить, показав откровенно все свое убожество пред нами, и для того она с некоторым излишеством приготовилась угостить нас. Но все, что б она ни делала, не могло выдержать сравнения с самым последним и беднейшим домом в тех местах, откуда нас судьба к ней бросила». И вот важные для нас наблюдения. «При каждом ее движения жена стыдилась и краснела, разговор ее был смышлен и даже нравоучителен, но еще не для нас. Мы оба так были молоды и так привыкли к одним пустоцветам общественной беседы, что ни одно деревенское дельное слово не могло подействовать на наше размышление».

Зато нам есть тут над чем задуматься. Свидетельство замечательное.

Государство отбирало из семьи молодых дворян (в данном случае кого в кадетский корпус, кого в Смольный), обучало их языкам, общеобразовательным предметам (мужчинам давало специальность), развивало таланты (этому, как мы знаем, в екатерининских учебных заведениях придавали большое значение) – делало из них в большей или меньшей степени интеллигентов. Возвращаясь в родную деревню, где помещики были не грамотнее своих крепостных, они уже не могли найти общего языка с родным домом. Долгоруков понимает сложность возникающей тут проблемы – взаимоотношения простолюдин (к которому, несмотря на свое дворянство, несомненно, принадлежала мать Евгении) и новой дворянской интеллигенции. Евгения – талантливая музыкантша, известная актриса «благородного театра», женщина, знающая языки и стоящая на уровне идей Просвещения (недаром в Смольном играли Вольтера), – ушла безвозвратно далеко от

своей родни. (А теперь представьте себе, что бывшая крепостная, получившая образование, приученная к чтению, вращавшаяся в интеллигентном кругу, вернулась, пусть и свободная, но в крепостную среду – ощущение должно было быть шоковое.)

Здесь идет столкновение старого и нового, но на совсем ином нравственном уровне. Однако и тут – ясно виден водораздел, но не между дворянством и недворянством, а между дворянской интеллигенцией и безграмотным деревенским обществом. Умный Долгоруков понимает, что, приобретая новую культуру «интеллигента», многое и потеряли; привыкшие к пустословию, «пустоцветам общественной» светской беседы, они уже не понимают «приговорок» деревенской родственницы, уже не слышат всего того «смышленного», нравоучительного, то есть разумного и дельного, что могла бы она им сказать.

Перепад культурного уровня был слишком велик, разговор не получался.

«Довольно было бы для всех нас и одного етаго семейного соединения, чтоб дни в два соскучать взаимно, обрадоваться разлуке и найти в ней облегчение, но теще хотелось еще и похвастаться перед соседями тем, что дочь ее по милости царской в бриллиантах и жена князя Долгорукова и что она уже не такая-то сиротка в околке своем. Для етова она рассудила дать в деревне обед и созвать кучу гостей. Боже мой! – Кого тут не было? Наехали уездные судьи, заседатели, стряпчие и всякой зброд. Дрожжи так сказать сословия благородного... Я еще не мог тогда ценить их характеров по званиям каждого, и бросалось мне в глаза преимущественно их обращение в самой смешной своей стороне. День пиршества назначен. Стали съезжаться со всех перекрестков гости, и в телегах, и в линеечках, и в старинных колымагах. Что за супруги! Что за сожительницы!» Как же вели себя в этом обществе столичные гости? Весьма достойно. «Благопристойность, однако, требовала, чтоб мы делили с тещей труды угощения. С утра начали есть, называя стол со всякой всячиной закуской; пришел обед, опять все сели кушать. Днем французская водка не сходила со стола, и самовар кипел беспрестанно. Иных надо было еще оставить и на ночь, потому что ни ноги, ни руки не действовали; наповал по всем комнатам ложились гости спать, и целые сутки торжественная пируха продолжалась. Не станем говорить ни о

столе, ни о услуге, еще менее о беседе гостей и обращении их. Увы! — все соответствовало предыдущему. Нам казалось, что мы перенесены в отдаленнейшее столетие нашего мира».

Умный Долгоруков понимает, что тогда еще, по молодости, не мог взглянуть в этих людей и по достоинству их оценить. Тем не менее — и это главное — молодые Долгоруковы смогли спрятать в карман столичное высокомерие. «Нам казалось, что мы перенесены в отдаленнейшее столетие нашего мира. Тяжело было и жене, и мне выдержать такое гостеприимство, но надобно было покориться обрядам: что город, то норы, что село, то обычай. Чем снисходительнее мы на все это смотрели, тем теща была довольнее нами, и в полном смысле счастлива. Ее удовольствие заменяло для нас все прочие нестерпимые недостатки». Согласимся, что поведение молодых Долгоруковых, их такт и деликатность, их желание доставить радость старой женщине представляют их нам людьми интеллигентными. Все, знавшие Евгению Сергеевну (она рано умерла), вспоминают ее как человека подлинной духовной культуры и редкого обаяния.

Удивительная судьба досталась Екатерине Ивановне Нелидовой: она была многолетней любовью Павла Петровича — и великого князя, и царя, — и любовь его была возвышенной и горячей (в одном из своих писем он пишет, что любит ее больше самого себя). Перед отъездом в Финляндию, когда шла война со Швецией, он наскоро шлет ей на обрывке бумаги: «Знайте, что умирая, я буду думать о вас». В дни тяжелой болезни, убежденный, что не выживет, он напишет отчаянное письмо Екатерине, «как царице и матери», о том, что совесть повелевает ему «оправдать невинное лицо», которое может из-за него пострадать. «Я видел, как судила злоба, как ложно толковала она связи, чисто дружеские, возникшие между Нелидовой и мною. Я клянусь тем судом, перед которым все мы должны предстать, что мы явимся перед ним с безупречной совестью. Зачем я не могу доказать это ценой собственной крови? Свидетельствую о том, прощаясь с жизнью. Клянусь еще раз всем, что есть святого. Торжественно клянусь и свидетельствую, что нас соединяла дружба священная и нежная, но невинная и чистая. Свидетель тому Бог». Можно предположить, что Екатерина прочла эти искренние строки, усмехаясь: в ее глазах

платоническая любовь, надо думать, большой цены не имела. Но великого князя, как видно, преследовала и мучила боль, что их отношения с «Катей» могут истолковать дурно и что, когда его не станет, никто не защитит ее репутацию. Да и Екатерину Ивановну тяготит двусмысленность ее положения при «малом дворе» (фрейлина великой княгини и нежный друг великого князя); в 1793 году она просит Екатерину отпустить ее обратно в Смольный, и Павел в отчаянии умоляет ее по крайней мере бывать в его резиденциях – Гатчине и Павловске.

Что связывало этих молодых людей? Их общая удивительная некрасивость? Сиротство при дворе? Свойственная обоим восторженность и порывистость характера?

Но уже тогда Нелидова сильно уставала от неуравновешенности своего друга, который становился все тревожней, все подозрительней – а тут еще страх перед Французской революцией (видите, мол, к чему ведет вольнодумство – летят под топором коронованные головы!); и перед матерью, которая – об этом упорно говорят – хочет передать трон внуку Александру; и перед наглостью фаворитов (помнит ли он их дружбу с Орловым?). Великий князь ищет нравственной опоры в Нелидовой с ее умом, душевным равновесием и сообразительностью. Но ей придворная жизнь неважно, и она все-таки уезжает в свой дорогой Смольный.

Вступив на престол, Павел делает все, чтобы вернуть Нелидову ко двору. Зная, что его Катя подарков не принимает, он начинает осыпать дарами ее родню (так, ее мать получает 2000 душ, напрасно Екатерина Ивановна умоляет Павла хотя бы уполовинить этот огромный дар). Нелидову зовут вернуться ко двору не только Павел, но и новая императрица Мария Федоровна, все знают, что маленькая фрейлина – единственный человек на свете, которому дано смягчить гневные припадки императора, останавливать его дикие приказы. И она возвращается. В каком-то смысле Нелидова приняла эстафету давно умершего (и, надо думать, неведомого ей) Порошина, она тоже призывает Павла к терпению (и опять же: «А как терпенья-та нет, где же его взять?»), предостерегает от жестоких решений, на которые он скор, от бестактностей, которые он делает на каждом шагу. Замечательны ее письма, по духу и форме строго верноподданнические, они вечно полны просьбами помиловать,

смягчить участь, отменить жестокий приказ. Павел вздумал уничтожить орден Св. Георгия (введенный Екатериной), что глубоко оскорбило бы георгиевских кавалеров, никто не мог отговорить Павла от подобной бестактности – пришлось вступиться Нелидовой: «Именем Бога, государь, – пишет она, – подумайте о том, что этот знак отличия был наградой за пролитую кровь, за тела, истерзанные на службе отечеству! Что будет с теми, кто увидит, что их государь презирает то, что составляет их славу и свидетельствует об их мужестве» – и орден был сохранен. Она останавливает Павла в минуту гнева, как коня на скаку.

Вот рассказ А. С. Шишкова (который состоял тогда при Павле): «...Мне случилось однажды на бале, в день бывшего празднества, видеть, что государь чрезвычайно рассердился на гофмаршала и приказал позвать его к себе, без сомнения, затем, чтобы сделать ему великую неприятность (а неприятностью могли быть и ссылка, и даже крепость! – О. Ч.). Катерина Ивановна стояла в это время подле него, а я – за ними. Она, не говоря ни слова и даже не смотря на него, заложила руку свою за спину и дернула его за платье. Он тотчас почувствовал, что это значит, и ответил ей отрывисто: «Нельзя воздержаться!» Она опять его дернула». Нагоняй, который получил гофмаршал, был минимальным. «О! Если бы при царях, и особенно строптивых и пылких, все были Екатерины Ивановны», – добавляет мемуарист.

А она все просит и просит – за обиженных, за напрасно оскорбленных, за наказанных ни за что. И делает это столько же ради жертв царского гнева, сколько и ради самого Павла.

Само бескорыстие, само чувство собственного достоинства – перед нами снова по-настоящему интеллигентный человек. Да и веселости прежней своей она не утратила – и потому стала веселой душой не очень веселого гатчинского общества.

Караульное помещение Гатчинского дворца, где дежурным офицером был Саблуков.

Караул помещался в большой прихожей, а в конце длинного коридора, который шел во внутренность дворца, стоял часовой. Он успевал предупреждать о приближении императора. Но на этот раз все произошло с быстротой необыкновенной. Не успел часовой крикнуть:

«На караул!», солдаты схватиться за ружья, а Саблуков вылететь из комнаты и выхватить из ножен шпагу, как дверь коридора распахнулась – и Павел «в башмаках и шелковых чулках, при шляпе и шпаге» выскочил в прихожую, и в ту же минуту «дамский башмак, с очень высоким каблуком, полетел через голову Его Величества, чуть-чуть ее не задев». Император прошел в свой кабинет, а из коридора на одной ноге выскочила Нелидова, подняла башмак, не торопясь его надела и спокойно вернулась, откуда пришла. Павел был смущен.

– Мой дорогой, – сказал он на следующий день Саблукову, – мы вчера немного поссорились.

– Да, государь, – ответил Саблуков.

Павел уже видел в этом офицере своего друга, во всяком случае, в тот же вечер подошел к нему на балу и так же смущенно (все-таки жил в нем славный мальчик, которого когда-то воспитывал Порошин) сказал: «Мой дорогой, сделайте так, чтобы танцевали что-нибудь славное». Саблуков все отлично понял: император хотел, чтобы молодой офицер пригласил Нелидову. Тот был готов – но что знала она, кроме менуэта и гавота, которые танцевала, когда была гордостью Смольного? Он попросил дирижера сыграть менуэт, и все смотрели, как они танцуют. «Какую грацию выказывала она, – вспоминает Саблуков, – как великолепно выделявала па и производила обороты, какая плавность была во всех движениях прелестной крошки – точь-в-точь знаменитая Лантини, учившая ее. Да и при моем кафтане а ла Фридрих Великий мы, должно быть, имели точь-в-точь вид двух старых портретов».

Ну что же, та веселая, победительная Нелидова, которую написал Левицкий, вполне могла бы бросить своим атласным башмаком в голову императора.

И все же перед нами человек глубокой печали. Борьба с интригами, которые плелись вокруг нее и, главное, вокруг Павла (кстати, для него нашли юную красавицу, Анну Лопухину, убедили его, что та без памяти в него влюблена, и он потерял голову), такая борьба была Нелидовой не под силу; когда из Петербурга была выслана ее подруга (кстати, тоже смолянка), Нелидова уехала с ней в Эстонию. Отсюда, а потом из своего Смольного она с отчаянием следила за тем, как погибает Павел, и наконец узнала о его страшной смерти.

Потрясение было глубоким. Один из современников, приехавших к ней вскоре после катастрофы, нашел ее сильно изменившейся: «Волосы ее поседели, лицо покрылось морщинами, цвет лица сделался желтовато-свинцовым, и глубокая печаль отражалась на этом прежде столь улыбочивом лице».

Она еще долго проживала в своем Смольном, но жизнь ее уже давно была кончена. Зато жизненную задачу свою (и екатерининскую программу) — смягчать нравы «жестокие и неистовые», — она выполняла, сколько могла.

Такова одна из самых знаменитых смолянок. Но были и другие, ничуть не менее достойные. Их имена связаны с именем Александра Радищева.

Насколько грубо фальсифицировано царствование Екатерины, нетрудно проследить на судьбе Радищева. Как известно, в своей книге «Путешествие из Петербурга в Москву» он не только с гневом и болью говорит о страданиях российских крепостных, но возлагает надежды на крестьянский бунт, признает за народом право судить царей, низлагать их и даже казнить; превозносит Кромвеля и считает казнь Карла I справедливым возмездием; звучат в книге и прямые выпады против Екатерины. Она была уязвлена и разгневана, и ее, кстати, тоже ведь можно понять.

Но как вообще могла подобная книга выйти в России монархической и крепостнической? Ясно, что подобное могло произойти только при той же Екатерине, когда были созданы вольные типографии и практически не было цензуры: автор нес свою книгу в Управу благочиния (или даже просто назначенному для этого университетскому профессору) — и того было достаточно. Так поступил и Радищев: он напечатал «Путешествие» в своей собственной типографии и послал экземпляр обер-полицмейстеру Н. Рылееву. «Всего смешнее, — писал по этому поводу граф Безбородко, один из крупных екатерининских сановников, — что шалун Никита Рылеев ценсировал сию книгу, не читав, а удовольствовавшись титулом, подписал свое благославление... Со свободою типографии да и глупостию полиции иногда и не усмотришь, как нашалют». Такие были времена — вспомним пушкинское послание к цензору, где поэт предлагает тому читать екатерининский Наказ и брать пример с

установленных ею порядков, когда писатели говорили правду и «никому из них цензура не мешала».

Екатерина доверяла обществу, ей в голову не приходило, что кто-то может желать ее свержения, тем более – казни. По мере того как она читала книгу, гнев ее разгорался, она считала, что автор «заражен французским заблуждением, ищет всячески и выищивает все возможное», чтобы подорвать авторитет власти и поднять против нее народ. Раны, нанесенные пугачевщиной, еще кровоточили, ужас перед ней не прошел, а Французская революция в 1790 году была в самом разгаре.

В Тайную экспедицию были присланы ее подробные замечания на текст «Путешествия», которые для следователей были, разумеется, установочными. Замечания выглядят неприятно: горячие чувства автора, его сострадание к народу, его гнев и ненависть к крепостничеству – все это, считает Екатерина, заимствовано из революционной Франции и определено личными причинами. «Скажите сочинителю, – пишет она, – что я читала его книгу от доски до доски, и прочтя, усумнилась, не сделано ли ему мною какая обида? Ибо судить его не хочу, дондеже не выслушан, хотя он судит о царей, не выслушав их оправдания». Да, конечно, она была сильно уязвлена, но о применении пытки тут нет и речи. Поскольку Радищев хочет отнять у царей скипетр, пишет Екатерина, у него должны быть сообщники, пусть он сам расскажет, как было дело, иначе придется искать доказательства его вины. Позиция ее соответствует Наказу и остается правовой.

Радищев признал свое авторство, выразил глубокое раскаяние в связи с кровавыми текстами, но остался верен главному – крестьянской свободе. Обвинение в «заговоре» отпало, и никого из его друзей к ответственности не привлекали. Дело Радищева было направлено в санкт-петербургскую Палату уголовного суда, материалы следствия, проведенного Тайной экспедицией, в суд направлены не были, обвиняемого заново должны были допросить; текст книги был налицо, авторство тоже, свидетели – книготорговцы и прочие – говорили правду.

Любопытно, что судили Радищева по Уложению царя Алексея Михайловича и главным образом по военному уставу Петра I. Так, например, артикул 20 говорил: «Кто против Его Величества особо

хулительными словами погрешит, его действо и намерение презирать и непристойным образом о том рассуждать будет, оный имеет живота лишен быть и отсечением головы казнен». Пушкин говорил, что иные петровские указы словно писаны кнутом, эти – уже прямо топором палача. А вот другой артикул (137): «Всякий бунт, возмущение и упрямство без всякой милости имеет быть виселицею наказано». По этим-то артикулам Радищева, по лишении дворянства, отнятии чинов и орденов и приговорили к отсечению головы. Приговор был утвержден Сенатом, потом (неизвестно почему) – Советом при императорском дворе, но не утвержден Екатериной. Она заменила смертную казнь ссылкой – не каторгой, а просто ссылкой, правда, в Сибирь. Имение Радищева не было конфисковано, но оставлено его детям. В книге, вышедшей уже в наши времена (1990), написано, что императрица в своей великой злобе была уверена: Радищев ссылки не перенесет и там погибнет; книга кончается страшной картиной: еле живой, в кандалах Радищев едет в Илим. Фальсификации бывают разные – нередко бывает и фальсификация умолчания.

Сибирским трактом мчит возок, окруженный конными, мчит глухим лесом, бескрайней степью; крупные города проскакивают ночью; но если бы и днем, по главной улице, – все равно никто бы не оглянулся, все знают: это везут в ссылку государственного преступника, какого-нибудь опального вельможу или свергнутого временщика.

При виде такого возка замирал город – все понимали: мимо проносилась страшная судьба. Так провезли в Березов «светлейшего князя» Меншикова, так провезли семью князей Долгоруковых при Анне – тоже в Березов (остров на реке Сосьве при ее впадении в Обь, в Тобольской губернии, среди лесотундры), но потом мужчин этой семьи тем же путем повезли назад – до самого Новгорода, где их ждала публичная, дикая по жестокости казнь.

Екатерина много сделала для провинции (мы видели это на примере губернатора Сиверса) с ее административной реформой, созданием наместничеств, наместниками становились люди, близкие ей по духу, и являлись они со своей администрацией. Города оживали. В старых губернских городах и сейчас еще можно видеть центр, выстроенный Екатериной, – дом губернатора, административные

здания, торговые ряды, собор. Поскольку в города тянулось дворянство, здесь росли дворянские особняки. Оживали и сибирские города – вот, к примеру, рассказ мемуариста Григория Винского, оказавшегося в Сибири. Еще до открытия наместничества Екатерина прислала в Оренбург с инспекцией генерал-поручика Якоби, «сей чиновник, будучи умен, обходителен и в делах сведущ, при первом своем приезде в Оренбург имел с собой много людей с дарованиями, приятного обхождения, словом, людей от оренбургских каторжных жителей отличных. Открытие же в Уфе наместничества еще более доставило сему краю людей весьма порядочных, так что грубость и скотство, прежде здесь господствовавшие, тот час принуждены были уступить место людскости, вежливости и другим качествам, свойственным благоустроенным обществам».

Провинция всегда высоко ценила приезжих, какой-нибудь степной помещик так и впивался в гостя, «унимал его к обеду», оставлял ночевать – лишь бы только узнать от него, что делается на свете. Провинциальное общество, собравшееся в городах, с жадным любопытством относилось к путешественнику, проезжающему через их город, особенно если тот был знатен или чем-либо знаменит; для него устраивали балы и званые обеды, сегодня он был в театре, завтра в концерте (как правило, любительском).

Представьте себе, все это о том, как сибирские города встречали Радищева. «В Тобольске, – рассказывает сын Радищева Павел, – Радищев пользовался величайшей свободой, как и все ссыльные. Он был всегда приглашен на обеды, праздники, бывал в театрах». Тобольское общество носило Радищева на руках.

Но куда же смотрели власти, как допустили они, что ссыльный «бунтовщик хуже Пугачева», государственный преступник, которому едва не отрубили голову, принят дворянством как желанный гость? Но в том-то и дело, что, как рассказывает тот же Павел Радищев, «всех лучше принимал его губернатор Александр Васильевич Алябьев», который потом получил даже выговор за то, что позволил Радищеву слишком долго пробыть в Тобольске, действительно, ссыльный тут пробыл немало – семь месяцев.

В Томске, продолжает Павел Радищев, его отец был очень ласково принят комендантом Томасом Томасовичем де Вильнев, французом, бригадиром в русской службе, он там пробыл около двух недель.

В Иркутск прибыл в октябре 1791 года и пробыл там два месяца, в течение которых генерал-губернатор Иван Арефьевич Пиль велел для него приготовить в Илимске (то есть на месте ссылки) бывший воеводский дом, за который Радищев заплатил десять рублей. «В нем было пять комнат, при том кухня, амбар, хлева, сараи, людские избы, погреба, обширный двор и огород на берегу Илима. Илим – река, и судоходная. Он впадает в Ангару. При устье его находится селение Карабченко, и ловится зимою множество осетров».

Заботы иркутского генерал-губернатора о Радищеве простерлись до того, что он, как докладывает о том Воронцову, отправил «имение его и лишних людей» и «некоторую провизию» в Илимск водою, чтобы Радищев мог ехать «налегке». Но воеводский дом в пять комнат, по-видимому, с точки зрения генерал-губернатора И. А. Пили, был слишком мал и плох для этого ссыльного, и Пиль прислал в Илимск плотников и столяров для постройки нового дома. Благодаря воспоминаниям Павла Александровича, который провел в этом доме вместе с отцом все время ссылки, мы располагаем полным описанием новой постройки. «В новом доме было восемь комнат: во-первых, большая спальня с нишами, чайная, большой кабинет, где была библиотека, кладовая, небольшие гостиная и столовая. И две комнаты, где жили два женатых лакея. Длинный коридор был посередине, начинался он у спальни и оканчивался у столовой и отделял кабинет и кладовую от двух людских комнат, кухня и баня были пристроены у обоих концов длинной стены, обращенной к северу, и с домом имели вид покою. Дом был тепел, печки огромные, ибо морозы в декабре и январе были более 30 градусов, и ртуть иногда по две недели лежала замерзшая в шарике» (вот что значит свидетельство очевидца, жившего тут ребенком).

Но читатель заметил, конечно, что во всех приведенных материалах фигурируют «людские избы», «лишние люди», «женатые лакеи», а сверх того еще и «людские комнаты» – не может быть сомнений, что Радищев ехал в ссылку и жил там не только своей семьей, как мы обычно представляем, но в сопровождении слуг, возможно, крепостных (несмотря на то что был лишен дворянства и дворянских привилегий).

Чем же объясняется такая слаженность действий сибирской администрации? Прежде всего тем, что за судьбой Радищева

внимательно следил его начальник по таможенному ведомству, его друг и, можно предположить, во многом и единомышленник – Александр Романович Воронцов (обычно его называют братом известной княгини Дашковой, на самом деле по личным качествам, по уровню духовной культуры он был неизмеримо выше своей сестры, которая, кстати, в своих записках отзывалась о Радищеве весьма пренебрежительно, говорит, что давно предупреждала и, как всегда, оказалась права). «Граф Воронцов, – свидетельствует Павел Радищев, – писал ко всем губернаторам тех мест, где должен был проезжать сосланный, чтобы с ним обходились со всевозможной снисходительностью». Он объявил семейству Радищевых, что берет на себя все издержки его содержания, и послал деньги во все города, где он должен был останавливаться. Екатерининский вельможа демонстрирует несогласие с решением суда, Сената, Совета и самой Екатерины и открыто встает на защиту своего друга.

Воля вельможи была выполнена и даже перевыполнена – и в том заслуга уже не администрации, а самого губернского дворянства. Оно, как видно, тоже не согласилось с императрицей. Разве все это не чудеса?

А теперь мы переходим для нас к главному.

Воронцов мог обеспечить Радищеву комфортную жизнь, мог утолить его интеллектуальную жажду (книги, журналы, научные приборы), но он не мог спасти своего друга от страшного врага – лютой тоски; разлука с детьми, ощущение, что жизнь пропала, что он опускается в погибельную пропасть, в глухое одиночество, – все это сводило Радищева с ума, когда он был в Тобольске. И никакие развлечения не могли тут помочь.

Спасла его от отчаяния бывшая «монастырка», кстати, того самого первого выпуска.

Однажды Радищеву доложили: прибыл возок, в нем женщина и дети. К нему приехала Елизавета Васильевна Рубановская, сестра его рано умершей жены, она привезла ему двоих его младших детей. Этот приезд потряс Радищева чувством невероятного счастья – он воскрес, он был спасен, так сам и пишет об их приезде: «С прибытием детей и моей сестры мое сердце, истерзанное болью, расширяется и вновь открывается радости... Теперь я чувствую себя выплывшим из

пропасти... Да, я буду жить еще, а не прозябать... Я рад и чувствую перемену во всем моем существе...»

Жизненный подвиг Елизаветы Рубановской, к сожалению, малоизвестен и вовсе не оценен. А между тем она – и не одна, а с маленькими детьми Радищева – отправилась в Сибирь, вслед за государственным преступником, и было это во времена глухие, далекие от той эпохи общественного подъема, когда знаменитые декабристки ехали вслед за своими мужьями.

Но была в этой истории еще одна смолянка, Глафира Ржевская, в девичестве Алымова (та самая, что на картине Левицкого играет на арфе). Она была подругой Рубановской в Смольном, как видно, не только вполне одобрила ее отъезд в Сибирь, но считала его подвигом – «искусное перо могло бы написать целую книгу о добродетелях, несчастьях и твердости г-жи Рубановской, которая послужила бы к назиданию многих», – пишет она в своих записках. Глафира Ивановна тоже шлет в Сибирь письма и посылки, а главное – заботится о старших сыновьях Радищева, подростках. «Бедные дети здесь, – пишет она А. Р. Воронцову, – я к ним отношусь, как к собственным, и часто их вижу. Они очень хороши собой, прекрасно воспитаны... Их грустное положение так трогательно для всякого чувствительного сердца, что слова несчастного отца, доверяющего их мне в последнем письме, раздирают мне душу. Больше всего меня мучит совесть, что я не могу посвятить им все мои силы». После смерти Рубановской (а та умерла, когда все они возвращались из ссылки) Ржевская взяла на себя заботу о ее детях.

Воспитание смолянок, говорят, осуществлялось в духе верноподданничества – так оно и было. И все же то был какой-то особый вид верноподданничества, если отличницы Смольного встали на сторону государственного преступника, встали открыто – одна поехала за ним в Сибирь, другая находилась с ним в непрерывной связи и помогала, как только могла. Видно, чувство верности было в них сильнее, чем чувство подданничества, – и у этих смолянок, и у графа Воронцова, и у других помогавших Радищеву. Чувство верности и независимости.

Вот как шла жизнь Радищева и Елизаветы Рубановской. «Он вставал рано, – пишет об отце Павел Радищев, – ему приносили

большой чайник с кипятком, и он сам себе делал кофе. Потом он садился писать, читал, учил своих двух детей географии, истории, немецкому языку, ездил по окрестностям, ходил с ружьем по лесам и горам, окружающим Илимск». А Рубановская стала его женой. У них родилось трое детей, две дочери и сын. Она вела хозяйство, занималась многочисленной семьей и была неизменным помощником мужа во всех его делах. Воронцов назначил Радищеву годовую сумму, очень крупную по фантастической дешевизне сибирских продуктов (осетры, пойманные в Илеме, и вовсе ничего не стоили). Тот же Воронцов через преданных ему чиновников наладил пути, по которым ссыльному шли письма, книги и посылки.

Местная власть ни в коей мере не притесняла Радищева. Исправник Н. А. Ковалевский, пишет П. А. Радищев, «был человек честный и добрый. Он был всегда учтив и ласков и принят как друг дома», а когда, после его смерти, новый исправник, «совсем иного свойства», стал грозить Радищеву, вымогать у него деньги и т. д., Елизавета Васильевна тотчас отправилась в Иркутск, к новому генерал-губернатору (И. А. Пиля уже не было в живых), который дал исправнику такой нагоняй, что тот не только «стал учтивее», но потом, когда Радищев уезжал из ссылки, в ногах у него валялся, умоляя не жаловаться на него петербургскому начальству.

Не может быть никаких сомнений, что Екатерина знала, как вольготно живет ссыльный «бунтовщик», сколько людей пришло к нему на помощь, сколько государственных высокопоставленных чиновников его опекало, – и никаких репрессий по отношению к кому-нибудь из них не последовало (самая большая – тот самый выговор тобольскому губернатору, зачем у него Радищев гостил более полугода). В чем же причина такой снисходительности по отношению к человеку, которого она сама назвала бунтовщиком хуже Пугачева? (Пугачеву, между прочим, отрубили на Болоте голову, а Радищев, хотя, конечно, и тосковал в ссылке, но жил в полном довольстве помещиком в небольшой усадьбе, мог писать и заниматься наукой.) Были тому причины, обусловленные личной позицией Екатерины. Ведь это она сказала в своем Наказе, что за слово нельзя карать так, как за действие (правда, тут слово призывало к действию, и очень крутому, и все же она не согласилась ни на смертную казнь, ни на каторгу). Екатерина

понимала (не могла не понимать), что сама создала Радищева таким, каков он был.

Когда в 1766 году в Россию возвратился из Германии младший из братьев Орловых, Владимир (он три года проучился в знаменитом Лейпцигском университете, куда направили его братья), и, как свидетельствует Радищев-младший, привел в восторг Екатерину своими манерами, взглядами, образованностью, это послужило толчком для целого просветительского предприятия: в Лейпциг на казенный счет были отправлены двенадцать молодых дворян. В их числе был Радищев. Они должны были обучаться языкам, изучать этику, философию, историю, особенно «учиться праву естественному и всенародному и Римской империи праву». Им предписывалось ходить не только на лекции, но и на публичные диспуты и другие университетские собрания, и чтобы дома не бездельничали, а читали, переводили и разговаривали на иностранных языках. Важное условие: молодым людям на всех назначалось два наемных служителя, «а собственных крепостных, – говорит инструкция Екатерины, – никому не дозволяется иметь при себе». Деньги на книги они ежегодно должны были получать от посла. Когда все они хорошо сдали экзамены, Екатерина просила передать им «свое благоволение и поощрение».

Когда приставленный к молодым людям майор Бокум подверг двоих из них телесным наказаниям, из императорского кабинета пришло к нему гневное письмо, где говорилось, что о поступке его узнали «не только с несказанным удивлением, но и с крайним ужасом», что действия его неслыханны по наглости.

«Какою властью и по чьему дозволению осмелились вы допустить себя на такую преподлую и прегнусную дерзость, – говорилось в письме, – подвергающую российское дворянство явному бесславию, в самих же дворянах не иное что, как уныние и подлость духа произвести могущую?» То было время, когда Екатерина и Бецкой разрабатывали свою педагогику.

«При таких подлых с благородными людьми поступках» как можно их сделать добрыми и человеколюбивыми, как может он, Бокум, заслужить их уважение, доверие, а в этом и есть его долг, не только подвергаться такому наказанию, даже видеть такую «гнусность», даже знать о ней молодой дворянин не должен. «Словом

сказать, – резюмирует автор письма, – чтобы всякая лютость в нравах, неучтивость, свирепость и непристойность всемерно от глаз и ушей дворян российских оставались сокровенны».

Радищев не только получил великолепное образование (он, как пишет его сын, посвятил себя юриспруденции, литературе, медицине, которая, кстати, очень пригодилась ему, особенно в Сибири, где он «лечил очень удачно») – он наглотался в Лейпциге идей Просвещения, тех же самых, что и царица. В формировании его мировоззрения, его нравственного облика, его духовной структуры Екатерина, таким образом, сыграла огромную роль. Они были единомышленниками в главном – в вопросе о вольности крестьянства.

Второй раз судьба свела Радищева с царицей в тот день, когда она награждала его орденом Св. Владимира. Орден этот был введен недавно, вручение его считалось большой честью и было обставлено торжественным ритуалом, в частности, награждаемый должен был принять орден из рук императрицы, преклонив колени.

Наш вольнодумец «не счел за нужное раболепствовать» и не стал на колени – никаких неприятностей в связи с этим для него не последовало.

Когда Екатерина читала злокозненное «Путешествие», она была, разумеется, возмущена призывами к кровопролитию (вот откуда «бунтовщик хуже Пугачева»), но когда она узнала о раскаянии Радищева в его приверженности идее насильственного переворота и о его твердости в вопросе крестьянской свободы, она, как нетрудно предположить, вспомнила о собственной своей ответственности: ведь это она, послав молодого человека в Лейпциг, дала ему возможность погрузиться в атмосферу новых идей, да и своей деятельностью первых лет царствования, своим Наказом сама указала ему путь. Она не могла его преследовать. Новиков? – да, вот этого она действительно гноила в крепости, но вовсе не за его просветительство и вольнодумство. Он был опасен ей своими масонскими пристрастиями, своей приверженностью к Павлу, своими зарубежными, тоже очень опасными для нее связями – речь опять шла о ее власти. А Радищев? Он, скорее, был ее единомышленником. Ведь она и сама была в душе «государственная преступница», так как не признавала социальных основ государства, которым управляла, и не уважала сословия, с которым вынуждена была считаться.

А теперь снова вернемся к смолянкам. Воспитанницы Смольного в тот, начальный период его существования (потом, особенно при императрице Марии Федоровне, жене Павла, изменилась его программа, изменился и дух) отнюдь не были «курами», какими представляет их иной из современных болтунов. Они были «задуманы» как новая порода людей, реализовывались (по крайней мере те, кого мы могли рассмотреть поближе) как умные и хорошие женщины. Такова Нелидова, столь долго державшая на коротком поводу бешеный нрав Павла, такова рано умершая Евгения Долгорукова, бывшая радостью семьи и целого кружка близких. Особенно отмечаем Рубановскую, поехавшую в Сибирь за Радищевым, и Алымову-Ржевскую, оставшуюся в эти тяжелые для них годы их лучшим другом.

И если наши смолянки действительно думали (что сомнительно), будто бы булки растут прямо на деревьях, это не столь уже и важно по сравнению с главным: они знали, что такое верность, духовная тонкость, душевное тепло и великодушие.

Но есть у нас и еще одна возможность рассмотреть результат екатерининской педагогики – мы уже не в Смольном, а в Московском воспитательном доме.

Степан Щукин был приведен сюда (принесен?) неизвестно кем, когда ему было два-три года; провел тут одиннадцать лет, обучаясь разным ремеслам, преподававшие в доме художники очень рано распознали его необыкновенные способности к живописи. А потому вместе еще с двумя воспитанниками юноша был отправлен в Петербург, в Академию художеств. «Дорога по тем временам предстояла неблизкая и небезопасная, – пишет автор монографии о Щукине. – Закупались продукты, шилась одежда, нанимались ямщики, снаряжался целый обоз из трех фур с кладью и двух кибиток. Сопровождать детей должны были лекарский ученик Николай Иванов с няньками и солдатами для охраны», она была необходима на тогдашних дорогах. Поскольку главный попечитель дома Бецкой был одновременно и президентом Академии художеств, воспитанники были, разумеется, приняты. Тем самым юный художник оказался на

прямом пути к высшему мастерству, в школе Академии, которая потом послала его за границу (Париж и Рим).

О внутреннем облике этого воспитанника дома лучше всего расскажет его автопортрет; и о мастерстве расскажет, и о мировоззрении. Самое первое впечатление – совершенной внутренней свободы; тут не только свобода повадки, но внутренняя независимость, основанная на тихом, но твердом чувстве собственного достоинства (кажется, что те дни, которые художник провел наедине с самим собой, доставили ему удовольствие). Лицо его мягко и доброжелательно, в нем подлинная душевная деликатность. А живые глаза весьма наблюдательны.

Щукин доказал это, когда написал портрет императора Павла.

Сложна была модель. Душа Павла перегорала и перегорела в долгие годы, когда он ждал престола, который, как он полагал, принадлежит ему по праву. Та тонкая и нервная душевная структура, которую мы видели у маленького великого князя, не вынеся напряжения, стала разрушаться. И когда наступил день смерти Екатерины (потрясший Павла и радостью, и горем), на престол взошел человек, едва ли не полубезумный.

О нелепых и диких выходках Павла написано немало, он представлен в литературе фигурой трагикомической, а его режим носит оттенок некоего зловещего фарса. На самом деле Павел – фигура чисто трагическая (недаром Лев Толстой говорит в одной из своих записей: это мой герой). Те черты, которые мы видели у маленького великого князя, его деликатность, душевная тонкость, жажда привязанности, доброта – все это, в течение многих лет смешиваясь с обожженным самолюбием, диким властолюбием, сумасшедшим пруссачеством, дало острую, горькую и взрывчатую смесь. Он пришел к власти с программой благих преобразований, но для того, чтобы осуществить их, у него уже не было сил. От него ждали многого, а он не смог ничего.

Павел знал, что очень некрасив, тем не менее, вступив на престол, тотчас же заказал свой портрет, причем выбор его пал на Степана Щукина. Художник представил два эскиза: на одном новоиспеченный император был изображен верхом, на другом – просто стоящим с тростью в руке. Павел выбрал второй.

Портрет предельно прост, никаких корон, мантий, скипетров и занавесей. В пустом пространстве (непонятно где) стоит одинокая фигура в форме полковника Преображенского полка. Но эта предельная простота насыщена до предела.

Нелепая коротконогая фигура предстает перед нами, нелепый заносчивый характер – и эта отставленная рука с тростью, и этот выдвинутый вперед ботфорт, и эта треуголка, надвинутая только что не на нос! Художник остановился на грани гротеска и отнюдь ее не перешел, для него самое важное – внутренний мир царя, который он разгадал. В самой важности сорокалетнего императора есть что-то детское, простодушное, неустойчивое, а на курносом лице его доброжелательность, открытая любезность – и словно бы чуть-чуть веселости. Но есть в этом портрете и некая программа; перед нами, несомненно, тот самый Павел, от которого страна ждала добра. Любопытно, что сам он утвердил в качестве официального именно этот портрет, – значит, отвечал он требованиям императора, значит, таким он хотел себя видеть?

Щукин писал Павла с любопытством и симпатией, но вместе с тем глаз художника подметил и нечто несерьезное в этой фигуре, нечто от бравады, от желания кому-то что-то доказать, душевную неустойчивость, оттенок той нелепости, которая отметит многие шаги Павла и сведет на нет его добрые начинания.

Вот они один на один, «детдомовец» и могущественный монарх, хозяин России, два интеллигентных человека. И настоящим хозяином положения в те часы, что они провели вместе, был художник, который писал свою модель с пониманием, сочувствием – ну и с некоторой усмешкой, конечно.

Не может быть большей независимости, чем независимость внутренняя. Не может быть большего чувства собственного достоинства, чем то, что вложено в душу с детства и растет вместе с душой.

Глава девятая

Екатерина II и Петр I – два разных пути развития России. Фигуры действительно огромные; жили в одном веке, должны были решать одни и те же проблемы, рожденные особым положением России. Не удивительно, что в представлении историков эти двое выстроились в такой последовательности: один начал, другая продолжила.

На самом деле между ними непроходимая пропасть.

Откуда пошел неистовый культ Петра, когда достоинства его стали превозносить до небес, а пороки – наглухо замалчивать? Наверно, началось это с Елизаветы, которая пришла к власти именно как дочь Петра; было поддержано Екатериной II, которая стала его незваной внучкой, и было выражено в великолепном Медном всаднике работы Фальконе. Однако неистовым этот культ стал в николаевское время.

Странное дело: этот русский царь в России почти не жил, он в ней только бывал. Так, например (беру из энциклопедии), сразу после Полтавской битвы (2 августа 1709 г.) он едет за границу – на свидания с королями польским и прусским. В середине декабря того же года он возвращается в Москву, но в середине февраля 1710-го оттуда уезжает, все время проводит на строительстве Петербурга и занимается в это время, кстати, устройством брачных союзов: своей племянницы Анны, будущей императрицы, с герцогом Курляндским и сына Алексея с принцессой Вольфенбюттельской.

Петр действительно все «вдаль глядел». В январе 1711 года он отправился в Прутский поход, после позорного поражения уехал в Карлсбад лечиться, оттуда – в Торгау (в Германии на Эльбе), где должна была совершиться злосчастная свадьба царевича Алексея. В Россию он вернулся к новому, 1712-му году, а в июне уехал за границу почти на год – Померания, а потом Карлсбад, потом – Дрезден и Берлин; в начале 1713 года – Гамбург и Рендсбург, в феврале через Ганновер и Вольфенбюттель в Берлин, чтобы там встретиться с только что вступившим на престол королем Фридрихом Вильгельмом;

возвращается в Петербург – а через месяц уже в финляндском походе и с августа все время в море. В январе 1714 года – Ревель и Рига. Август – его победа при Гангуте. 1715-й – на флоте в Балтийском море. В начале 1716 года уезжает из России, чтобы вернуться в нее только через два года – тут и Данциг (свадьба его племянницы с герцогом Мекленбургским, от этого брака родится Анна Леопольдовна, от нее – несчастное Брауншвейгское семейство). Кстати, вся погибельная чехарда на российском престоле тоже пошла от Петра; он упразднил старый закон о престолонаследии, установил новый – наследника назначает сам монарх, – но старшего своего сына убил, младший, любимый Шишечка, от Екатерины, умер трех лет от роду, а назначить кого-то Петр не успел и умер, оставив империю на произвол дворцовых переворотов; итак, в 1716 году он уезжает из России на два года, сперва – плавание на галерной эскадре, он с ней под Копенгагеном (июль); в октябре – Мекленбург, потом – Амстердам. В 1717 году – Франция (март), Амстердам (июль), Берлин и Данциг (сентябрь). Затем он два месяца в России, сперва в Петербурге, а потом в Москве, чтобы встретить привезенного из-за границы царевича Алексея; похоронив сына, Петр тут же уезжает...

Уж не сумасшедший ли царь был тогда на престоле? Это лихорадочное метание по чужестранным дворам – разве оно в пределах нормы?

При таком способе жизни когда же было ему заниматься Россией? Крепостническая, нищая, темная страна осталась предоставленной самой себе. Не было законов, которые бы защищали людей от насилия, от произвола властей; сельское хозяйство, ремесло и торговля – вся экономическая жизнь была парализована крепостничеством. Но если судьбы людей, живущих в России, Петра нимало не волновали, то его интерес к самой России был огромно велик: ему позарез нужны были деньги, а поскольку из страны уже были выкачаны все средства и русский мужик больше ничего заплатить не мог, на него была двинута армия, которая, по существу, стала карательной. Невольно возвращаешься к этому сюжету. Мы видели петровских гвардейцев, которые двигались в сопровождении плахи, – кстати, по большей части то была виселица, а при ней палач с кнутом и другой мастер – со щипцами и прочими орудиями казни. Крестьяне бежали, прятались, где могли, – дело в том, что в интересах фиска тут свободных насильно

записывали в крепостные – петровская перепись была огромным механизмом закрепощения.

И дворян, и крестьян бросали в тюрьму, они сидели там в цепях и железных ошейниках, их пытали, требуя, чтобы выдали «утаенных» (донесение из Великих Лук: «от него, полковника Стогова, пытано и кнутом бито дворян – 11, из них умре один; держано в казематах дворян – 7, из оных от тесноты умер один; дворянских жен и дочерей держано – 6; людей и крестьян пытано и кнутом бито – 71, из оных умерло 10; в батоги бито людей и крестьян – 14»; донесение из Воронежа, где крестьяне во главе со священником решили «утаенных» не выдавать, – священник колесован, крестьян по вырывании ноздрей сослали на каторгу). Так шла перепись. Но подушную подать все равно невозможно было собрать – в ревизские сказки, как мы помним, были внесены и грудные младенцы, и дряхлые старики, и слепцы; беглые и умершие не вычеркивались, – на тех, кто остался в деревне, ложилась тяжесть непомерная, они физически не могли заплатить за младенцев, стариков, за слепых и беглых. И опять поднималась армия во главе с ее генералами, и опять шли команды с виселицами. Весь сбор от налогов практически шел на войну и на зарубежное житье царя с его свитой.

Насилие – вот главное орудие царя Петра. Ужас перед пыткой, перед казнью – вот та атмосфера, которая была ему нужна. Иначе он управлять страной не умел, а на расстоянии просто не мог.

Эта атмосфера ужаса, которую он нагнетал, вовсе не результат жестоких нравов того времени – ни отец его, Алексей Михайлович, ни брат, Федор II, ни дочь, Елизавета, не практиковали ничего подобного. Это личный вклад Петра в политику (и экономику) страны. Так буравил российские берега этот «водопад».

Но, быть может, самым роковым для России был указ от 18 января 1721 года, разрешающий промышленникам и заводчикам покупать крепостные деревни. Великий реформатор со свойственной ему бешеной энергией погнал русский капитализм в русло крепостничества, и русский заводчик, став крепостником, думал не о развитии производства и техническом прогрессе, но о том, как бы крепче посадить на цепь раба, дающего ему своим даровым трудом неслыханные прибыли, а самому войти в разряд знати. И стал русский ранний капитализм изначально больным и дряблым, не свободу нес он крестьянству (как это положено капитализму), а чудовищную кабалу.

Этой своей политикой Петр надолго задержал развитие российской промышленности, и если бы Екатерина (а за ней и ее внук) не направила этот процесс в нужное русло – страшно подумать, какие бы тут были последствия.

Нам говорят об огромных заслугах Петра – разгром боярства, замена старой системы управления на новую, табель о рангах, военные победы, окно в Европу. Да, введение табели о рангах – великое дело, но все же сама она была построена в виде жесткой иерархии и вряд ли ее можно назвать, как это пытаются делать, демократическим институтом. Победы? – да, была Полтава, но был и Прут (к тому же, как мы уже говорили, всякие территориальные завоевания – дело весьма непрочное). А что касается окна в Европу...

Петр привез из-за границы, разумеется, не только кафтаны и пудренные парики, он перенял западные науки и ремесла. Это великое дело, но недаром Екатерина заметила одно важное обстоятельство: русские люди, с поразительной быстротой усваивавшие западную цивилизацию, и те же науки, и те же ремесла, возвращаясь в Россию, погружались в прежнее невежество – они ведь только обучались, то была всего лишь «образованщина». Нельзя забывать и того, что, разрывая со старой русской культурой, молодой человек рисковал потерять и ту высокую нравственность, которая эту культуру отличала; «образованщина» заменить этой культуры не могла. Между тем Петр, перенимая западноевропейскую науку и технику, равно как обычаи и моду, не перенимал главного достижения и завоевания Запада – его гуманистические просветительские идеи, демократические институты сословного представительства (бывши в Лондоне, он даже и не заглянул в английский парламент).

Петр прорубил в Европу не окно, а щель, через которую не в состоянии были протиснуться ни демократические институты Запада, ни подлинное западноевропейское просвещение. Царь по-прежнему основывал свою власть на крови, на мертвенном страхе, на унижении, на попрании человеческого достоинства.

Как относилась Екатерина к Петру I? С величайшим почтением, в торжественных манифестах не забывала назвать его своим великим дедом, не раз заявляла, что, прежде чем принять какое-нибудь важное решение, старается узнать, не было ли чего-нибудь подобного в петровских указах. Никому не позволяла в своем присутствии дурно о

нем отзывать (вельможи, собиравшиеся за столом маленького Павла, как видно, отводили душу, порицая Петра). Полное восхищение: великий реформатор, великий полководец.

Но вот она со своими придворными на Полтавском поле, ей только что объяснили ее генералы: русские победили потому, что шведы в ходе сражения допустили роковую для них ошибку.

– Вот видите, – говорит она, – от чего зависит судьба государства. Не сделай шведы такой ошибки, нас бы с вами теперь здесь не было.

И от репутации великого полководца не осталось и следа – учитывая, что все присутствующие знали о его прутском позоре.

И все-таки с собой в путешествия она неизменно брала табакерку с портретом Петра, поясняя, что все свои поступки сверяет с его позицией, его авторитетом.

Мария (Мария Даниловна) Гамильтон была прислужницей Екатерины (жены Петра) и притом из приближенных: первая женщина, получившая придворное звание камер-фрейлины, она была влиятельна в придворной среде, а с императором находилась в любовной связи.

Когда развернулись роковые события, их связь была уже давно позади. Ее арестовали по доносу, обвинили в том, что она убила своего новорожденного ребенка, в ходе следствия вина была доказана, результатом был смертный приговор. Ее пытались спасти, царица Прасковья Федоровна (в чьем тереме мы побывали вместе с кавалером Бергхольцем) устроила пир и за столом завела разговор о Марии Даниловне. Петр слушал ее молча, а потом спросил: «Кто определяет судьбу человека?» Она ответила: Бог. «А потом?» Она ответила: государь. «А ты предлагаешь мне идти против того и другого», – сказал Петр, и все поняли, что дело безнадежно.

О каком Боге говорил Петр? – не о Христе, конечно, но о свирепом Боге Ветхого Завета. Но и тот велел: не убий. О каких государственных законах можно было говорить ему при его массовых казнях? Да и при всех условиях государю всегда принадлежало право помилования.

Конечно, Мария Гамильтон все-таки надеялась, что во имя их прошлых отношений Петр ее помилует. Как видно, рассчитывала, что

ее красота, пусть уже и увядшая, все-таки тронет его; и потому в день, когда ее повезли на казнь, надела белое платье.

Нетрудно представить себе: увидев, что Петр тут, пришел вместе со своими спутниками, она была потрясена, надежда вспыхнула в ней с новой силой – но и плаха была тут же, и палач рядом!

Петр подошел к ней, поцеловал, сказал ей, что помиловать ее не может, она должна принять казнь, но пусть молится и верит, что Бог ее простит. Что значит – Бог простит? Это значит – жизнь? Она упала на колени в жаркой молитве, а Петр шепнул палачу – и голова ее скатилась на землю.

Петр поднял эту голову, поцеловал в губы, а поскольку он считал себя сведущим в анатомии, стал объяснять присутствующим, как идут вены и артерии на шее и как в голове располагается мозг. Потом поцеловал ее в другой раз (одного раза ему показалось мало), бросил голову на землю, перекрестился и уехал.

Однако насилие насилию – рознь, многое зависит от личности, и Петр занимает тут особое место. Зверски жесток был Иван IV, но ему хватало зрелища диких казней, которые он сам придумывал и режиссировал. Жесток был и Сталин, но ему хватало знания о пытках и казнях и понимания, что они зависят от одного его слова. А Петру нужно было казнить и пытаться самому (как стрельцов), самому участвовать в кровавых спектаклях. Он был Дракула.

Я говорю не о герое современных фильмов ужаса, Дракула – лицо историческое, это валашский князь Влад (середина XV в.), его прозвали Цепешь, что значит – «сажатель на кол».

Как видно, культ кровавого правителя идет из глубин древности: тот, кто не боялся пролить кровь, вызывал уважение в дикарском общественном сознании, его вспоминали с почтением.

Грозный царь – это великий царь. Именно Иван Грозный, Петр I и Сталин, правители зверской жестокости, чистые Дракулы, были названы великими.

Поразительны бывают совпадения между Петром I и валашским князем.

Март 1718 года, Красная площадь в Москве, тут с утра толпился народ.

Предстояла казнь. К ней деятельно готовились умелые, опытные люди, визжали пилы, стучали топоры, возле Лобного места уже стоит огромный эшафот, на нем не только плахи: и виселицы – тут орудия более изощренных казней. На особом постаменте стоит высокий кол.

Толпа росла – дело было особой важности – связано с царевичем.

Наконец из кремлевских ворот потянулась медленная процессия – шествие истерзанных пытками людей, для них-то и было все это построено и приготовлено.

Как известно, свою первую жену Евдокию Федоровну Петр насильно постриг в монахини, она жила в Суздальском монастыре, но, как видно, монахиней себя не считала, данного против воли обета не признавала: ходила в мирском платье, окружающие по-прежнему называли ее царицей, очень жалели и, зная, что Петр ведет самый разгульный и пьяный образ жизни, надеялись, что он скоро умрет, царем станет Алексей Петрович, а с тем вернется во дворец и царица Евдокия.

Однажды в Суздаль приехал молодой майор, которому было поручено провести в городе рекрутский набор, был он необыкновенно статен и красив. Эта встреча, по-видимому, во многом определила жизнь Евдокии Федоровны, их любовь была необыкновенно глубока, если судить по ее письмам (его письма не сохранились); эти ее письма, где она говорит, что жизнь без него не имеет для нее смысла, производят большое впечатление своей искренностью и силой.

Так вот и шла эта странная суздальская жизнь. Никто о ней Петру не донес, а царь, как мы знаем, все время проводил в заграничных разъездах.

Но вот началось дело царевича Алексея, нити потянулись в Суздаль, пошли аресты тех, кто был привержен Евдокии Федоровне, был арестован и Глебов, уже генерал.

В погибельной процессии, которая вышла из кремлевских ворот, он шел впереди вместе с Александром Кикиным, приближенным царевича, епископом Досифеем, который предрекал Евдокии, что она будет царствовать, Никифором Вяземским и другими, которых считали главарями, за ними следовали еще человек пятьдесят, в том числе

суздальские монахи и монахини. Многочисленные палачи принялись за дело – и рубили на плахах, и вешали за ребра. Досифея, Вяземского и некоторых других тут же стали живьем рвать на части специальными железными лапами. Очевидцы говорят, что слышно было, как ломаются кости и лопаются жилы. И Петр, разумеется, был тут. Когда мимо вели Кикина, он остановил его и спросил, как он, с его умом, оказался в этом деле (и обещал: если Кикин сообщит нужные сведения, ему просто отрубят голову). «С моим умом? – ответил Кикин. – Моему уму такая теснота была при тебе» – и сплюнул (прямо царю под ноги?). И тут же, как видно, тоже по данному знаку, его стали рвать железными лапами.

В это время на кол сажали Глебова.

Казалось бы, главной фигурой кровавого спектакля должен был быть Кикин (он помог царевичу бежать за границу), но главную роль царь отвел Глебову – и в том состояла глубоко личная месть Петра (казалось бы, Евдокию он терпеть не мог, сам порвал с нею, и все же ее любовь к Глебову, как видно, приводила царя в бешенство). Молодому генералу предстояло умирать на колу высоко над толпой. По некоторым сведениям, он умер скоро, по другим – мучился сутки. Ходил рассказ о том, будто наш Цепешь, поскольку ночи были холодные и казнимый мог погибнуть раньше времени, велел надеть на Глебова теплый тулуп и приходил к нему – поговорить (и такое вполне правдоподобно). Молодой человек сделал единственное, что мог сделать, – плюнуть царю в лицо.

А может быть, в этом рассказе передан искаженный эпизод с Кикиным, плюнувшим царю под ноги, – кому-то очень хотелось, чтобы то был Глебов и чтобы он плюнул Петру в лицо.

В наше сознание врезали образ Петра, мореплавателя и плотника, но и эту картину – Петра на Красной площади – мы тоже должны знать и помнить.

Евдокию Федоровну посадили в Шлиссельбург, и Екатерина I, придя к власти, заботилась о том, чтобы условия жизни в тюрьме были для царицы Евдокии возможно более тяжелы.

Ненависть к Екатерине и любовь к Петру, утвердившиеся в советское время, совсем не случайны: Петр действительно был тот

царь, что «за советскую власть», не даром сталинское время так густо его позолотило и так густо замазало грязью имя Екатерины.

* * *

Екатерина была влюблена в Россию. Она нисколько ее не идеализировала, знала ее «гнилые раны», ее темноту, невежество, ее законы, «страшные и ужасные», и все же то была ее страна, ее ответственность, поле ее сражений.

Не даром же она ни на день, ни на час (ни ногой!) не была за границей, даже ни разу не посетила свою бывшую родину. Все, что она любила, и все, что ее заботило, – все это было дома.

Она собиралась преобразовать страну с помощью Закона, в частности, изменить положение крепостного крестьянства, постепенно вытеснить крепостное право, которое считала великой бедой и великим позором России. Убедившись (после работы Большого собрания Уложенной Комиссии), что ей не дадут ничего изменить, что путь этот для нее наглухо закрыт, она не пришла в отчаяние и не растерялась, как полагают некоторые историки, но перешла на другой путь, который заготовила себе про запас. Все-таки нельзя не подивиться ее уму, если, разрабатывая программу действий, она не только предвидела поражение, но и обдумала, как ей в случае чего действовать дальше. Эту вторую программу мы уже знаем: если общество («умы людские») не готово к преобразованиям, надо их «приуготовить», иначе преобразования поневоле станут насильственными, а это невозможно, потому что (как сказано в том же Наказе) «законоположение должно применять к народному умствованию. Мы ничего лучше не делаем, как то, что мы делаем вольно, непринужденно и следуя природной нашей склонности». Ненасильственно – вот главный ее принцип.

Создавая свой Наказ, она, конечно, понимала, что «умы людские» не «приуготовлены», только не представляла себе, до какой степени – свары в Большом собрании доказали ей это с очевидностью. Перед ней как бы встал выбор: либо в угоду общественному невежеству ухудшать законы, либо поднимать общество до законов разумных и

благородных. Конечно, она выбрала второе – преобразование, улучшение самого российского общества.

Такой переход с одного пути на другой был ей несложен: отказываясь от борьбы с крепостным устройством страны, она легко попадала в попутное течение, в царство общепринятых взглядов.

Российское дворянство находило крепостной строй не только естественным, но и справедливым, а все, что было в нем жестокого и мрачного, считало искажением нормы (происходило примерно то же, что и в недавние времена, когда сторонники советского строя убеждали себя и других, что сам строй отменно хорош, а все, что в нем нехорошо, – это его искажения).

Передовой дворянин XVIII века, исходя из современных ему нравственных норм, считал себя отцом своих крестьян (даже будучи безусым мальчишкой, полагал себя отцом бородатых мужиков), а их соответственно – детьми, которые ввиду их «невежества» нуждаются в надзоре. Недаром передовые журналы того времени корят помещиков именно за то, что они не обращают внимания на нравственность своих крестьян, не исправляют их пороки – и какая-нибудь кромешная помещица, следя за поведением своих девок, была твердо убеждена, что тем самым выполняет общественный долг.

Если помещик будет блюсти свои обязанности, а крестьянин исполнять свой долг – работа и повиновение, – все они будут благополучны.

И тогда какая в том беда, если крестьянин перейдет от одного помещика (хорошего) к другому (тоже неплохому) – факт продажи человека человеком не заставлял вздрагивать сердца даже передовых дворян.

Екатерина была поражена, когда в ходе заседаний Большого собрания столкнулась с подобным отношением дворянства к крестьянам. «Едва посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, – пишет она, – и даже когда я сама это говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать камнями». Любопытное признание; значит, когда речь заходит о главном – о крепостном праве, – дворяне готовы забыть даже о почтении к государыне – не забыли бы они о верности ей, если дело дойдет до дела.

Екатерина жалуется: «Чего я только не выстрадала от такого безрассудного и жестокого общества», когда в Уложенной Комиссии

были подняты вопросы, касающиеся крестьянства, и невежественные (вспомним, что на языке эпохи это значило «порочные») дворяне «стали догадываться, что эти вопросы могут привести к некоторому улучшению в настоящем положении земледельцев, разве мы не видели, что даже граф Александр Сергеевич Строганов, человек самый мягкий и, в сущности, самый гуманный, у которого доброта сердца граничит со слабостью, как даже этот человек с негодованием и страстью защищал дело рабства, которое должен был бы обличить весь склад его души».

Невольно создается впечатление, будто это она нам, потомкам, жалуется на то, что окружающие ее не понимают, – если не считать, как она говорит, человек двадцати, которые разделяют ее взгляды.

Но обратимся к кому-нибудь из этих двадцати, предположим, к Сиверсу, чьи взгляды на крепостничество так часто совпадали со взглядами императрицы. С возмущением говорит он, в частности, о праве, которое дано помещикам, – ссылая своих крепостных в Сибирь, но возмущен Сиверс тем, что помещики пользуются этим правом, чтобы посылать в ссылку старых и больных, ненужных в хозяйстве, и получать за них «рекрутскую квитанцию», свидетельствующую о том, что помещик как бы сдал в армию рекрута. Сиверс предлагал отменить право помещиков получать за сосланного крестьянина «рекрутскую квитанцию», но само право помещика ссылая крестьян в Сибирь для него сомнению не подлежит. Не менее странно (чтобы не сказать – страшно) звучит его предложение, связанное с поимкой беглых, переходящих государственную границу. Сиверс, равно как и Екатерина, отлично понимал причины крестьянских побегов (и прямо говорил об этом), но интересы государства были для него превыше всего, он предлагает выдавать денежную премию пограничникам и жителям пограничных областей за выдачу каждого беглеца – мера совершенно безнравственная, чисто «плантационная», но гуманному новгородскому губернатору она кажется вполне естественной. Было у него сочувствие к народу, жил в душе его гнев против помещиков, налагавших на крестьян неподъемное бремя поборов и барщины, протестовал он и против жестокости наказаний – но ощущения равенства людей, их общего всем человеческого достоинства у Сиверса не было, крестьянин в его представлении вряд ли был полноценным человеческим существом.

Гуманный (как сказали бы в XVIII веке – добродушный) новгородский губернатор видел в крестьянах людей, требующих опеки и заботы, и все-таки – не совсем людей. Или лучше сказать – детей, требующих присмотра, а если надо, то и наказания, – тот же всеобщий взгляд русских дворян на своих крепостных.

Но дело обстоит и того хуже. В своих «Записных книжках» князь П. Вяземский сообщает эпизод, который рассказал ему Д. Бутурлин: отец Бутурлина был соседом по поместью Новикова; когда тот вернулся из Шлиссельбурга, «созвал он соседей на обед, чтобы праздновать свое освобождение. Перед обедом просил он позволения у гостей посадить за стол крепостного человека, который добровольно с 16-летнего возраста заперся с ним в крепости. Гости приняли предложение с удовольствием. Через несколько времени Бутурлину рассказывают, что Новиков продает своего товарища. При свидании с ним спрашивает его: «Правда ли это?» «Да, – отвечает Новиков, – дела мои расстроились, и мне нужны деньги. Я продаю его за 2000».

Эпизод этот не подтвержден объективными доказательствами, но всего ужаснее комментарий, которым Вяземский, один из умнейших людей своего времени, сопровождал этот рассказ: «Поступок Новикова покажется чудовищным, а потому и невероятным нынешним поколениям... В свое время подобная расправа была и законна, и очень просто вкладывалась в раму тогдашнего порядка и обычаев». Русского дворянина XVIII века крепостные порядки особо не тревожили.

Казалось бы, резкие противоречия эпохи, жесткая борьба старого и нового, полная невозможность согласовать благородные идеи Просвещения с низостью крепостничества, ужас крестьянской войны, наконец, – все это должно было бы встревожить дворянскую душу, привести ее к трагической раздвоенности? – ничуть не бывало: душа не раздваивалась.

Жизнь испытывала русского дворянина на разрыв, – а он не разрывался.

Еще не настала пора душевной раздвоенности, еще не родились те мрачные, мятежные, что мечтали о буре, как будто в буре есть покой.

XVIII век мечтал о самом покое. Он устал от самого себя, этот век, от насилия, которым пронизано общество, от дикой встряски петровских реформ, от петровских пыток и казней, от пыток и казней

времен Анны, от беззаконий, просто от отсутствия законов, которые могли бы защитить человека.

Страстно, всеми своими сословиями искал он покоя. Державин выразил мысль эпохи, когда сказал, что счастье человека возможно лишь в том случае, если в покое его душа. В послании к своему другу, Николаю Львову, воспевая его как идеального человека, поэт описывает его безупречную жизнь. В его имении

Ему благоухают травы,
Древесны помавают ветви
И свищет громко соловей.

За ним раскаянье не ходит
Ни между нив, ни по садам,
Ни по холмам, покрытым стадом,
Ни меж озер и кущ приятных:
Но всюду радость и восторг.

Труды крепят его здоровье,
Как воздух, кровь его легка...

Потому и кровь его легка, что за ним раскаяние не ходит. Социальное раскаяние не пришло еще к русскому дворянству.

Да, XVIII век мечтал о покое. Ведь и те крестьяне, что целыми деревнями снимались с места в поисках Белозерья или града Китежа, спасаясь от крепостного права, искали именно той счастливой земли, где можно было бы спокойно работать.

Лесная поляна, на ней стоят шалаши – это помещик Мертвого с семьей и дворовыми, долго скитаясь по местам, уже захваченным пугачевцами, и не найдя другого пристанища, укрылся в глухой чаще, здесь они живут уже три дня, «не слыша ничего, кроме птичьего крику».

Кругом бродит смерть. Пугачевцы истребляют всех дворян, не глядя ни на пол, ни на возраст (да, и дряхлых стариков, и грудных младенцев – в семье Мертвого новорожденный ребенок).

У них кончилась провизия, они послали дворового что-нибудь купить, он их выдал, и в ту же ночь их лагерь был окружен. Мертваго-младшему, попавшему в плен, пришлось проехать родными местами, видеть поместья, где недавно гостил, разгромленными и сожженными, а близких людей – порубленными и повешенными. Он выжил, Дмитрий Мертваго (и написал замечательные мемуары о пугачевщине), а его отец прибежал в свое поместье; видно, он был из хороших помещиков, потому что крестьяне укрыли его и попытались вывести в город. Но какая-то баба, стиравшая на речке белье, выдала его пугачевцам; те собрали дворовых и крестьян, сказали им, что они могут бить своего помещика, но желающих не нашлось; тогда его повесили, и молодые казаки тренировались на нем в стрельбе.

Все эти мучения семье еще предстоят, а теперь в глуши, на лесной поляне, отец и сын разговаривают в последний раз. Предчувствуя свою гибель, отец дает сыну последние наставления. Он говорит, что «спокойствие человека составляет все его блаженство и что оно зависит от согласия поступков его с совестью, что, нарушив это согласие для каких бы то ни было выгод, потрясает он то драгоценное спокойствие, которого ничто заменить не может». Многочисленными примерами доказывает он сыну, что совесть, если она еще в человеке не погасла, не даст ему наслаждаться тем, что приобретено несправедливым путем.

Но ведь и у Пугачева совесть была чиста (его поступки с его совестью не расходились), о том говорят его воззвания: «Божией милостью мы, великий император и самодержец Всероссийский государь, всемилостивейший, правосуднейший, грознейший и страшнейший, прозорливый государь Петр Федорович!» – возглашал он и звал: «Заблудшия, изнурительныя, в печали находящиеся, по мне скучившиеся!.. Без всякого сумнения идите...» Требования его были справедливы, он жаловал крестьян волей и землей, сенокосными угодьями, рыбными ловлями и соляными озерами, и «древним крестом и молитвою, и головами и бородами». Он знает, что прав, он именем Божьим присягает: «Прощать не буду, ей, ей». И еще убедительней: «А в противность поступка всех, от первого до последнего, в состоянии мы рубить и вешать!» – «рубить без всякого прекословия, без остановки, и без крику и без стону».

Между тем в тех же воззваниях Пугачев желает крестьянам «спокойной в свете жизни».

«Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный» – знаменитые слова Пушкина. Всё так. Но когда мы сталкиваемся с повседневностью крепостного поместья, когда видим ту кухарку (воспоминания майора Данилова), которая, пока барыня кушает приготовленный ею борщ, лежит на полу, истязаемая (так барыне вкуснее); или невесту, которую в день свадьбы барчуки тащат в сарай (Радищев), – разве не просит наша душа возмездия, разве не жаждем мы, чтобы в эту минуту отряд пугачевцев ворвался в поместье? А сколько страшных историй можно тут прибавить, – например, рассказ возмущенного Болотова о гибели семнадцатилетней девочки-кружевницы, которую заставляли работать (и жить, и спать) в кандалах и рогатом ошейнике. Она перерезала себе горло и целый месяц умирала, но кандалы с нее так и не сняли. Подобными страшными историями переполнен XVIII век.

Пугачевщина – одно из самых мучительных и безысходных событий нашей истории – справедливое движение за народную свободу, принявшее форму зверских, чудовищных расправ – не дай Бог, если бы оно победило.

Андрей Болотов собрался было уезжать из Москвы, как вдруг узнал от приятеля, что сегодня будут казнить Пугачева, и поспешил на Болото. Он «неведомо как рад был, что занял наилучшее место для смотрения» – за кольцо войск, окружавших эшафот, пускали только дворян, а «подлый народ» не пускали.

Болотов все очень хорошо рассмотрел; он любил рисовать, а потому и нарисовал: помост со столбом на его середине, колесо на столбе с «железною острою спицей», ждущей мертвой головы. По углам – виселицы с пустыми петлями. И главное, он описал настроение дворянской толпы. Пугачев был приговорен к четвертованию, но ему (по тайному распоряжению Екатерины) сразу отрубили голову. Окружавшие эшафот дворяне были возмущены, поднялся ропот, говорили, что палач подкуплен «от злодеев»; все жаждали видеть мучения, и наш Болотов – славный Болотов! – не был исключением.

А уж его-то совесть была совершенно чиста (кстати, он терпеть не мог наказывать крестьян и делал это через силу, только выполняя свой прямой долг помещика).

Действительно, безумное было столетие, и оно устало от собственного безумия, оно жаждало покоя – каким же путем могло оно его достичь?

Пушкин намеревался – «лишь только первая зазеленеет липа» – приехать к старому вельможе Н. Б. Юсупову в его Архангельское, перенестись «во дни Екатерины». Душа поэта легко входит в мир, где все говорит о ней – и дворец, вдохновенное создание зодчего, и «стройные сады», с их мраморными скульптурами, и картинная галерея, и драгоценная библиотека. Он ощущает обаяние этого столетия, с его любопытством к жизни, с его жизненной силой. Радищев сказал о нем: «столетие безумно и мудро», Пушкин никакого безумия в XVIII веке не ощущает – одну только мудрость. «Ты понял жизни цель, – говорит он, обращаясь к хозяину Архангельского, —

Счастливый человек!

Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век

Еще ты смолodu умно разнообразил,

Искал возможного...»

«Искать возможного» – вот они, ключевые слова для понимания XVIII века.

Излагая жизнь Екатерины, противники ее, как правило, применяют всегда один и тот же прием – обрубание концов. Сообщить, что Уложенная Комиссия была закрыта в 1768 году, – и не сказать, что это всего лишь Большое собрание ее было закрыто, а сама она продолжала энергично работать. Сообщить, что в Воспитательном доме масса ми умирали дети, – и не сказать, что то было в первый, трагический период необустроенности, когда сотрудники еще многого не знали и не умели (в частности, бороться с эпидемией); и ничего не сказать о спасенных сотнях и тысячах жизней (сирот и незаконнорожденных), особенно когда в Воспитательном доме была

привита оспа и смертность резко упала. Сказать, что при Екатерине, крепостнице, была страшная Салтычиха, – и не сказать, что именно Екатерина поставила эту помещицу к позорному столбу на Лобном месте Красной площади, а потом навечно заключила в подземную тюрьму (надо думать, сильно напугав тем помещиков и помещиц). Говорят: что написано пером, не вырубить топором. Куда более актуальна другая сентенция: того, что врезано в общественное сознание, оттуда уже не изъять (а если и изымешь, то с великим трудом).

Правление Екатерины не могло не быть резко противоречивым: царица, которая исповедует идеи равенства и братства и мирится с существованием в своей стране рабства, едва ли не плантационного, – от этого позора ей некуда было деться. Но она искала возможного, и поэтому ее совесть тоже была чиста.

Многого она не сделала, даже в такой дорогой ей области, как право. В своих мемуарах Винский рассказывает, как его, ничего не подозревающего, вдруг схватили и бросили в крепость, и вот он в подземелье (через реку от дворца), в кромешной тьме, нащупывает холодные скользкие стены камеры, по которым течет вода; зовет на помощь – ответом ему брань и издевательства. Оказалось, что его взяли по какому-то делу, в котором были замешаны потемкинские гвардейцы, Потемкин своих вызволил, а Винского отправили в Сибирь – вот каким могло быть правосудие в двух шагах от великой законодательницы. И когда представляешь себе царскую яхту, на всех парусах летящую мимо крепости, становится не по себе.

И все же мы должны судить ее не по тому, чего она не сделала, а по тому, что успела сделать.

Можно много говорить о том, что внесла Екатерина в экономическую жизнь страны, когда, исправляя грубую ошибку Петра, который пустил русский капитализм по пути крепостничества, старалась вернуть его на путь свободного труда. Можно говорить о той энергии, с какой она создавала в России новое сословие – «третий чин людей». Без конца можно говорить о том порядке, который навела она в законодательстве, в административной системе, в системе общего образования. Но для нас самое важное – понять, что дала она духовному развитию страны.

Пишчевич, мемуары которого мы не раз цитировали, ощущал ее как подательницу тепла, как некое солнце, свет, преобразующий и нравственно возвышающий людей. Мне это кажется несколько излишне торжественным, тут более к месту другой образ – тот самый, державинский образ животворной воды.

Подобно тому как вода (не аллегорическая, а простая, соединение водорода с кислородом) проникает в почву и добирается до корней, предположим, картофеля (возьмем этот корнеплод, поскольку он введен в России Екатериной), так сила екатерининской мысли, энергия ее неутомимой работы проникали в толщу российского общества, и нередко тоже до корней.

А начала она с самого важного – снимала со страны страх. Физический страх людей, панический, неотступный, проникший уже в их костный мозг – страх плахи и дыбы. Она объявила смертную казнь признаком одного только больного общества. Пытку она клеймила в блестящей полемике Наказа, всячески ограничивала и, наконец, запретила совсем (если бы в своей государственной деятельности Екатерина сделала бы одно это, и тогда была бы достойна памятника). Телесные наказания она не только изымала, нет, – выжигала их из своей педагогики и в теории ее, и в практике.

Словом, одно за другим с презрением отбрасывала она орудия кровавого насилия, с помощью которых управлял Россией Петр I.

Ей не нужна была покорность, ей нужны были сильные, свободные люди, – таких отбирала она себе в помощники, таких воспитывала в своих закрытых учебных заведениях. Раскрепощение души – недаром в журнальной полемике она позволяла своим оппонентам разговаривать с собой так, как с царями не разговаривают. Книгопечатание, общество переводчиков (чтобы передовые идеи могли дойти до широкого читателя), вольные типографии – все это служило делу образования и просвещения, но главным – и для нас невероятным – был тот факт, что при Екатерине не существовало цензуры.

Она снимала со страны тяжесть духовного гнета, готовила для будущего века людей бесстрашных в чувстве собственного достоинства.

Учтивость, какой славен был век Екатерины, являла собой едва ли не государственную программу, когда официальные документы предписывали депутату быть учтивым с депутатом, учителю – с учеником. Уважение к человеку, независимо от того, какое положение в обществе он занимает. И сама она, как мы помним, была великим мастером по части такта и деликатности.

Переход от XVIII века к XIX на первый взгляд кажется загадочным – откуда вдруг такой взлет? На самом деле он вовсе не вдруг, этот взлет, – XVIII столетию пришлось немало поработать, чтобы возможен стал блистательный расцвет XIX.

Тяжела была крепостническая страна, страшновато российское дворянство, но в этой толще, в этой темени Екатерина – как бы прямо исходящей от нее энергией (тут прав Пишчевич) – зажигала фонари и фонарики, их становилось все больше, и они разгорались все ярче.

Она одна дала толчок своему веку, сказал Пушкин. Действительно, деятельность ее столь феноменально велика, что невольно хочется сказать: она тащила на себе столетье. А на самом деле заслуга Екатерины в том, что она разбудила силы великой страны, обучила их, вдохновила великими идеями и пустила в путь.

Екатерина дала стране развиваться естественно, только руководя и помогая, зато как помогала! Приподняла плиту, которая навалилась на Россию. И тотчас брызнули из-под плиты ростки новой культуры, национальное и западноевропейское сливалось само собой и весьма органично. Ее царствование бессмысленно оценивать с точки зрения западничества и славянофильства. Преданная русской культуре, она спокойно черпала из западной все, что считала самым важным, – и не ошибалась именно потому, что давала стране идти естественным для нее путем. Петр страшен не тем, что был западником, – страна нуждалась в западном опыте, и социально-политическом и культурном, – а тем, что был насильником.

При Екатерине и с ее помощью шел великий процесс создания русской интеллигенции (которая стала явлением едва ли не всемирным и, кстати, в свою очередь оказала влияние на западноевропейскую культуру; такое всемирное переливание культур из одной в другую

делает вообще бессмысленным спор славянофилов и западников). Но русской культуре суждена была особая роль.

Может быть, именно потому, что Россия с ее крепостничеством развивалась так уродливо, так мучительно и в таких непримиримых противоречиях, русская интеллигенция и выросла сложной, глубокой, и так понимала, так остро ощущала страдания человеческой души. Огромную роль сыграло тут сознание вековой своей вины перед народом – социальное раскаяние вовсе не было неким «интеллигентским самокопанием», как это утверждала тупая большевистская пропаганда. Нет, то был необходимый духовный процесс, который вел вовсе не к бездействию, а, напротив, заставил русских интеллигентов с редкой ответственностью и неукротимой энергией взяться за работу, будь то работа земского врача или великого художника. Можно сказать, с екатерининской энергией взяться за работу. В октябре 1917-го победило петровское начало, режим чистого насилия, и недаром звериная лапа большевизма так последовательно истребляла интеллигенцию.

Конечно, деятели культуры XIX века были безмерно богаче Екатерины, ею двигало сознание социального абсурда и несправедливости; она ни в чем не раскаивалась, она искала возможного. Но вот что любопытно: искала она возможного, а удалось невероятное: создать в угрюмой крепостнической стране атмосферу творческой свободы, Пушкин ясно это чувствовал. Может быть, он подумал, что при Екатерине ему было бы легче дышать – не было бы у него николаевско-бенкердорфской петли на шее, – может быть, именно тогда-то и вырвалось у него это трагическое:

Россия, бедная держава,
Твоя удушенная слава
С Екатериной умерла.

...Маленькая тульская деревня, невысокий и невидный барский дом. Поздняя ночь, молодой барин сидит за столом и пишет, у притолоки стоит его приказчик.

Это Болотов в своем Дворянинове. За те годы, что живет в деревне, он неустанно работал и занимался садом, от которого потом

пойдут его знаменитые сады, читал, переводил, мастерил научные приборы.

И вот в его жизни произошла великая перемена, можно сказать, переворот, и произвела его маленькая книжка.

Он случайно увидел ее, будучи в Москве, а как «на нее взглянул, вмиг полюбил». То была книга Трудов Вольного экономического общества, того самого, созданного Екатериной и Орловым.

Болотов уже знал, что за границей существуют подобные сельскохозяйственные общества, и теперь, увидев, как он пишет, «что у нас такое же учредилось, да еще именитое и взятое самой императрицей в особое покровительство, воспрыгался я почти от радости» – и особенно оттого воспрыгался, что общество усиленно приглашало деревенских дворян принять участие в его работе, а чтоб им было легче вступить в сотрудничество, задало им несколько десятков вопросов по разным областям поместной экономики – о почвах, об удобрениях, о пахоте, севе и сельскохозяйственных орудиях.

Болотов тотчас же и принялся за работу: стал отвечать на вопросы подробно, обстоятельно (с рисунками); тут же понял, что ему, молодому хозяину, не хватает знаний, и позвал на помощь старика приказчика. «Усачу сему было сие крайне приятно, – пишет он, – и я и поныне не могу еще забыть, как он, стоячи в комнате моей у притолоки и спрятав обе руки свои в рукава овчинного своего тулупа, так, как в муфту, с неким особым и внутреннее удовольствие изъясняющим видом рассказывал мне, вопрошавшему его, что знал и ведал и властно как гордился своими сведениями». Еще бы! Ведь все то, что он сейчас скажет своему барину, пойдет в Петербург (и действительно, Болотов, все добросовестно записав, послал свои записки по адресу общества).

И мне весело смотреть на этих двоих – живая вода эпохи дошла до ее глубин.

И тут представились мне Екатерина и Орлов, они ожили по закону Метерлинка (мертвые оживают, когда мы о них вспоминаем). Как и я, они видят занесенную снегом деревеньку и двоих в горнице, одного за столом, другого у притолоки. Орлов доволен, он помнит Кенигсберг и своего «Болотенко», с упоением танцующего на балах, и как он потом удрал из Петербурга от него, Орлова, в канун переворота, – смотрит и

усмехается: каждый избрал свой путь, и вот теперь их пути встретились.

Я вижу их ясно: огромный Орлов, светлейший князь, красавец, у него мальчишеское лицо, как на гравюре Чемесова. Императрица Екатерина, не такая легкая, какой была в бытность свою великой княгиней, но ладная, крепкая. Такой изобразил ее Рокотов на коронационном портрете или Мари Анн Колло на мраморном барельефе – она сама женственность, само обаяние.

Они стоят и смотрят с любопытством, уж кто-кто, а они-то могут по достоинству оценить происходящее.

* * *

В одиннадцать часов утра император и великие князья вышли из дворца и сели на коней; в тот же час женщины царской семьи вошли в экипажи. Длинный поезд (вся высшая знать) двинулся от Дворцовой площади по Невскому проспекту; у Казанского собора к ним присоединился крестный ход во главе с митрополитом и всем Синодом. Когда они прибыли на место, там уже ждали их члены Государственного совета, министры, сенаторы, весь огромный двор, предводители дворянства, депутаты от купечества. Кругом стояли войска, по команде императора они отдали честь. С Петропавловской крепости грянула пушечная стрельба из всех орудий. На Исаакиевском соборе и во всех близлежащих церквях ударили в колокола.

Она стояла высоко, каменная царица, а внизу при ней в почетном карауле застыла рота дворцовых гренадеров со знаменем.

Это Александр II открывал памятник Екатерине – в эпоху великих реформ поняли ее, вполне оценили ее усилия и признали своей.

Екатерина молода, ее создатели, и заказчики и художники, сделали правильный выбор (кровного скакуна надо судить по его знаменитому бегу, по прыжкам, когда он берет препятствие, а не тогда, когда он стоит в конюшне на стоптанных копытах).

У ног ее расположились на пьедестале девять сподвижников: Румянцев, Потемкин, Суворов, Державин, Дашкова, Безбородко, Бецкой, А. Орлов и Чичагов – вот в этой компании я бы произвела существенные изменения. Здесь явно преобладает партия войны: два

генерала, адмирал, Потемкин (Крым), А. Орлов (Чесма). Можно подумать, что Екатерина – не законодательница, не великий реформатор и не великий просветитель, что главное ее дело – война. Искажение невозможное: победы Екатерины были не на кровавых полях.

Я думаю, тема «гром победы раздавайся» может быть представлена одним Суворовым; Безбородко, чиновник и дипломат, тут совсем не обязателен, а уж Алексею Орлову тут решительно не место, он фигура скомпрометированная. Потемкин? – его не может не быть тут хотя бы по одному тому, что Екатерина, которая любила его без памяти, имеет право, чтобы и он был подле нее. Дашкова – как отнеслась бы к ее присутствию сама императрица? Княгиня была начитанной женщиной (но все же как забыть нарышкинских свиней?).

По праву тут, конечно, Державин и Бецкой. Обязательно должен быть и Сиверс, славный губернатор.

Памятник Екатерине не может быть без Григория Орлова – они всегда были вместе в тот, самый важный период ее царствования, он был ее неизменным помощником во всех делах и самой большой ее любовью.

Сама она была, должно быть, отменно хороша в тот день: она всегда любила эти великолепные праздники с гвардейскими полками, пушечной стрельбой и колокольным звоном.

И сейчас лицо ее горит от возбуждения, глаза широко распахнуты, она в своей вышине, одинокая, плывет, как фрегат под парусом, но – не спешит, движется медленно и разумно, чтобы за ней могла поспеть страна, которую она любила.

И многое ей удалось.

При ней вырос целый слой культурных людей, которые ощущали себя гражданами своей страны, думающими о ней и готовыми к ответственному поступкам. Вспомним ее великих сотрудников – губернатора Сиверса, генерала Григория Орлова, педагога Бецкого, писателя Радищева и многих-многих других. Вокруг каждого из них образовался свой круг единомышленников. Круг этот иногда оказывался неожиданно широк – вспомним хотя бы дворянство губернских городов Сибири, радостно встречавших ссыльного Радищева; напомним губернаторов, охотно превращавших эти встречи в общий праздник. То были ростки нового общества.

Конечно, нового человека как общенародное явление никому еще вырастить не удалось, да и вряд ли это возможно – тут нужны столетия, – но начало было положено. Положено именно Екатериной. Хотя «модернизация» шла давно и непрерывно, начиная как минимум с царя Алексея Михайловича, однако носила она внешний характер: развитие промышленности, государственных учреждений, армии и флота, заимствование западных новшеств. Все это насаждалось сверху, властно и мало затрагивало человека, его мысли, чувства и отношение к окружающему. Даже наоборот – потеряв прежнюю культуру, россиянин не приобрел новой, а скорее впал в дикость.

Екатерина поняла главное: нужно просвещение, а не просто обучение навыкам и ремеслам, как было прежде. Чем бы она ни занималась – правом (особенно правом!), образованием, искусством, литературой, борьбой с эпидемиями, строительством городов, учреждений или заводов, – в центре ее внимания был человек. Ей удалось (хотя бы для тонкого слоя созданного ею культурного общества) постепенно вырастить людей, лишенных страха перед властью и способных на осознанные поступки в видах общей пользы. Она раскрепостила их сознание.

Приложение



Великая княгиня Екатерина Алексеевна (будущая Екатерина II) в 16 лет. (*Портрет работы Г. Гроота*)



Елизавета Петровна. 1761 г. (Е. Чемесов)



Цесаревич Петр Федорович и великая княгиня Екатерина Алексеевна. 1740-е гг. (Г. Гроот)



Екатерина II. 1762 г. (А. Антропов)



Екатерина II. 1769 г. (*М. А. Колло. Мрамор*). Лицо государыни не отличалось правильностью, зато было чрезвычайно привлекательно, «ибо открытость и веселость всегда были на ее устах».



Сергей Салтыков, первый фаворит Екатерины II. *(Портрет работы неизвестного художника)*



Александр Ланской. 1780 г. (*Д. Левицкий*). Единственный из фаворитов, который не вмешивался в политику и отказывался от влияния, чинов и орденов



Григорий Орлов. 1764 г. (Гравюра Е. Чемесова по оригиналу Ж.-Л. Де Вели). После смерти мужа Екатерина II даже хотела выйти за него замуж, но ее отговорили.



Григорий Орлов. 1762–1763 гг. (Ф. Рокотов)



Павел I. 1797–1798 гг. (С. Щукин)



Алексей Бобринский, сын Екатерины II и Григория Орлова. *(Портрет работы неизвестного художника)*



Екатерина II Законодательница. Начало 1780-х гг. (Д. Левицкий)



Екатерина II Законодательница. 1783 г. (*Д. Левицкий*). Портрет почти точно повторяет предыдущий, но противоположен по духу и настроению.



Екатерина II в дорожном костюме. 1787 г. (М. Шибанов)



Александр Дмитриев-Мамонов. 1787 г. (*М. Шибанов*). На момент начала отношений с Екатериной II ему было 28, ей – 57.



Екатерина II в образе богини Минервы. 1789 г. (*Ф. Шубин*). Статуя исполнена по заказу Г. Потемкина для Таврического дворца на праздник 1790 г. в честь победы над турками.

notes

Примечания

Кстати, покажем, как работает иной автор исторического романа с подлинным жизненным материалом. Эпизод с «лебедью белой», в сущности, лирический, В. Пикуль изложил так. Елизавета, «простоволосая и распаренная», валяется в продавленных пуховиках, вошел придворный истопник и с криком: «Эх ты, лебедь белая!», «вдруг чмокнул императрицу в румяную пятку, торчавшую из кружев». Подобных «румяных пяток» в романах и данного автора, и многих других – видимо-невидимо. Самое ужасное в том, что читатели эти «пятки» заглатывают, не протестуя и не сопротивляясь.

Отмечу сразу, что ни в какой мере не собираюсь выступать тут против самой книги А. Каменского. Автор отнесся к Екатерине с уважением, оценил значение екатерининского века и тем самым отчасти восполнил пробел, существующий в нашей исторической науке.